

ИВАН ФРАНКО

*Борислав
смеется*



ИВАН ФРАНКО

ИВАН ФРАНКО

ф 83

Борислав смеется

П О В Е С Т Ъ

Перевод
с украинского
Е. Мозолькова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1940

Львівська бібліотека
АН УРСР
№ 31846

Львівська Філія
Бібліотеки АН УРСР

478 дз

Ф/IV
Б-825-
1910

ИВАН ФРАНКО

Недалеко от города Дрогобыча, в Западной Украине, находится село Нагуевичи. Здесь некогда родился великий украинский писатель Иван Франко.

Когда осенью 1939 года Красная Армия пришла в это село, единственной памятью о писателе, официально сохранившейся в селе, была деревянная табличка на месте, где находился дом, в котором он родился. Польские власти старались уничтожить все, связанное с именем писателя. Срубили даже древний развесистый дуб, под которым часто сидел Франко, создавая свои стихотворения.

Недаром угнетатели Западной Украины ненавидели этого выдающегося украинского поэта, романиста, драматурга, историка, политического деятеля. Всю свою жизнь Иван Франко посвятил борьбе за лучшую долю родного украинского народа. О чем бы ни писал Иван Франко, — в его творчестве звучали призывы к объединению трудящихся для защиты своих прав, для освобождения родины от насильников и угнетателей.

Иван Яковлевич Франко родился 15 августа 1856 года в семье сельского кузнеца. С большим трудом удалось ему получить начальное образование в сельской

школе, затем — перейти в гимназию, где обучение шло на польском языке, где ему приходилось переносить насмешки и издевательства барчуков-шляхтичей, презиравших его за «мужицкое происхождение».

Иван Франко рано остался круглым сиротой и, еще будучи гимназистом, должен был зарабатывать себе на пропитание.

Но велика была тяга будущего писателя к знаниям, к науке. В 1875 году Франко поступил во Львовский университет и окунулся в гущу студенческой жизни, принимая участие в работе передовой молодежи, смело шедшей на борьбу с политической реакцией.

Западная Украина в те годы входила в состав Австро-Венгерской монархии. Это была отсталая сельскохозяйственная страна, в которую, однако, быстро проникали капиталистические отношения. Село изнемогало от гнета польских помещиков, кулаков и попов. Крестьянство, подвергаясь влиянию сложных процессов капиталистического развития и находясь под гнетом кризиса семидесятых годов, стремилось в города, искало заработков на промышленных предприятиях. Именно в семидесятых годах здесь наблюдаются начатки рабочего движения, вспыхивают большие стачки, подавляемые вооруженной силой; и вместе с тем развивается национально-освободительное движение, в котором руководящей силой становится сельская буржуазия.

В этой сложной политической обстановке начинает свою литературно-общественную деятельность Иван Франко.

Уже с середины семидесятых годов он привлекает к себе внимание читателей повестями из народной жизни и острыми политическими стихами, в которых выражает свою горячую уверенность в окончательной победе народа над темными силами реакции.

За сотрудничество в студенческом журнале «Друг»

Иван Франко был предан суду и подвергся девятимесячному тюремному заключению.

Всю жизнь Ивану Франко приходилось работать в материальной нужде, в обстановке полицейских и судебных преследований, угроз, арестов и тюремных заключений. Несмотря на все это, Франко сохранял непоколебимую веру в человека, в свой народ, в великое братство народов:

Наша ціль — людське щастя і воля,
Розум владний без віри основ,
І братерство велике, всесвітнє,
Вільна праця і вільна любов!

В ранних стихах, вошедших в сборник «Думы пролетария», Франко утверждал, что «царство божие» на земле придет не от бога и не святые принесут его с неба. Дать освобождение могут только собственный разум пролетариев, их сильная воля и общий их труд.

После Тараса Шевченко Иван Франко был первым подлинно революционным украинским писателем. Живя в другую эпоху и в другой социально-экономической обстановке, нежели Шевченко, Франко показал в своих художественных произведениях реальную жизнь рабочих, ремесленников, сельских бедняков, изобразил все, что он видел в селах и городах, на фабриках и в шахтах родного края.

Основное качество художественного творчества Франко — правдивость, большая реалистическая сила вышедшего из народа и ставшего подлинно народным писателя.

Семидесятые и восьмидесятые годы — пора расцвета творчества Франко. Он был художником-новатором, который не желал идти на поводу у «признанных» западно-украинских литераторов, в большинстве своем писавших для тупого реакционного мещанства. В противовес украинским узколобым националистам и польским «патрио-

там», Иван Франко выдвигал лозунг интернационализма, утверждая, что интересы угнетенных одинаково дороги ему, к какой бы нации эти угнетенные ни принадлежали. Как в своей художественной деятельности, так и в политической Франко придерживался этих взглядов и вел просветительную работу среди украинских, польских и еврейских рабочих. Он резко выступал против евреев-эксплуататоров и тут же красноречиво доказывал, что их классовые интересы диаметрально противоположны интересам евреев-трудящихся. И точно так же Иван Франко раскрывал, как в процессе бешеного наступления капитализма на Западную Украину происходит расслоение населения страны, причем в одном лагере оказываются капиталисты, кулаки, попы, чиновники-бюрократы, шляхтичи, а в другом лагере — бедняки-пролетарии, все те, кто особенно привлекал внимание писателя, правдивого изобразителя страданий народных масс.

Знаменитый украинский писатель-демократ М. Коцюбинский, характеризуя значение Ивана Франко, указал, что новаторство его выразилось не только в форме, в литературной манере, но и в том отношении к фактам жизни, которые он рисовал.

Его предшественники, изображая село, идеализировали крестьянскую жизнь, рисовали ее с точки зрения «этнографической экзотики».

Другие задачи поставил перед собою Франко. Он сам охарактеризовал их не как постановку и разрешение «моральных проблем» и обрисовку «вечно человеческих черт», а как стремление показать представителей определенных социальных групп, ведущих борьбу за существование.

Иван Франко хорошо изучил жизнь рабочих на бориславских нефтяных промыслах.

Борислав уже в семидесятых годах был крупным индустриальным очагом Западной Украины. Здесь

Франко имел возможность убедиться в том, что капиталистическая эксплуатация является страшной разрушительной силой для крестьянства, вынужденного идти на работу к капиталисту-эксплоататору.

«Борислав, — писал Франко в предисловии к «Бориславским рассказам», — высасывает вдоль и вширь все окрестные села, пожирает молодое поколение, силы, время, здоровье и нравственные устои целых общин, всех масс».

«Бориславские рассказы» Франко правдиво рисуют положение рабочих, которые за грошовую плату вынуждены работать в душных темных штольнях.

Не только о физических мучениях незаметных героев говорит писатель. Он дает нам их внутренний мир, показывает, как разрушается сельское хозяйство, как унижается человеческая личность, втаптывается в грязь личное достоинство.

Мы можем причислить Ивана Франко к выдающимся мировым реалистам, стремившимся показать действительность такой, какой она была, без прикрас и преувеличений.

И верный своему художественному методу бытописателя-реалиста, Иван Франко изобразил, как рабочие начинали борьбу за свои права, как из их среды вырастали первые руководители рабочего движения.

Две повести Франко «*Voia Constrictor*» и «Борислав смеется» посвящены изображению капиталистической эксплуатации и первым шагам рабочего движения среди бориславских «рипников» (рабочих-нефтяников).

В повести «*Voia Constrictor*» писателю удалось создать цельный и яркий образ капиталиста-удава, жестокого хищника Гольдкремера.

Герман Гольдкремер знает только одну философию — философию наживы, звериного эгоизма, жестокой эксплуатации. Он каждую минуту на-чеку, потому что в

любой момент другой такой же удав, как он, может погубить, уничтожить его.

Пожалуй, только Диккенс, создавая своего мистера Домби или Пекснифа, поднимался до такого обличительного пафоса, как Иван Франко.

Но украинский изобразитель хищников-капиталистов выступает гораздо жестче и резче, чем его английский собрат по перу. Иван Франко строже в своем неумолимом приговоре хищничеству и эгоистической жестокости.

В повести «Борислав смеется» мы видим борьбу двух удавов-капиталистов: Германа Гольдкремера и его ловкого и изворогливового конкурента Леона Гаммершляга. Неумолимый закон капиталистической конкуренции заставляет двух этих хищников вступить в борьбу между собой.

Но предпринимателям грозит мощный удар со стороны организующихся рабочих. Среди них зреет гнев против хозяев. Правда, есть и такие рабочие, которые надеются договориться с хозяином, «образумить» его, окончить дело мирным путем. Но логика, факты убеждают и этих рабочих в том, что надеяться на добровольные уступки со стороны предпринимателей невозможно.

Задумываясь над положением вещей в Бориславе, рабочие приходят к мысли о том, что надо объявить беспощадную войну богачам и обдиралам. Образуется рабочее объединение, и члены его, «побратимы», создают рабочую кассу для того, чтобы поддерживать товарищей во время борьбы с предпринимателями.

Среди «побратимов» не существует согласия в вопросах тактики классовой борьбы. Но Франко в высоких, патетических тонах изображает подъем настроения рабочих после сходки, на которой они решают сплотиться для мести обидчикам: «Весело разошлись побратимы, радостные надежды вспыхивали в их головах

среди мрачных сумерек настоящего и озаряли их искренние, чистые сердца, подобно тому, как восходящее солнце розовым блеском озаряет пустынные, каменистые и печальные вершины Бескидов».

Сила подлинно организованного рабочего движения не раскрыта Франко в повести «Борислав смеется». Он и не мог этого сделать, если учитывать реальную историческую обстановку, в которой протекает действие его произведения.

Со всей правдивостью Франко показал неорганизованное, стихийное восстание — и на этом оборвал повесть. Он сам сказал о ней: «Это была попытка изобразить стихийное рабочее движение бориславских рипников, которое закончилось большим пожаром Борислава осенью 1873 года».

Сын выдающегося украинского писателя — Петр Иванович Франко — на нескольких страничках закончил повесть отца. Он рассказал о действительных событиях, происходивших в Бориславе, — о том, как было разгромлено восстание, как предприниматели, сорвав стачку и захватив рабочую кассу, вызвали войска, которые подавили бунт и бросили в тюрьмы революционных рабочих. «Побратимы» были жестоко наказаны за попытку защитить свои права: они годами томились в тюрьмах.

Иван Франко не указал настоящих методов борьбы с капитализмом, разъедавшим его родной край. Он и не мог их указать со всей точностью, хотя и являлся крупным деятелем рабочего движения в Западной Украине, пропагандировал произведения Маркса и Энгельса, учение Дарвина, выступал против идеализма и поповщины.

И в лирических своих стихах, и в поэмах, и в повестях Франко неизменно выступал как борец за свободу своего народа, как протестант против насилия над человеческой личностью.

Образы людей из народа, истерзанных непосильной работой и моральным угнетением, изображал Франко в своих произведениях. Беря темы из мировой истории, из библейской мифологии или из современной жизни, Франко ставил своей целью будить в народе волю к борьбе, к освобождению.

Ему приходилось выносить травлю прислужников австрийской и русской реакции, издевки и преследования украинских и польских националистов.

Франко умер 28 мая 1916 года в большой нужде, оставив богатое литературное наследство. Наряду с произведениями художественной литературы Франко писал политические и экономические статьи, переводил на украинский язык лучших представителей русской и западноевропейской классической литературы. Он со всей мощью просветителя-энциклопедиста работал на пользу родного народа.

В наши дни, когда мы отмечаем первую годовщину освобождения Западной Украины от польского ига, когда над этой многострадальной землей взошло солнце Сталинской Конституции, когда наряду с другими западно-украинскими городами и селами и Борислав зажил новой, свободной жизнью, — благодарное потомство чтит память Ивана Франко — одного из виднейших демократов и писателей-реалистов XIX века.

Александр Дейч

I

Солнце достигало полудня. Часы на башне ратуши быстро и жалобно пробили одиннадцать. От кучки веселых, нарядных господ-обывателей дрогобычских, гулявших возле костела, в тени цветущих каштанов, отделился пан строитель и, размахивая блестящей тросточкой, пересек улицу, направляясь к рабочим, занятым на новой, только что начатой стройке.

— Ну, что, мастер, — крикнул он, останавливаясь, — вы готовы, наконец?

— Все готово, пане строитель.

— Ну, так велите бить раст¹.

— Хорошо, пане! — ответил мастер и, обращаясь к помощнику, который стоял рядом с ним и заканчивал обтесывать громадную глыбу песчаника, сказал:

— А ну, Бенедя, олух этакий! Аль не слышишь, что пан строитель велят раст бить?.. Живо!

¹ Р а с т — отдых; ударить раст — звонком или ударами о доску оповестить конец рабочего дня.

Бенедя Синица бросил на землю клевач и поспешил исполнить приказание мастера. Перепрыгивая через разбросанные вокруг камни, запыхавшись и посинев от натуги, он бежал во всю мочь своих худых, словно щепки, ног к высокому забору.

На заборе была подвешена на двух веревках доска, а рядом с нею на таких же веревках болтались две деревянные колотушки, которыми стучали по доске. Таким способом давались сигналы к началу и окончанию работ. Бенедя, добежав до забора, схватил колотушки в обе руки и изо всех сил загремел ими о доску.

— Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! — раздался веселый громкий лай «деревянной суки», — так каменщики образно называли это приспособление.

— Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! — безостановочно гремел Бенедя, улыбаясь доске, которую так немилосердно истязал. И все каменщики, занятые вокруг на широкой площадке, кто обтесыванием камня для фундамента, кто гашением извести в двух глубоких четырехгранных ямах, землекопы, которые рыли котлованы под фундамент, плотники, стучавшие топорами, словно дятлы, обтесывая громадные ели и дубовые балки, пильщики, пилившие тес ручными пилами, рабочие, складывавшие привезенный кирпич, — весь этот разнообразный рабочий люд, сновавший, словно муравьи, на площади, двигаясь, стуча топорами, покачиваясь, кряхтя, потирая руки, перебрасываясь шутками и смеясь, — все остановились и перестали работать, подобно огромной сторукой машине, которая при одном нажиме кнопки вдруг останавливается на полном ходу.

— Тук-тук-тук! Тук-тук! — не переставал греметь Бенедя, хотя все уже давно слышали лай «деревянной суки». Каменщики, которые стояли согнувшись над каменными глыбами и с размаху лязгали о твердый песчаник, так что время от времени искры взлетали из-под клевачей, теперь, бросив свои инструменты, распрямляли спины и широко вытягивали руки, чтобы вобрать в себя как можно больше воздуха. Те, кому удобнее было работать сидя или на коленях, медленно поднимались на ноги. В ямах шипела и клокотала известь, словно злилась, что ее сперва жгли на огне, а потом бросили в холодную воду. Пильщики так и оставили пилу в недопиленном бревне; она повисла, зацепившись верхней рукояткой за бревно, и ветер раскачивал ее из стороны в сторону. Землекопы повтыкали лопаты в мягкую глину, а сами выбрались наверх из глубоких рвов, вырытых под фундамент.

Тем временем Бенедя уже перестал стучать, и все рабочее, выпачканные кирпичной пылью и глиной, с мелкими осколками камней на одежде, руках и лицах, начали собираться у фасада нового строения, где находились главный мастер и пан строитель.

— Но как же мы, пане, спустим этот камень на место? — спросил мастер строителя, опершись широкой сильной рукой о громадную, обтесанную для фундамента, глыбу, которая хотя и лежала плоской стороной на небольших деревянных катках, все же доходила мастеру почти до пояса.

— Как спустим? — медленно повторил строитель, взглянув сквозь монокль на камень. — Ну, ясное дело, на шестах.

— А, может быть, оно того... немного опасно, пане? — заметил мастер.

— Опасно? Это для кого же?

— Ну, конечно, не для камня, а для людей, — ответил, усмехаясь, мастер.

— Э-э-э! Это что еще такое?! Опасно! Не беспокойтесь, ни с кем ничего не случится! Спустим!..

И пан строитель важно наморщил лоб и сжал губы, как будто заранее натуживался и напрягался, опуская камень на предназначенное для него место.

— Спустим безопасно! — повторил он еще раз так уверенно, как будто убедился, что его сил хватит для такого дела. Мастер в ответ недоверчиво покачал головой, но ничего не сказал.

Тем временем и остальные обыватели, которые до сих пор небольшими группами прогуливались возле костела, услышав голос «деревянной суки», начали медленно стекаться к новой стройке, а впереди всех шел хозяин строительства — Леон Гаммершляг, высокий и представительный, с аккуратно подстриженной бородой, прямым носом и красными, как малина, губами. Он был сегодня очень весел, разговорчив и остроумен, сыпал шутками и забавлял, видимо, все общество, — все толпились и жались вокруг него. Затем с другой группой пришел и Герман Гольдкремер, самый уважаемый, то есть самый богатый из всех присутствующих. Он был более сдержан, тих и даже как будто опечален чем-то, хотя и старался не показывать этого. Затем шли другие предприниматели, богачи дрогобычские и бориславские, кое-кто из чиновников и один соседний помещик, большой приятель Гаммершляга, вероятно пото-

му, что все его состояние было в кармане у Гаммершляга.

Все это общество, — в модных черных сюртуках, в пальто из дорогих тканей, в блестящих черных цилиндрах, в перчатках, с тросточками в руках и перстнями на пальцах, — странно выделялось среди серой массы рабочих, пестревшей разве только красным цветом кирпича или белым цветом извести. Только веселый говор тех и других смешивался вместе.

Вся площадь на углу улиц Панской и Зеленой была заполнена людьми, лесом, камнем, кирпичом, гонтом, кучами глины и походила на огромную руину. Только одна досчатая беседка, чуть пониже, в запущенном саду имела живой и привлекательный вид. Она была украшена зелеными елками у входа, внутри увешена коврами, в ней и вокруг нее суетились слуги с криком и руганью... Готовили угощение, которым Гаммершляг хотел отметить закладку нового дома. И еще один необычайный гость изумленно присматривался ко всем этим людям и предметам. Это была не бог весть какая важная персона, однако все поглядывали на нее с каким-то странным любопытством.

— Послушай, Бенедя, — спросил вымазанный глиной рабочий, — а это в честь чего здесь щегленка вывесили?

— Что-то они с ним собираются делать, — ответил Бенедя.

Рабочие перешептывались и глазели на щегленка, прыгавшего в проволочной клетке, подвешенной на шесте над самой ямой, но никто не знал, зачем он здесь. Даже мастер не знал, хоть и делал серьезное, понимающее лицо и на вопросы рабочих отвечал:

— Ишь ты какой, все хотел бы знать! Со-
старишься, если все знать будешь!

А щегол между тем, оправившись от первого испуга при виде нахлынувшей толпы, прыгал по перекладинкам клетки, теребил клювиком конопляное семя и время от времени, вскочив на верхнюю перекладинку, встряхивал красножелтыми полосатыми крыльями и тоненько щебетал: «Тикили-тлинъ, цюринь, цюринь! Куль-куль-куль!»

Над шумной, говорливой толпой вдруг показалась голова Леона Гаммершляга, раздался его голос. Он вскочил на приготовленный для спуска в котлован огромный камень и обратился к присутствующим:

— Господа, мои дорогие глубокоуважаемые соседи!..

— Тише! Тише! Тсс! — зашумело вокруг и затихло.

Леон продолжал:

— Очень, очень благодарю вас за то, что вы были так добры и почтили своим присутствием мой сегодняшний, такой важный для меня праздник...

— О, пожалуйста, пожалуйста! — раздалось несколько голосов.

— Ах, вот и наши дамы идут! Господа, прежде всего пойдите приветствовать дам! — и Гаммершляг снова исчез в толпе, а несколько молодых господ направилось на улицу, куда как раз в эту минуту подкатили экипажи с дамами. Они помогли им сойти и под руку повели на площадь, где для дам было приготовлено место рядом с огромной каменной плитой.

Это были большей частью старые и некрасивые женщины, которые недостаток молодости и

красоты старались скрыть под пышным и показным богатством. Шелка, атласы, сверкающие камни и золото так и горели на них. Они поминутно осторожно осматривали свои платья, боясь испачкать их прикосновением к кирпичу, камням, либо к не менее грязным рабочим. Лишь одна Фанни, дочь Гаммершляга, выделялась из толпы дам именно тем, чего им недоставало, — молодостью и красотой, — и была среди них, словно расцветающий пион среди отцветающих сорных трав. Вокруг нее группировались наиболее молодые из гостей, и скоро тут составила компания, в которой шла оживленная, громкая беседа, в то время как другие дамы после первых шаблонных восклицаний изумления, после первых более или менее пискливых и заученных пожеланий хозяину всяческого благополучия, сделались сразу неразговорчивыми и начали глазеть по сторонам, словно в ожидании представления.

Этим ожиданием вскоре заразились и остальные. Веселый говор затих. Казалось, что вместе с дамами слетел на общество дух скуки и какой-то принужденности, которая никому не нужна.

И Гаммершляг как бы растерялся. Он забыл, что минуту тому назад начал было произносить речь, и бегал с места на место, начинал то с одним, то с другим разговор о посторонних вещах, но все это как-то не клеилось. Вдруг он увидел перед собой Германа, который стоял молча, опершись о сложенные в штабеля бревна, и осматривал всю эту площадь так, словно собирался ее покупать.

— А что же нет вашей супруги, дорогой сосед? — спросил Леон, улыбаясь.

— Простите, — ответил Герман, — она, вероятно, нездорова.

— Ах, какая жалость! А я надеялся...

— Впрочем,—ответил льстиво Герман,—разве она такая важная особа? Обойдется и без нее.

— Нет, любезный сосед! Пожалуйста, не говорите так... Что вы? Вот моя Фанни, бедное дитя, как бы она была счастлива, если бы имела такую мать!..

Лицо и глаза Леона выдавали лживость этих слов, но уста, послушные воле хозяина, произносили их, а рассудок соединял в фразы, как того требовала выгода.

Но вот со стороны предместья, где на востоке виднелась высокая белая молельня, слышался сильный крик и шум. Все гости и рабочие обернулись в ту сторону. Через минуту показалась на улице, словно черная гудящая туча, — толпа во главе с раввином, который должен был совершить обряд освящения фундамента нового дома.

Вскоре вся площадь была залита людьми, которые говорили все сразу, громко и быстро, сновали, как муравьи в потревоженном муравейнике, всё осматривали и словно оценивали глазами, а затем вздыхали и покачивали головами, как бы удивляясь богатству Леона и вместе с тем жалея, что это богатство находится в его, а не в их руках. Немногие шляхтичи, которые также были в этой толпе, вдруг притихли и отступили в сторону, чувствуя себя не в своей тарелке. Соседний помещик хмурил брови и кусал губы от злости, очутившись в этой мешчанской толпе, которая не обращала на него ни капли внимания. Он, повидимому, искренне проклинал в душе своего «сердечного друга Леона», но, однако, не сбежал, а простоял до конца обряда, после которого ожидалась закуска.

Всеобщий говор на площади не только не утихал, но еще увеличился. Щегленок, испуганный внезапным наплывом этих черных крикливых людей, начал метаться по клетке и биться о проволоку. Старого седого раввина с длинной бородой взяли под руки два школьника и подвели к яме, вырытой для фундамента. Вокруг образовалась такая давка, словно каждый обязательно хотел быть возле самого раввина, не обращая внимания на то, что там не хватит места для такого множества людей. Среди давки и шума толпы не слышно было того, что читал раввин над ямой. И только когда школьники время от времени в ответ на его молитву выкрикивали «умайн», то есть «аминь», вся толпа повторяла за ними «умайн».

Пробило двенадцать. На колокольне возле костела, против новой стройки, загудел огромный колокол, возвещаая полдень. За ним зазвонили и все другие колокола дрогобычских церквей. Казалось, что весь воздух над Дрогобычем застонал какими-то заунывными голосами, среди которых еще печальнее и жалобнее раздавалось нестройное, разноголосое «умайн». Рабочие, услышав звон колоколов, снимали шапки и начали креститься, а один школьник, подойдя к Леону и поклонившись ему, начал шептать:

— Пусть бог благословит вас и начатое вами дело. Мы уже кончили. — А затем, наклонившись еще ближе к Леону, зашептал ему на ухо: — Видите, пан-бог послал вам хорошее предзнаменование, — вам будет удача во всем, что вы ни задумаете.

— Хорошее предзнаменование? Это какое же? — спросил Леон.

— Вы разве не слышите, что христианские

колокола сами, по доброй воле, служат вам и призывают на вас благословение христианского бога? Это значит, что все христиане также будут вам добровольно служить. Будут помогать вам достичь того, что вы задумаете. Этот звон — хорошее предзнаменование для вас!

Если бы Леон услышал эти слова при других, он, наверно, посмеялся бы над ними. Он любил показать себя вольнодумцем, но в глубине души, как все малоразвитые и себялюбивые люди, был суеверен. И сейчас, зная, что никто не слышал их, он с большой радостью встретил слова о хорошем предзнаменовании и сунул десятку в подставленный школьником кулак.

— Это для вас и для школы, — шепнул Леон. — А за доброе знамение — благодарение господу!

Обрадованный школьник снова стал на свое место возле раввина и сразу же начал перешептываться с другим школьником, который, очевидно, спрашивал его, сколько дал Леон.

А тем временем пан строитель принялся уже за свое дело и начал командовать рабочими:

— А ну, к шестам! — кричал он. — Бенедя, олух этакий, где твой шест?..

Галдеж на площади еще усилился. Раввина отвели в сторону, толпа расступилась, чтобы дать место рабочим, которые должны были сдвинуть с места огромную каменную глыбу и спустить ее в глубокий котлован. Дамы с любопытством протискивались вперед; им очень хотелось посмотреть, как будут опускать такой большой камень. Только щегленок весело щебетал в клетке, да широкое равнодушное лицо солнца улыбалось сверху, с темносинего безоблачного неба.

Все приказания строителя были быстро исполнены. Вдоль небольшой дорожки, по которой нужно было продвинуть камень, положили четыре катка, такие же толстые, как и те, на которых он лежал. Такие же два катка положили поперек ямы, в которую нужно было опустить камень.

Рабочие окружили его с шестами в руках, словно собирались палками заставить его двигаться — сломить его каменное упрямство. Кое-кто шутил и смеялся, называя камень серой коровой, которую так много людей загоняют в стойло.

— Ну-ка, подвинься, маленькая! — крикнул один, толкая камень рукой.

Но вот раздалась команда строителя, и все утихло. На всей многолюдной площади слышно было только человеческое дыхание и щебетание щегла в клетке.

— А ну, двигайте! Раз, два, три! — крикнул строитель.

Десять шестов, словно десять огромных пальцев, подхватили камень с обеих сторон, и он медленно пополз по каткам. Послышался тяжелый хруст щебня, которым была усеяна дорожка.

— Урра! Гей! Нажми на него, пускай движется! — закричали весело рабочие.

— Еще! — раздавался голос строителя.

Рабочие снова натужились. Снова захрустел щебень, закрипели катки, и камень, словно огромная черепаха, медленно пополз вперед. На лицах присутствующих гостей видна была радость, дамы улыбались, Леон шептал какому-то «соседу»:

— Да! Что ни говорите, а все-таки человек—

господин природы! Нет такой силы, которую бы он не преодолел. Вот скала, тяжесть, а и та движется по его велению.

— И особенно прошу заметить, — добавил «сосед», — какая сила в единении людей! Соединенными силами творят чудеса! Разве один человек смог бы сделать что-нибудь подобное?..

— Да, да, соединенными силами, — это великие слова! — ответил Леон.

— Урра! Дружно! А ну! — весело кричали рабочие. Камень уже был над ямой, неподвижно лежал на двух перекладинах, которые своими концами глубоко врезались в землю под его тяжестью. Однако предстояла самая трудная часть дела — опустить камень на дно котлована.

— А ну, ребята, живо, к шестам! — командовал строитель.

Рабочие мигом заняли свои места по обеим сторонам рва и поддели пять пар рычагов под камень.

— Под ребра его! Так, чтобы у него сердце подпрыгнуло, — шутили рабочие.

— А теперь поднимайте кверху! А как только перекладины будут отброшены в сторону и я крикну: «Ну!» — все разом вытаскивайте шесты и прочь от ямы! Понимаете?

— Понимаем!

— Только все сразу! Если кто запоздает — будет беда!

— Ну, ну! — крикнули рабочие и дружно налегли на шесты — чтобы приподнять камень. И в самом деле он медленно, словно нехотя, отделился от перекладин, на которых лежал, и поднялся на несколько дюймов вверх. У каждого невольно замерло сердце. Рабочие, посинев

от натуги, держали камень на рычагах над ямой, ожидая, пока веревками вытащат из-под него перекладины и строитель даст сигнал выхватывать шесты.

— Ну! — крикнул вдруг строитель среди всеобщего молчания, и девять рабочих вместе с шестами метнулись в противоположные стороны. А десятый? Вместе с глухим грохотом камня, падающего на приготовленное для него место, все услышали душераздирающий крик.

— Что такое? Что такое? — раздались голоса. Все начали снова проталкиваться вперед, шуметь и расспрашивать, что случилось.

Случилась простая вещь. Девять рабочих выхватили одновременно свои рычаги из-под камня, а десятый — помощник каменщика Бенедя Синица — не успел сделать это во-время. Одна секунда опоздания, но эта секунда могла его погубить. Камень всей своей тяжестью рванул рычаг и вырвал его из рук Бенеди. Рычаг ударил его — счастье, что не по голове, а только в бок. Бенедя вскрикнул и замертво упал на землю.

Густым клубом взлетел вверх песок в том месте, где упал с размаху рычаг. Рабочие в смертельной тревоге бросились к Бенеде.

— Что это? Что такое? — спрашивали гости. — Что случилось?

— Шестом убило человека.

— Убило? Боже! — послышались возгласы дам.

— Нет, не убило, жив! — раздались голоса рабочих.

— Жив! А! — перевел дух Леон, которому крик Бенеди, словно клещами, сжал сердце.

— А сильно искалечен?

— Нет, не очень! — Это был голос строите-

ля, который при этом происшествии внезапно почувствовал, как у него начали дрожать колени.

Толпа шумела и теснилась вокруг искалеченного. Дамы охали и визжали, гримасничая и выставляя напоказ свою чувствительность и мягкосердечие. У Леона все еще что-то глухо шумело в голове, и он не мог собраться с мыслями. Даже щегленок в своей клетке жалобно пищал и порхал по углам, словно не в силах был смотреть на человеческое страдание. А Бенедя все еще лежал неподвижно, посиневший, без чувств, с крепко сжатыми зубами. Рычаг задел его острым суковатым концом за бок, прорвал фартук и рубаху и врезался в бедро, из которого лилась кровь. Но рычаг угодил ему и немного выше, под ребра, отчего у него на минуту прервалось дыхание.

— Воды! Воды! — кричали рабочие, стараясь привести Бенедю в сознание и перевязать ему рану. Принесли воды, перевязали рану и остановили кровь, но привести его в чувство не могли. Удар был слишком сильный и пришелся в опасное место. Над толпой снова нависла туча тревоги.

— Заберите его, вынесите на улицу! — крикнул, наконец, Леон. — А не то отнесите домой и позовите доктора!

— Живо! живо! — подгонял строитель.

В то время как двое рабочих взяли Бенедю за руки и ноги и понесли сквозь толпу на улицу, к строителю подошел сзади мастер и тронул его рукой за плечо. Строитель вздрогнул и резко обернулся, словно от прикосновения жгучей крапивы.

— Вот видите, пане строитель, я правильно говорил...

— Что, что такое? Кто говорил?

— Я говорил, — шептал мастер, — не спускать камень на шестах, опасно.

— Дурак ты! Этот хам не иначе, как пьян был, не отскочил во-время, кто в этом виноват? — ответил сердито и высокомерно строитель и отвернулся. Мастер пожал плечами и замолчал. Но строитель почувствовал шпильку в его словах и кипел от злости.

Между тем пора было кончать закладку. Школьники подвели раввина к маленькой, но довольно удобной лесенке, и он спустился по ней на дно котлована, где на предназначенном месте лежал камень. На поверхности камня была выдолблена четырехугольная довольно глубокая ямка, а вокруг нее багровели свежие пятна крови, брызнувшие из раны Бенеди. Раввин пробормотал еще какую-то молитву, а потом первый бросил небольшую серебряную монетку в выдолбленную в камне ямку. Вслед за ним то же самое проделали школьники, а затем и остальные гости начали спускаться по лесенке и бросать кто мелкие, кто крупные монеты. Дамы вскрикивали, пошатывались на ступеньках, поддерживаемые мужчинами; только дочь Леона Фанни горделиво и смело спустилась в яму и бросила дукат. За дамами и мужчины один за другим начали спускаться в котлован. Отпрыск польской шляхты шел следом за Германом и косо посмотрел на богатого предпринимателя, когда тот брякнул блестящим золотым дукатом; у шляхтича в кармане был лишь серебряный ренский¹, но чтобы не поступиться своим шляхетским гонором, он быстро отстегнул

¹ Ренский — монета, около рубля.

от манжеты золотую запонку и бросил ее в ямку.

Долго тянулась вереница гостей, долго звенело золото и серебро, падая в каменную ямку и заливая ее блестящей волной. Рабочие, стоявшие возле ямы в ожидании приказаний мастера, с завистью смотрели на этот обряд. Наконец, бросание денег кончилось — ямка наполнилась почти до краев.

Леон, который до сих пор стоял возле лешенки и всем выходящим из ямы дружески пожимал руки (с Германом и шляхтичем он на радостях даже поцеловался), выступил теперь вперед и приказал принести плиту и цемент.

Рабочие бросились исполнять его приказание, а он тем временем подошел к клетке со щеглом.

— Тикили-тлинь! Цюринь, цюринь! Куль-куль-куль! — щебетала птичка, не ожидая для себя ничего плохого.

Тонкий, чистый голосок щегла звенел в тихом воздухе, как стекло. Вокруг все смолкло, с любопытством глядя на завершение торжественного обряда закладки. Леон снял клетку с птичкой с шеста и, высоко поднимая ее, сказал:

— Мои дорогие соседи, а сегодня гости. Великий это день для меня, очень великий. Человек, который сорок лет скитался по безлюдным пустыням и бурным морям, сегодня впервые увидел себя вблизи спокойной пристани. Здесь, в счастливом городе Дрогобыче, я задумал свить себе гнездо, которое было бы красой и славой города...

— Браво, браво! — закричали гости, прерывая его.

Леон поклонился с улыбкой и продолжал:

— Отцы наши учили нас, что для того, чтобы начать какое-нибудь дело счастливо, чтобы

счастливого его завершить и счастливо воспользоваться его плодами, нужно прежде всего привлечь на свою сторону местных духов. Вы верите в духов, милостивые государи? Может быть, есть среди вас такие, которые в них не верят. Я, признаюсь вам, верю в них. Здесь, в этой земле, в этих каменных глыбах, в этой извести, в руках и в головах людей — во всем этом живут духи, сильные, таинственные. Только при их помощи будет воздвигнут мой дом, моя твердыня. Только они будут ее опорой и защитой. И вот этих духов умиловить жертвой, кровавой жертвой — вот цель сегодняшнего великого обряда. Чтобы довольство и благополучие — не для меня, а для всего города — процветало в этом доме, вы любовной рукой бросили в эту каменную борозду золотое семя. Чтобы здоровье, веселье и красота — не для меня, но для всего города — расцвели в этом доме, я жертвую духам города этого жизнерадостного, здорового, веселого и красивого певца!

С этими словами Леон засунул руку в клетку. — Пи-пи-пи! — запищала птичка, порхая и прячась по углам. Однако Леон быстро поймал ее и вытащил из клетки. Щегол сразу замолчал в его руке, только смотрел вокруг испуганными глазами. Его красноперая грудь казалась большим кровавым пятном на руке Леона. Леон вынул красную шелковую нитку и связал ею щегленку крылья и ноги, а затем спустился по лесенке вниз к фундаменту. Вокруг воцарилась какая-то гнетущая тишина. Рабочие принесли большую плиту и вокруг четырехугольной ямки с монетами положили цемент, чтобы сейчас же замуровать это отверстие. Тогда Леон, прошептав еще какие-то слова, снял сначала с

пальца золотой перстень и бросил его к монетам в каменную ямку, а затем положил сверху щегла.

Птичка спокойно лежала на своем холодном, смертном ложе из золота и серебра, только головку подняла кверху, к небу, к своей ясной, чистой отчизне, но тотчас же большая плита прикрыла сверху этот живой гроб, утверждая будущее счастье дома Гаммершлягов...

В эту минуту Леон глянул в сторону и увидел на камне следы иной жертвы — кровь человеческую, кровь каменщика Бенеди. Эта кровь, уже застывшая, поразила его до глубины души. Ему показалось, что «местные духи» смеются над ним и берут вовсе уж не такую ничтожную жертву, как только что принесенная им. Ему показалось, что эта другая, страшная человеческая жертва вряд ли будет ему на пользу. Капли крови, запекшейся на камне, в темном котловане показались ему черными головками железных гвоздей, которые пробивают, буравят и подтачивают основание его пышного строения. Ему стало вдруг как-то холодно, тесно в яме, и он поскорее выбрался наверх.

Гости спешили к нему с пожеланиями. Герман пожал ему руку и громко проговорил:

— Пусть этот небольшой клад, заложенный дружескими руками в основание вашего дома, растет и множится в тысячу раз! Пусть он станет основанием славы и богатства вашего рода!

— И точно так, как ваш дом сегодня закладывается на фундаменте из камня и золота, — добавил со своей стороны так же громко шляхтич, — пусть счастье и процветание вашего рода отныне основывается на всеобщей искренней дружбе и расположении к вам!

Леон радостно пожимал руки гостям, радост-

но благодарил их за дружбу и внимание, радостно объявлял о своем желании работать в дальнейшем только в сотрудничестве со всем обществом и для общества, но в сердце у него все еще лежали холодные сумерки, сквозь которые грозно проступали большие черные капли крови, словно живые железные гвозди, незаметно пробивающие и подтачивающие основы его счастья.

Он чувствовал в словах гостей какой-то холод, за которым, несомненно, скрывалась глубоко запрятанная в их сердцах зависть.

Между тем рабочие под руководством строителя замуровали со всех сторон принесенную ими плиту и быстро возводили стену на дне котлована. Пробил час.

— Ну, ребята, хватит на сегодня работы! — крикнул Леон. — Нужно и вам немного повеселиться. Таких дней, как нынешний, в моей жизни немного, пусть же и для вас он будет праздником. Сейчас вам принесут пива и закусок, а вы, мастер, присмотрите за порядком.

— Хорошо, пане!

— А вас, мои дорогие гости, прошу со мной. Фанни, доченька, будь хозяйкой и займись дамами! Пожалуйста, пожалуйста!

Гости, весело разговаривая, направились между штабелей кирпича, камней и леса к досчатой, украшенной венками и разноцветными флажками беседке. Только раввин, школьники и еще кое-кто из правоверных евреев пошли прочь, не желая сидеть за одним столом с трэфняками¹.

Пока господа, среди веселого шума, угощались

¹ Т р е ф н я к — еврей, который не придерживается религиозных обрядов и ест всякую пищу.

в беседке, рабочие, образовав широкий круг, сидели под открытым небом на камнях... Два помощника наливали пиво, двое других разносили ломти хлеба и сушеную рыбу. Однако рабочие были как-то необычно молчаливы. После несчастья с Бенедей еще у всех щемило в груди, да и весь этот странный обряд закладки очень им не понравился. Кто придумал замуровать живую пташку? Разве это принесет счастье? А впрочем, может быть, и так... Действительно, хорошо кто-то сказал: «Панам забава, а курице смерть». А тут еще рабочие, которые относили Бенедю домой, возвратились и стали рассказывать, как старая мать Бенеди перепугалась и горько-горько заплакала, увидев своего единственного сына без чувств, окровавленного. Вначале бедняжка думала, что уж нет у нее больше сына, но когда удалось привести Бенедю в сознание, обрадовалась, как дитя: прыгает вокруг него, и целует, и плачет, и охает, так что сердце разрывается, глядя на нее.

— Знаете, ребята, — отозвался мастер, — нужно устроить складчину, да помочь бедным людям — пока он будет болен и не сможет работать, нужно же им чем-нибудь жить. Ведь старуха иглой не много наковыряет!

— Правильно, правильно! — закричали рабочие со всех сторон. — Скоро получка, каждый подбросит по пять крейцеров, деньги небольшие, а им поддержка.

— А как же строитель, — сказал один из каменщиков, — неужто он ничего не даст? Ведь все несчастье через него!

— Это еще хорошо, что так обошлось, — заметил другой. — Ведь камень мог и пятерых эдак же изуродовать!

— Надо ему сказать, пусть и он поможет.

— Ну, это уж вы сами говорите, — сказал мастер, — я не буду.

— Ну, что ж, и скажем, — ответило несколько голосов сразу.

Как раз в эту минуту строитель вышел из беседки, чтобы взглянуть на рабочих. Его лицо уже налилось густым румянцем от выпитого вина, а блестящая тросточка очень уж быстро летала из одной руки в другую.

— Ну, как, ребята? — крикнул он, подходя к рабочим.

— Все хорошо, пане, — ответил мастер.

— Ну, в таком случае продолжайте! — И хотел идти обратно.

— Мы имеем к пану одну просьбу, — слышался голос из кружка рабочих. Строитель обернулся.

— Ко мне?

— Да, — загудели все сразу.

— Ну, в чем дело?

— Мы к вашей милости, просим, чтобы вы участвовали в складчине для того рабочего, которого сегодня рычагом пришибло.

Строитель стоял, не произнося ни слова, только румянец еще сильнее начал выступать на его лице, — знак того, что просьба неприятно его задела.

— Я? — сказал он, наконец. — А вы почему это ко мне с этой просьбой лезете? Разве я виноват в этом, что ли?

— И мы, пане, не виноваты, но, сдается нам, следует все-таки помочь бедному человеку. Он больной, некоторое время не сможет работать, надо же ему и старухе-матери чем-нибудь жить.

— Если хотите, помогайте, а я здесь не

при чем! Первому встречному лоботрясу помогай! Еще чего нехватало!..

Разгневанный строитель быстро повернулся и хотел было уходить, как вдруг один из рабочих, возмущенный его словами, громко сказал:

— Посмотрите на этого пана! А ведь он больше всех виноват в том, что Бенедя искалечен! Вот если бы его самого так изукрасило, я не пожалел бы, наверное, не то что пяти, а и десяти крейцеров на такого прохвоста!..

— Что? — заревел вдруг строитель и подскокил к рабочим. — Кто это сказал?

Молчание.

— Кто посмел сказать это? А?

Ни звука. .

— Мастер, вы здесь сидели, — кто это сказал? Говорите, а не то вас выгоню с работы вместо этого мерзавца!

Мастер оглянулся на рабочих и спокойно сказал:

— Я не знаю.

— Не знаете? Так я вас с этой минуты не знаю здесь на работе. Вон!

— Это я сказал! — отозвался один из рабочих, вставая. — Я сказал и еще раз скажу, что ты дрянь, если не хочешь дать для бедного рабочего. А за твою работу я не держусь.

Строитель стоял, взбешенный, и от злости не мог слова выговорить. Рабочий тем временем взял свой угольник, клевач и мерку и, проотившись с товарищами, спокойным шагом направился к рынку. Остальные рабочие молчали.

— Босяки, лодыри! — кричал строитель. — О, разве он дорожит работой?! Он бы лежал только вверх животом, как свинья в болоте. Но погодите вы, я вас научу порядку! Вы у

меня другими станете! Ишь вы, мерзавцы! — И, сотрясаясь от злости и проклиная всю «голоту», строитель пошел обратно в общество господ.

В беседке тем временем царило веселье. После закуски слуги собрали блюда и тарелки, а вместо них поставили бутылки с вином и рюмки. Рюмки быстро совершали свой путь. Вино постепенно развязывало языки, умножало веселье и шум. Пахучий дым от дорогих сигар клубился над головами до самого потолка, тонкой струйкой тянулся в окно. Слуги Леона суетились среди гостей, подавая каждому то, чего он хотел. Одни гости сидели группами, другие стояли или ходили, болтая, шутя, либо торгуясь. Леон не покидал Германа. Сегодня он впервые так близко сошелся с этим самым крупным бориславским тузом и почувствовал к нему какое-то странное влечение. До сих пор они противостояли друг другу, как враги. Леон лишь два года тому назад появился в Бориславе с наличным и немалым капиталом. Он был более образован, чем Герман, хорошо разбирался в коммерческих делах, читал кое-какие книжки по горному делу и думал, что достаточно ему только появиться в Бориславе — все покорится ему и он станет единовластным господином. Он заранее мечтал о том, как он дешево закупит громадные и наиболее удобные для разработки участки, как заведет себе машины для более быстрого и дешевого извлечения подземных сокровищ, как поднимет всю местную нефтяную промышленность и по своему желанию будет повышать и понижать цены. Между тем на деле все оказалось иначе. В Бориславе были уже свои силы, к тому же такие силы, с кото-

рыми ему нелегко было тягаться, и самой большой силой был Герман. Леон вначале злился, видя, с какой нескрываемой неохотой принимают его старые бориславские предприниматели. Особенно Герман, этот простой, необразованный тряпичник, был для него словно соль в глазу, и он старался всегда и всюду, где только мог, уколоть его, а в обществе никогда не упускал случая за обычной вежливостью показать Герману свое духовное превосходство. Герман мало обращал внимания на эти уколы, а донимал его на деловом поприще: перехватывал участки, которые хотел купить Леон, переманивал его лучших рабочих и вместе с тем при встречах с Леоном всегда делал вид, будто ничего не случилось. Это было уж слишком. Леон увидел, что таким способом не добьется ничего. Правда, до сих пор в Бориславе ему везло: он напал на несколько богатых жил горного воска, нефть также шла хорошо; но Леон справедливо боялся, что счастье не вечно будет к нему благосклонно, что оно, возможно, когда-нибудь и отвернется от него, а в таком случае лучше иметь сильных друзей, нежели сильных врагов. К этому прибавилось еще и то, что после смерти жены у Леона появилось желание пожить со временем спокойно, осесть, пустить корни, воспользоваться на старости плодами своей беспокойной, хлопотливой жизни и обеспечить хорошую жизнь своей единственной дочери. Тут уж ясное дело — нужно иметь кружок друзей, а не врагов. К тому же он услышал, что у Германа есть единственный сынок во Львове в ученьи у купца, — и у него сразу возникла мысль: сын Германа и его Фанни — вот это пара; самые крупные ка-

питалисты вместо того, чтобы бороться и подкапывать друг друга, соединяются, связанные тесными семейными узами, — и мысль Леона строила золотые замки на этом крепком фундаменте.

— Видите, дорогой сосед, — говорил он Герману, — сам не знаю, в чем дело, отчего меня так потянуло к спокойной, тихой и счастливой пристани. Ведь был же я до сих пор словно перелетная птица: то здесь, то там. Нет, пора успокоиться!

— И я тоже говорю, — сказал Герман, делая вид, будто этот разговор его очень занимает.

— Не дал мне бог сына, как вам, но у меня есть дочь, бедное дитя. Видеть ее счастливой, с любимым человеком, в кругу детей, — ох, это единственная цель моей жизни...

— Даст бог, и это сбудется.

— Да, я очень желаю этого!.. Ах, и еще кружок добрых друзей, таких, как вы, дорогой сосед. Больше мне ничего не нужно для того, чтобы быть счастливым.

— Ну, что касается меня, — сказал, усмехаясь, Герман, — я из Дрогобыча никуда не убегу, я всегда к вашим услугам.

— О, я знаю, — сказал Леон и крепко сжал Герману руку, — я знаю, что вы искренний, добрый человек! Не поверите, как я давно хотел с вами поближе познакомиться... А ваш сын? Правда, я не имею чести знать его лично, но и он уже заранее мил и дорог мне, как собственное дитя.

Герман слегка поморщился при воспоминании о сыне, словно вдруг в медовом прянике разгрыз зерно перца.

— Мой сын... — проговорил он неохотно. —

Благодарю вас за доброе слово! Вот, работает, как может.

— Ну, не говорите этого! — воскликнул Леон. — Я и сам знаю, что сын такого отца, наверное, и минуты не просидит зря. Эх, дорогой сосед, как бы я был счастлив, если бы мы могли соединиться с вами, сойтись близко во всем, так, чтобы... — Он замолчал и глядел на Германа, а Герман на него, не догадываясь, куда тот метит.

— Знаете, — снова начал Леон, — сегодняшний день такой большой и счастливый для меня... — В эту минуту собеседники встали и подошли к окну, — в павильоне было очень душно. Герман выглянул в окно. Едва он отступил от окна, как вдруг кусок кирпича пулей пролетел через окно, как раз в том месте, где стоял Герман. И в ту самую минуту, когда Леон говорил о большом сегодняшнем счастье, кирпич врезался в кучу стаканов, стоявших на столе. Жалобно зазвенело и разлетелось стекло, а кирпич летел дальше и, ударившись о противоположную стену, упал на землю. Все сорвались с мест, а Герман побледнел, как полотно: он догадывался, что кирпич предназначался для него.

— Что это? Что? Кто это такой? — слышались встревоженные голоса. Леон, Герман и еще кое-кто из гостей выскочили во двор. Во дворе также был шум.

— А ну, хватай его, босяка! — кричал изо всех сил мастер.

— Кто здесь бросил кирпич? — крикнул и Леон.

— Да вот, пане, какой-то босяк, угольщик. Шлялся здесь по улице, высматривал, высмат-

ривал, а потом увидел вот этого пана в окне (он показал на Германа), схватил кирпич, да как швырнет — и наутек! Держи его, держи, да в полицию! — снова закричал мастер двум рабочим, которые гнались вниз по Зеленой улице за убегающим молодым угольщиком в черной, как деготь, рубахе и в таком же фартуке.

— Эва, как удирает, бестия! Не догнать! — говорил мастер.

Рабочие, гнавшиеся за парнем, были, повидимому, такого же мнения, потому что, запыхавшись, остановились. Однако один из них наклонился, поднял камень и запустил им в убегающего, который в эту минуту готов был скрыться за поворотом. Камень угодил угольщику в самую пятку, и тот, почувствовав боль, дико вскрикнул и исчез за стеной. Крик этот странно поразил Германа.

— Что это за паренек? — спросил он.

Никто не знал угольщика. Леон взглянул на Германа и даже испугался.

— Боже мой, что с вами?

— Ничего, ничего, — ответил Герман, — это от жары, видимо. Что-то мне здесь, в груди, сдавило. Но этот голос, этот голос... такой странный...

Леон не мог понять, чем странен этот голос. Ему он показался самым обыкновенным. И Герман не мог объяснить себе, что это за голос, — ему казалось, что он где-то слышал его, но где — не знал. Знал лишь только, что какой-то таинственной, необъяснимой силой этот голос воскресил в нем какие-то страшные, давно забытые впечатления, какую-то бурю, следы которой еще не изгладились в его сердце. Но что это за впечатления и как они возникли и

как были связаны с этим диким мучительным криком угольщика, — этого Герман не мог себе объяснить.

Леон между тем взял его под руку и повел в сад, под тенистые деревья, на душистую высокую траву. Прохладный свежий воздух быстро успокоил Германа, и Леон снова начал говорить ему о своих желаньях и надеждах.

— Ах, как горячо я ждал наступления такого дня, как сегодняшний! Как я хотел, чтобы этот день начал новую, спокойную, счастливую эру моей жизни! Чтобы от него во все стороны протянулись счастливые для меня нити, завязались счастливые узлы. И вот настал этот день, надежды мои сбылись, узлы завязаны, кроме одного, самого главного... Ах, и вы, мой дорогой сосед и друг, вы сделали бы меня самым счастливым человеком в мире, если бы помогли мне завязать этот последний, самый главный узел!..

— Я? — спросил изумленный Герман. — Какой же это узел?

— Что тут долго говорить! — сказал Леон и взял Германа за обе руки. — Самое глубокое желание моего сердца, чтобы наши дети, моя Фанни и ваш Готлиб, составили пару!

Герман молчал. Эта мысль не была для него неожиданной, все же его несколько странно поразило то, что от Леона первого услышал он это предложение.

— Что же вы, согласны? — спросил Леон.

— Гм, не знаю, как бы это... — сказал нерешительно Герман.

— Вы колеблетесь? Не раздумывайте, дорогой сосед. Разве вы не видите тех выгод, которые принесет нам этот союз? Подумайте

только: мы, две первые, смею сказать, бориславские силы, мы породнимся, соединимся в одно; кто тогда сможет противостоять нам? Все будут покорны нашей воле, а кто не захочет, тот одним нашим ударом будет повержен в прах! Подумайте: мы будем хозяевами всего нефтяного рынка, мы определяем цены, покупаем окрестные села, леса, каменоломни и копи! Весь этот край в наших руках. Не только торговые и промышленные, но и политические дела края в наших руках. Все выборы проходят, как мы хотим, депутаты и представители говорят то, что мы велим, защищают наши интересы, помещики и графы добиваются нашей милости! Понимаете ли вы? Мы — сила, и, пока будем держаться вместе, до тех пор никто против нас не устоит! — И, разгоряченный собственными словами, Леон бросился обнимать Германа.

— Согласны, дорогой друг, брат мой? — воскликнул Леон.

— Согласен, — сказал Герман, — только не знаю, как моя жена.

— Разве ваша почтенная и умная жена может не желать счастья своему сыну и моей дочери? Нет, этого не может быть! Пойдем, пойдем к ней. Я сегодня же должен уладить это важное дело, и, как только разойдутся гости, пойдем вместе, объясним, поговорим...

— Она очень любит своего сына, — это верно. Но мне кажется, что и она лучшей партии, чем ваша Фанни, не найдет для него, — сказал Герман.

— Ах, дорогой друг! — воскликнул обрадованный Леон. — Какой счастливый день для меня сегодня! Боже, какой счастливый день! Пойдем, пойдем!

Рука об руку шли два приятеля бориславским трактом к дому Германа. Говорил больше Леон. Он был человек очень впечатлительный, и всякая новая мысль его живо захватывала.

Неутомимо рисовал он перед Германом все новые картины их будущего величия и силы. Все, о чем он говорил, словно медом было подслащено, все затруднения так и таяли, как снег под лучами солнца. Практичный и холодный Герман вначале не очень шел на приманку этих золотых гор, но, чем дальше, тем больше Леон увлекал его за собой, и в его недоверчивой голове постепенно начал шевелиться вопрос: «Ну, и что же, разве это невозможно?»

Со своим сыном Готлибом он всегда имел столько хлопот и огорчений, что ему даже в голову не приходило ждать от него чего-нибудь путного, а тем более строить такие высокололетные планы. Вот и недавно купец, у которого Готлиб около двух лет был на практике, писал Герману, может быть, в сотый раз, что Готлиб плохо ведет себя, за делом не смотрит, деньги, присланные из дому, разбрасывает, как безумный, над сослуживцами издевается и, бог знает, каких только глупостей не делает. «С горестью должен признать, — писал далее купец, — что его двухлетнее пребывание в моем заведении не принесло ему почти никакой пользы. Его познания в торговом деле остались такими же, какими были вначале...» Все это невольно приходило Герману на ум сейчас, когда Леон такими заманчивыми красками рисовал ему будущность их «домов» после соединения Готлиба и Фанни. «Пока я жив, — думал Герман, — может быть, дело и бу-

дет как-нибудь итти, ну а потом?» Изменить, исправить Готлиба может только чудо, на которое Герман не надеялся. Но он все же слушал Леона, постепенно поддавался чарующему влиянию его слов, словно на легком челноке отплывал в тихое, нежно волнующееся, вечерним блеском позолоченное море, и у него на душе становилось легко, сладостно, словно и в самом деле исполнялись его самые смелые надежды. «А что же, разве это не может быть?» — думал он, и в нем крепла уверенность, что все это не только возможно, но и действительно будет, должно быть.

Тем временем приятели спустились от рынка вниз, на мостик, откуда улица снова поднималась вверх, между двумя рядами высоких ясеней, пока не обрывалась на вершине холма, там, где блестящий позолоченный крест мерцал на солнце. Тут же за мостом, направо, начинался огромный сад, окруженный высокой каменной стеной. Дальше стена кончалась, вместо нее шла дубовая решетчатая ограда между каменных столбов с черными маковками, покрытыми глазурью. За этой решеткой был уже не сад, а цветник, довольно запущенный, окружавший старинный одноэтажный, но зато широко расползшийся дом, крытый гонтом. С улицы к нему вели широкие ворота и рядом маленькая калитка для пешеходов. Это была усадьба Германа. Тут он жил уже много лет, хотя имел еще несколько домов в других частях города и три каменных здания на рынке. Все это он сдавал в наем, а сам не имел охоты трогаться из этого старинного удобного гнезда. Этот дом вместе с садом, огородом, двором и конюшнями приобрел он у вдовы одного родовитого польского пана, кото-

рый владел когда-то громадным состоянием, — ему принадлежало несколько окрестных сел. Но большая часть этого состояния ушла на поддержку неудачной революции 1831 года, а что осталось — было истрачено на многолетние процессы из-за какого-то наследства; таким образом после уничтожения барщины наш именитый пан очутился словно рак на льду и не мог назвать своим ничего, кроме этого дома с садом и пары лошадей. Здесь он и дожил свой век в тиши, а после его смерти жена продала и этот последний обломок бывшего величия и удалилась из этих мест. Вместо прежнего польского помещика появился новый хозяин в этих стенах — Герман. Он в то время только начинал оперяться; покупка этого дома была первым шагом к его будущему богатству; может быть, оттого он и свyksя так с этим старым жилищем.

Впрочем, Германа мало занимало внутреннее устройство дома, еще менее интересовал его сад, в котором прежний владелец просиживал, бывало, все лето и в котором, как судачили соседи, и теперь еще не раз в лунную ночь видели его высокую фигуру с длинными усами и белыми, как молоко, волосами, бродящую в густой высокой траве, — видели, как он осматривает каждое дерево, словно старого знакомого, время от времени заламывает руки или тяжело вздыхает. Герман, слушая эти рассказы, смеялся над ними, но в сад его все-таки не тянуло. Он довольствовался тем, что каждую весну подсчитывал деревья и затем сдавал сад в аренду, а сам в него редко когда заглядывал.

И в самом доме Герман мало что изменил. Старинную мебель обил новым репсом, вместо старопольских больших печей поставил новые

изразцовые, между окнами повесил большие зеркала, вот и все. На стенах рядом с кое-какими новыми гравюрами висели почерневшие от времени портреты бывших польских магнатов, с густыми бровями, грозными усами и бритыми лбами. Странно выглядела эта смесь старины и неуклюжих, безвкусных новшеств, но Германа это мало трогало, он был занят другими, более важными делами: его задачей было—накапливать, а не пользоваться, и он накапливал, собирал, умножал с какой-то лихорадочной поспешностью, не беспокоясь о том, кто будет всем этим пользоваться.

— Вот и мое гнездо! — сказал Герман, открывая калитку и пропуская Леона вперед. Леон впервые сегодня переступал через его порог.

— Ах, как здесь удобно, как просторно! — с вежливым изумлением поминутно восклицал Леон, оглядывая выложенный плитами двор. Посредине двора был колодезь под навесом с большим колесом на две бадьи. Дальше, в стороне, виднелась конюшня, а рядом с нею вход в сад.

— Просторно-то просторно, — ответил Герман, — но, правду говоря, немного пустовато. Видите, человек в мои годы, когда ему недостаточно себя одного, когда он рад бы видеть себя среди целой кучи маленьких, веселеньких...

— О да, да, — перебил его Леон, — именно эта мысль и мне сейчас пришла в голову. Действительно, если жить здесь, в кругу молодого потомства, это был бы рай, настоящий рай...

— А сейчас что? — продолжал Герман. — Сын наш во Львове... Ну, надо же, чтобы молодой человек смолodu чему-нибудь научился...

— Конечно, конечно!

— А мы с женой, — двое нас, к тому же еще она болезненная...поймите, что иногда человеку тошно делается.

Они вошли в дом.

— Правда? — говорил Герман. — Тихо, как в могиле... Слуг держим немного: кучер, кухарка и горничная, больше нам не нужно. И так весь день здесь проходит. Меня обычно редко дома видят, — все дела.

— Ой, да, да, — ответил Леон. — Тяжелая наша жизнь. Говорят: чего нехватает капиталисту, живет себе, бездельник, да деньги загребает. А вот посмотрели бы они, прожили несколько дней нашей жизнью, так, наверно, отказались бы и от этих капиталов и от такой жизни.

— О, разумеется, ручаюсь вам! — подтвердил Герман, хоть в эту минуту и промелькнула у него в голове шаловливая мысль, что при всей этой тяжести, при всех неудобствах их жизни еще ни один капиталист, однако, не отказался добровольно от своего богатства и не променял его на посох и нищенскую суму.

Герман прошел со своим гостем уже три комнаты. Всюду было тихо и пусто. Он искал жену, но не мог найти. Вошли в четвертую комнату, огромную, словно манеж. Герман оглянулся вокруг, — и здесь не было никого.

— Что за диво, куда она девалась? — пробормотал вполголоса Герман, как вдруг из соседней комнаты, спальни своей жены, он услышал громкое всхлипывание.

— Что это? — сказал он, прислушиваясь.

— Не плачет ли кто? — спросил, также прислушиваясь, Леон.

— Пожалуйста, дорогой сосед, присядьте здесь, отдохните минутку, вот, — прошу: посмот-

рите альбом, может найдете и вам знакомые лица... Простите, что выйду на минутку, посмотрю, что там такое...

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответил Леон, садясь в кресло возле круглого стола. Он взял альбом в руки, но у него не было охоты смотреть его. Минуту сидел, не двигаясь и ни о чем не думая. Разыгравшаяся волна его фантазии вдруг иссякла, присмирела под влиянием этой тишины, этого могильного холода, царившего в доме. Он сам не знал, отчего эта тишина ему не нравилась.

— Тьфу! Что за чорт, словно какая-то разбойничья корчма, человеку даже жутко становится!.. Кажется, вот-вот кто-то вылезет из-за двери и схватит тебя за горло. А тут еще эти картины, дурацкие морды! Тьфу, я этого и минуты не потерпел бы. А ему хоть бы что: живет себе, как мышь в сапоге, да и в ус не дует!..

Он начал прислушиваться к тому, что делается в соседней комнате, куда пошел Герман, но не слышал вначале ничего, — только все то же всхлипывание.

— Хорошее предзнаменование для начала... — продолжал он ворчать. — Вхожу сюда с такими надеждами, а здесь какая-то нечистая сила подыхает, что ли. Это, вероятно, она сама. Слышал я, что злая, сварливая ведьма... Ничего не поделаешь, ради пользы дела надо водиться и с такими!

Он снова прислушался. Говор. Это Герман говорит что-то, но что — не слышно. Шорох какой-то. Тишина. Снова говор и всхлипывание. Вдруг треск, словно удар чем-то твердым о пол, и пронзительный женский крик:

— Разбойник! Кровопийца! Прочь с моих глаз! Прочь, пускай тебя глаза мои не видят!

Леон даже подскочил с кресла. Что такое? Он продолжал прислушиваться, но теперь из-за визга и стука не мог разобрать слов. Догадывался только, что какие-то страшные проклятья, ругательства и обвинения градом сыплются на голову Германа, но за что, ради чего — этого он не знал.

Не знал этого и Герман. Войдя в спальню жены, он увидел, что она, растрепанная, лежала на диване с видом умирающей и всхлипывала. Из ее глаз текли слезы и смочили уже широкий кружок на обивке кушетки. Герман удивился и не знал, что подумать об этом.

Жена, казалось, не заметила, как он вошел, лежала, не шевелясь, только грудь ее то поднималась, то опускалась порывисто, словно при сильном напряжении. Герман боялся подойти к ней, зная ее крутой нрав, но затем набрался храбрости.

— Ривка! Ривка! — сказал он тихо, приближаясь к ней.

— Чего ты хочешь? — спросила она, быстро поворачивая голову.

— Что с тобой? Чего ты плачешь?

— Чего ты хочешь? — повторила она громче. — Кто здесь с тобой пришел?

— Да никто не пришел. Смотри, никого нет.

— Не ври! Я слышала, что вас двое. Кто это такой?

— Леон Гаммершляг.

— А он зачем?

— Ведь ты знаешь, у него сегодня закладка была, просил меня...

— Но зачем его сюда нелегкая принесла?

— Слушай, Ривка, — начал Герман, видя, что она как будто успокоилась немного, — Леон богатый человек, хороший человек, с головой...

— Скажешь ты, наконец, зачем он сюда пришел, или нет? — перебила его Ривка, сжимая кулаки.

— Ведь ты же слышишь, что говорю. Послушай-ка, Леон — богатый человек. А жены у него нет, только одна дочка. Слышишь, Ривка, ты знаешь его дочку Фанни? Правда ведь, девушка ничего?

— Ну?

— Знаешь, что говорит Леон? «Сосед, — говорит, — у меня одна дочка, а у вас один сын...»

Герман не закончил. При напоминании о сыне Ривка посинела, задрожала вся, а затем, швырнув в сторону скамейку из-под ног, выпрямилась и закричала:

— Разбойник! Кровопийца! Прочь от меня! Прочь с моих глаз!

Герман остолбенел. Он не знал, что случилось с Ривкой, и лишь то и дело бормотал:

— Ривка, что с тобой? Что ты делаешь, Ривка?..

— Прочь с моих глаз, чудовище! — орала жена. — Пусть тебя бог покарает. Пусть под тобой земля расступится! Иди прочь от меня! Ты, ты говоришь мне о сыне! У тебя был когда-нибудь сын? У тебя было когда-нибудь сердце?

— Послушай, Ривка, что с тобой? Послушай!..

— Нечего мне слушать тебя, палач! Пускай тебя и бог не слушает на страшном суде!.. Разве ты слушал меня, когда я тебе говорила: не

надо ребенка мучить школою, не надо ребенка пугать проклятой практикой... А ты все нет да нет! Теперь добился, добился того, чего хотел!

— Ну, что случилось, Ривка? Я ничего не знаю!

— Не знаешь? Га, не знать бы тебе, какой сегодня день, злодей! На, погляди, узнай! На!

И она швырнула ему листок бумажки. Герман дрожащими руками взял измятое, измоченное слезами письмо, в то время как Ривка, словно обессиленная, тяжело дыша, снова упала на кушетку, закрыла лицо ладонями и горько плакала.

Письмо было из Львова, от купца, у которого находился в ученьи Готлиб. Герман, бормоча, читал: «Достопочтенный господин! Сам не знаю, с чего начать и как рассказать о том, что у нас здесь произошло. Ваш сын Готлиб уже три дня тому назад исчез, и все поиски были напрасными. Только сегодня утром удалось полиции найти его одежду, связанную вместе, в кустах на Пелчинской горе. Его же самого до сих пор нет и следа. Было подозрение, не утопился ли он в пруде, но до сих пор не могли найти тело. Приезжайте как можно скорее, может быть, удастся нам дознаться, что с ним случилось. Впрочем, если что-нибудь откроется еще до получения Вами этого письма, сообщу телеграфно».

Герман взглянул на дату: еще позавчера! А телеграммы не было, — значит, ничего! Он долго стоял, как в столбняке, сам не зная, что с ним происходит.

Громкий плач Ривки вывел его из оцепенения.

— Видишь, видишь, — кричала она, — до чего ты довел ребенка! Утопился мой сыночек, уто-

пился мой Готлиб!.. Лучше бы ты захлебнулся своей нефтью в какой-нибудь бориславской прорве!

— Боже мой, — сказал Герман, — жена, надо же иметь рассудок, разве я в этом виноват?

— Ты не виноват? А кто же? Может быть, я? Иди, людоед, не разговаривай, не стой, поезжай во Львов, может быть, как-нибудь еще можно спасти его или хоть тело отыскать!.. Боже, боже, за что ты меня покарал таким мужем, который свое собственное дитя в гроб вогнал! И пускай бы хоть у него их много было... А то одно-единственное, и того не стало!.. Ой-ой-ой, голова моя, головушка!..

— Да замолчи же, Ривка, может быть, еще не все так плохо, как там написано. Слышишь, только одну одежду нашли! А одежда что? Одежду мог снять...

— А-а, снял бы ты с себя свою шкуру поганую! Ты еще меня уговариваешь, добиваешь меня, изверг! О, я знаю, тебе и дела мало, что твоего сына где-то там в воде рыбы едят! Тебе что! Но я! Мое сердце разрывается, мое сердце чувствует, что все погибло, нет моего сыночка золотого, нету, нету!

Герман видел, что с женой нечего больше разговаривать, что ни до чего путного с ней нельзя договориться. Он бросился как можно скорее отдать приказание кучеру, чтобы тот собирался в дорогу, запрягал лошадей. Тогда еще не было в Дрогобыче железной дороги. Желющие ехать во Львов должны были на лошадях ехать до Стрия и лишь оттуда поездом во Львов.

Проходя через зал, Герман взглянул в сторону и увидел Леона, который все еще сидел в

кресле, словно на иголках, слышал разговор, прерываемый внезапными взрывами рыданий, но все еще не знал, что случилось с их «соседями» и что все это значит. Герман только сейчас вспомнил о Леоне, о котором, оглушенный криками жены и собственным несчастьем, совсем было позабыл.

— А, дорогой сосед, — сказал он, приближаясь к Леону, — простите, но несчастье...

— Господи, что с вами? — воскликнул Леон. — Вы бледны, как полотно, дрожите, ваша жена плачет, что случилось?

— Эх, и не спрашивайте, — сказал тихо Герман. — Несчастье, словно гром среди ясного дня, обрушилось на наш дом и так неожиданно, что я до сих пор еще не знаю, сон ли это, или действительность.

— Но скажите же, боже мой, неужто и помочь нельзя ничем?

— Какая там помощь! Кто может воскресить мертвого!.. Погибло, погибло мое счастье, моя надежда!

— Мертвого?

— О, да! Моего сына, моего Готлиба уже нет в живых!

— Готлиба! Что вы говорите! Может ли это быть?

— Пишет из Львова его хозяин, что пропал без вести. Несколько дней не могли отыскать ни малейшего следа, лишь недавно полиция нашла его одежду в кустах на Пелчинской горе.

— А тело?

— Нет, тело не найдено.

— Ах, так, может быть, он еще жив?

— Трудно поверить, любезный сосед! Я и сам так думал вначале. Но затем, взвесив его

характер и все... все... я потерял надежду! Нет, не видать мне его больше, не видать!

Только теперь, когда Герман облегчил свое сердце этим рассказом, из его глаз потекли слезы. Он сознавал, что его сын был испорченный и полусумасшедший, но знал также, что это был его единственный сын, наследник его богатства. Еще только сегодня Леон убаюкивал его сердце такими сладкими надеждами. Он начинал уже думать о том, что если сам Готлиб и не исправится, так, может быть, умная, хорошая жена, Фанни, сумеет по крайней мере сдерживать его дикие причуды, приучит его постепенно к спокойной, разумной жизни. А теперь вдруг все лопнуло, словно пузырь на воде.

Последние ниточки отцовской любви и крепкие нити себялюбия в его сердце были неожиданно и больно задеты, — и он заплакал.

Леон бросился утешать его.

— Ах, дорогой сосед, не плачьте! — говорил он. — Я уверен, что ваш Готлиб жив, что он еще принесет вам утешение. Только не поддавайтесь скорби. Больше твердости, мужества! Нам, сильным людям, капиталистам, стоящим впереди своего времени, нужно быть всегда твердыми и непоколебимыми!

Герман только качал головой на эти слова.

— Что мне от этого? — ответил он печально. — Зачем мне теперь сила, капитал, если больше никому им пользоваться? А я... старик уже!..

— Нет, не теряйте надежды. Не теряйте надежды! — уговаривал Леон. — Поскорее поезжайте во Львов, и я вам ручаюсь, что вам удастся его отыскать.

— О, если б то дал господь, если бы дал господь! — воскликнул Герман. — Ваша правда: поеду, должен найти его, живого или мертвого!

— Нет, не мертвого, а живого, — подхватил Леон. — И уж теперь не оставляйте его там, у какого-то там купца, а привозите сюда, всем нам на утешение, на радость! Да, дорогой сосед, да!..

В эту минуту открылась дверь из спальни, и в комнату вошла Ривка, заплаканная и красная, как огонь. Ее полное, широкое лицо запылало гневом, когда она увидела Леона. И Леон сразу почувствовал себя не в своей тарелке, когда увидел Германиху, высокую, полную и грозную, словно само воплощенное возмездие. Однако, скрывая свою растерянность, он с преувеличенной вежливостью подбежал к ней, поклонился с выражением скорби на лице и уже открыл было рот, чтобы заговорить, когда Германиха, смерив его презрительным взглядом с ног до головы, коротко, но громко спросила:

— А ты зачем здесь, бродяга?

Леон стоял, словно ошпаренный, от такого приветствия.

Затем на его лице появилась холодная, деланная улыбка, и, поклонившись еще раз, он начал:

— Действительно, сударыня, я очень сожалею, что в такое неподходящее время...

— Что тебе здесь нужно, я спрашиваю? — выкрикнула Ривка и посмотрела на него с такой злостью и презрением, что Леону страшно сделалось, и он невольно сделал шаг назад.

— Прошу прощения, — сказал он, еще не теряя мужества, — мы здесь с вашим мужем, а моим дорогим товарищем, строили планы, — ах,

какие хорошие планы, — о нашем будущем, и я твердо верю, что бог нам поможет дожидаться их осуществления.

— Вам? Бог поможет? Людоеды, двуличные твари, — бормотала Ривка и вдруг, словно одержимая, подняла сжатые кулаки кверху и бросилась на перепуганного Леона.

— Уйдешь ли ты, наконец, из моего дома, душегуб? — кричала она. — Ты еще смеешь терзать мое сердце, говорить мне свои глупости, после того, как мой сын из-за вас и ваших проклятых денег погиб!.. Вон из моего дома! Вон! А если еще раз осмелишься здесь появиться, я выцарапаю твои бесстыжие гадючьи глаза! Понимаешь!

Леон побледнел, съежился под градом этих слов и, не спуская глаз с грозного видения, начал задом пятиться к двери.

— Но, послушай, Ривка, — вмешался Герман, — что с тобой? За что ты обижаешь нашего доброго соседа? А ведь, может быть, еще не все потеряно, может быть, наш Готлиб жив, и все то, о чем мы говорили, может сбыться?

Герман надеялся таким способом успокоить жену; но оказалось, что эти слова привели ее еще в большую ярость.

— А хотя бы и так, — крикнула она, — я скорее соглашусь десять раз увидеть его мертвым, чем видеть вот этого паршивца своим сватом! Нет, никогда, пока я жива, никогда этого не будет!

Оба мужчины стояли минуту, словно ослепленные, не зная, что случилось с Ривкой и откуда у нее такая бешеная ненависть к Леону. А когда Ривка снова начала кричать, метаться и

выгонять Леона из дому, тот, съездившись и насунув цилиндр на голову, вылетел из негостеприимного дома во двор на улицу и, не оглядываясь, весь дрожа от неожиданного волнения, пошел в город.

— Боже, эта женщина в самом деле взбесилась, — ворчал он. — И она должна была стать свекровью моей Фанни? Да она, змея полосатая, заела бы ее за один день! Счастье мое, что так случилось, что этот... сынок их куда-то запропастился! Тьфу, не хочу иметь с ними никакого дела!..

Так Леон ворчал и плевался всю дорогу. Ему только теперь стало понятно, почему многие богачи избегают Германа, неохотно бывают в его доме и, кроме торговых и денежных, не имеют с ним никаких других дел. И все-таки Леону было досадно, что так случилось; ему было жаль тех блестящих надежд и планов, которыми он еще так недавно упивался. Впрочем, голова его была полна планов, и, когда рушился один, он недолго горевал, а сразу же хватался за другой. И сейчас он быстро оставил недавние мечты и старался свыкнуться с мыслью, что «работать» ему в дальнейшем придется не в союзе с Германом, а одному, без Германа, и, возможно, против Германа.

«Против! Да, — думал он. — К этому, наверно, вскоре принудит меня и сам Герман, будет стараться теперь еще больше вредить мне».

Леон и сам не знал, с чего это ему пришло в голову, что Герман должен теперь непременно враждовать с ним. Он и наедине с самим собой откровенно не признался бы, что приписывает свои мысли Герману, что в его сердце закипает

какая-то дикая неприязнь к Герману за обиду, испытанную в его доме, за разрушение его блестящих планов. Леон и сам себе не признавался, что это именно он рад был бы теперь навредить Герману, показать ему свою силу, «научить его уму-разуму». Он не вникал в причины, но думал только о самой борьбе, старался заранее представить себе ее способы, многочисленные случайности, неудачи, чтобы своевременно предохранить себя от них, чтобы поставить Германа в наиболее невыгодные условия, нагромоздить на его пути как можно больше препятствий. И по мере того, как походка его делалась медленней, он все глубже погружался в свои мысли, все более тяжелые несчастья и потери обрушивал на голову Германа, громил этого толстенького, спокойного, словно за каменной стеной схоронившегося богача, нагонял на него страх, и, наконец — перед самым входом в дом — свалил его совсем и, вместе с его сумасшедшей женой, выгнал из последнего убежища, — из дома на бориславском тракте.

— У-у, так вам и надо! — шепнул он, словно радуясь их отчаянию. — Чтобы ты знала, ведьма, как выцарапывать мне глаза!

В то время как Леон, погруженный в свои мечты, радовался полному упадку дома Гольдкремеров и заранее подсчитывал прибыль, которая выпадет на его долю в результате этой великой победы, Герман в карете вихрем мчался по улицам Дрогобыча на стрыйский тракт. Лицо его все еще было очень бледным, он то и дело чувствовал какой-то холод за спиной и мелкую дрожь во всем теле, а в его голове кружились и бурлили мысли, словно вода на мельничном колесе. Несчастье свалилось на него так не-

ожиданно, к тому же несчастье такое странное и непостижимое, что он в конце концов решил — не думать ни о чем и терпеливо ждать, что из всего этого выйдет. Он решил прожить несколько дней во Львове и использовать все средства для того, чтобы отыскать сына и выяснить все это дело, — почему и куда он пропал. Через несколько дней он должен был выехать в Вену, куда товарищ по торговым делам вызвал его телеграммой для улаживания важного дела, связанного с нефтяной промышленностью в Бориславе. Если в течение нескольких ближайших дней ему не удастся во Львове добиться своего, он решил предоставить это дело полиции, а самому все-таки поехать в Вену. Правда, жена не велела ему возвращаться без сына, живого или мертвого, а о поездке в Вену по «нефтяным» делам она и слышать не хотела, — но что жена понимает! Разве она знает, что Герман хоть и будет сам руководить поисками во Львове, но Готлиба все-таки может не найти, а деньги и без него свое сделают, если вообще можно еще что-нибудь сделать. В Вене же ему, конечно, необходимо быть, там дело без него не двинется.

Так размышлял Герман, быстро катясь в карете по дороге в Стрый. Волнистая предгорная местность проносилась перед ним, не оставляя в его душе никакого следа. Он ждал нетерпеливо, скоро ли вдали забелеют башни Стрия; на него нагоняли тоску бесконечные ряды берез и рябин, тянувшиеся по обеим сторонам дороги; он постепенно начал успокаиваться, покачиваясь от одной стенки кареты к другой, и, наконец, прислонившись лицом к подушке, уснул.

После отъезда Германа Ривка снова бросилась на софу, всхлипывая и вытирая глаза, и всякий раз, когда она взглядывала на несчастливое письмо из Львова, слезы с новой силой начинали литься из ее глаз. Слезы смягчали ее горе, отгоняли всякие мысли, она давала им уноситься, словно тихим волнам, не думая о том, куда они несут ее. Всхлипывая и вытирая слезы, она как-то забывалась, забывала даже о Готлибе, о письме, о своем горе и чувствовала только льющиеся холодеющие слезы.

Куда девалось то время, когда Ривка была бедной молодой работницей? Куда девалась прежняя Ривка, проворная, трудолюбивая, веселая и довольная тем, что имела? То время и та Ривка сгнули бесследно, изгладились даже в затуманенной памяти теперешней Ривки!..

Двадцать лет прошло с той поры, когда она, здоровая, крепкая девушка-работница, однажды вечером встретилась случайно на улице с бедным «либаком»¹ — Германом Гольдкремером. Они разговорились, познакомились. Герман в то время, неуверенными еще шагами, начинал идти к богатству; он занят был казенными поставками и уже близок был к тому, чтобы все потерять, так как у него нехватало денег, чтобы выполнить все свои обязательства. Узнав о том, что у Ривки есть немного денег, собранных в приданое, он поспешно женился на ней, спас при помощи ее приданого свое дело и добился больших прибылей. Счастье улыбну-

¹ Л и б а к — рабочий, который собирает нефть с поверхности воды. В Бориславе нефть выплывала на поверхность воды в озерах и речках.

лось ему и с тех пор никогда не покидало его. Богатство текло ему в руки, и чем больше оно становилось, тем меньше были потери и вернее прибыли. Герман весь отдался этой погоне за богатством; Ривка стала теперь для него пятым колесом в телеге; он редко бывал дома, а если когда и заглядывал, то избегал ее, чем дальше, тем больше. И недаром. Ривка сильно изменилась за эти годы и изменилась не к лучшему, хотя, повидимому, и не по своей вине. Можно сказать, что богатство Германа заело ее, подточило морально. Сильная и здоровая от рождения, она нуждалась в движении, работе, деле, которым могла бы заняться. Пока она жила в бедности, в таком деле у нее недостатка не было. Она служила у богатеев, зарабатывала всячески, чтобы прокормить себя и свою тетку, единственную родственницу, которая осталась у нее после холеры.

Выросшая в бедной семье, она не получила, разумеется, никакого, даже начального, образования. Тяжелая жизнь и однообразная, механическая работа развили ее силу, ее тело, но совершенно не затронули ум. Она выросла в полном невежестве и темноте духовной, не обладала даже теми врожденными способностями и «смекалкой», которые обычно встречаются у деревенских девушек. Лишь то, что касалось непосредственно ее, могла она понять, осмыслить, — вне этого ничего не понимала. Такой взял ее Герман.

Любви между ними не было. Правда, молодая, здоровая натура обоих вначале влекла их друг к другу, — неразвитые мысли и чувства не требовали ничего, кроме простого физического наслаждения. Но и тогда они целыми

днями обычно не виделись, — тем приятнее была встреча вечером. У них родилась дочь, которая, однакоже, скоро умерла, кажется из-за неосторожности самой матери ночью. В то время Гольдкремеры считались еще бедными: Герман рыскал целыми днями по городу или по окрестным деревням, Ривка хозяйничала дома, варила, стирала белье, рубила дрова, шила и мыла, — одним словом, была работницей, как и прежде. И это была наиболее счастливая пора ее замужества. Первый ребенок — здоровая и красивая девочка — очень ее радовал и доставлял ей немало хлопот и дел. Чем больше она работала и хлопотала, тем здоровее и веселее становилась. Правда, она и сама не знала, что это именно от работы, и частенько жаловалась мужу, что не имеет никогда ни минуты отдыха, что губит здоровье, повторяя скорее обычные жалобы других женщин, нежели исходя из собственных убеждений и собственного опыта.

К несчастью, ее желания очень быстро исполнились. Герман разбогател, купил удобный и просторный дом на бориславском тракте, нанял прислугу, которой требовала жена, — и ей вначале стало как будто легче. Она ходила по тем комнатам, в которые еще недавно робко заглядывала с улицы, присматривалась к картинам, мебели, зеркалам и обоям, распоряжалась на кухне, заходила в кладовую, но скоро поняла, что все это было ненужно. Герман сам выдавал слугам все по счету и за малейшую неточность грозил прогнать со службы, — хотя при небольшом хозяйстве, которое они вели, нечего было бояться воровства.

Нанятый повар понимал в кушаньях гораздо больше, чем сама хозяйка, и ее советы и рас-

поряжения принимал с вежливой улыбкой. Переставлять мебель и перевешивать картины ей скоро надоело; и вот началась новая, страшная пора ее жизни. Она прежде не знала, что такое скука, — теперь скука пронизывала ее до мозга костей. Она то слонялась по огромным комнатам, как неприкаянная, то сидела в кухне и болтала с прислугой, то лежала целыми часами на кушетке, то выходила на улицу и быстро возвращалась домой, не находя себе никакого занятия, никакой работы, ничего, чем можно было бы заполнить жизнь. Слуги были с ней неразговорчивы, зная ее раздражительность, вспыльчивость. В гости она ходила редко, да и принимали ее везде очень холодно. В конце концов всякие посещения стали для нее мукой. В том новом кругу людей, в который так неожиданно ввело ее богатство мужа, она чувствовала себя совсем чужой, не умела шагу ступить, не знала, что говорить, не понимала ни их комплиментов, ни ядовитых намеков, а своими грубыми шутками и простыми замечаниями вызывала только смех. Скоро она спохватилась, что она и в самом деле становится посмешищем в глазах этих людей, и совсем перестала бывать в обществе, перестала принимать у себя посторонних, за исключением нескольких пожилых женщин. Но и они вскоре были разобижены ее раздражительностью, внезапными необузданными вспышками и перестали у нее бывать. Ривка осталась одна, мучилась и металась, словно зверь лесной, запертый в клетку, и никак не могла понять, что с ней происходит. Ее неразвитый ум не мог ни доискаться причины этого положения, ни найти из него выхода, — найти хоть какую-нибудь деятельность, хоть какое-

нибудь занятие для ее здоровой, крепкой натуры. Лишенная всякого дела, всякого живого интереса в жизни, она замкнулась в самой себе и, пожираемая внутренним огнем, время от времени вспыхивала неукротимым, безумным гневом из-за какой-нибудь мелочи. По мере того как Ривка отвыкала от работы, труд становился ей все более ненавистным и тяжелым; она не могла заставить себя прочитать хотя бы одну книжку, а ведь несколько лет тому назад тетка научила ее немного грамоте. Скука застилала все перед ее глазами серою, отвратительной пеленой, и она делалась все более одинокой, все глубже падала на дно той пропасти, которую вокруг нее и под нею вырыло богатство ее мужа и которую ни она, ни ее муж не умели заполнить ни сердечной любовью, ни разумным духовным трудом.

Вот в такое-то время родился у Ривки сын — Готлиб. Врачи вначале не надеялись, что он выживет. Ребенок был болезненный, непрерывно кричал, плакал, и слуги шептались между собой на кухне, что это не ребенок, а «видминча»¹. Но Готлиб не умер, хоть и не становился более здоровым. Зато для его матери хоть на некоторое время свет прояснился. Она с утра до вечера бегала, кричала, суетилась возле ребенка и сразу почувствовала себя более здоровой, менее раздражительной. Тоска пропала. И, выздоравливая, Ривка тем сильнее любила своего сына, чем слабее и беспокойнее он был. Бессонные ночи, непрерывные волнения и заботы, — все это делало Готлиба более

¹ Видминча — чортик, которым «подменили ребенка», выродок, чудовище.

дорогим, более милым. Со временем мальчик как бы окреп немного, поздоровел, но уже и тогда видно было, что его духовные способности будут далеко не блестящи. Он едва на втором году начал ходить и в три года лепетал, как шестимесячное дитя. Зато, к великой радости матери, начал хорошо есть, словно за первые три года сильно проголодался. Животик у него всегда был полный и вздутый, как барабан, и стоило ему лишь немного проголодаться, он сейчас же начинал визжать на весь дом. Но чем больше подрастал Готлиб, тем хуже делался его характер. Он всем надоедал, портил все, что можно было испортить, и ходил по комнатам, словно неприкаянный, высматривая, к чему бы прицепиться. Мать любила его без памяти, дрожала над ним и ни в чем не прекословила ему. Ее неразвитый ум и чувство, которое так долго подавлялось, не могли указать ей другого пути для проявления материнской любви; ей и в голову не приходило подумать о разумном воспитании ребенка, и она заботилась только о том, чтобы исполнить каждое его желание. Слуги боялись маленького Готлиба, как огня, потому что он любил ни с того, ни с сего прицепиться и либо порвать платье, облить, исцарапать, укусить, либо, если он не мог это сделать, начинал кричать изо всей силы, на крик прибегала мать, и его несчастной жертве приходилось тогда еще хуже. Хорошо еще, если дело ограничивалось бранью и побоями, — а то случалось, что прислугу немедленно прогоняли со службы. Герман не любил сына, уже хотя бы по одному тому, что и в те редкие дни, когда бывал дома, никогда не имел от него покоя. Маленький Готлиб вна-

чале боялся отца, но когда мать несколько раз яростно схватилась из-за него с отцом и отец уступил, мальчик своим детским чутьем почуял, что и здесь ему воля, что мать защитит его, и начал выступать против отца с каждым разом все смелее. Это бесило Германа, но он не мог ничего поделать, так как жена во всем потакала сыну и готова была за него глаза выцарапать. И это увеличивало холодность Германа и к жене и к сыну. Разлад в семье усилился, когда пришлось отдать Готлиба в школу. Само собой разумеется, что несколько дней до этого Ривка плакала над своим сыном так, словно его должны были повести на убой; она разговаривала с ним, словно прощаясь навеки, рассказывала ему, какие строгие люди эти учителя, и заранее уже грозила тем из них, которые осмелятся задеть ее дорогого сыночка; она наказывала ему, чтобы он сейчас же пожаловался ей, если кто-нибудь в школе оскорбит или обидит его, а она уж покажет учителям, как нужно с ним обращаться. Одним словом, не начав еще ходить в школу, Готлиб уже питал к ней такое отвращение, словно это был сущий ад, изобретенный злыми людьми нарочно для того, чтобы мучить таких, как он, «золотых сыночков».

Зато Герман ударился в другую крайность. Он пошел к ректору отцов Василиан¹, которые содержали в Дрогобыче единственную в то время школу, и просил его присматривать за Готлибом, чтобы тот учился и привыкал к порядку. Он рассказал, что мальчик избалован и испорчен матерью, и просил держать его в строгости, не жалеть угроз и даже наказаний и не

¹ Монашеский орден.

обращать внимания на то, что будет говорить и делать его жена. Добавил даже, что если это будет нужно, он найдет для Готлиба отдельную квартиру вне дома, чтобы избавить его от вредного влияния матери. Отец-ректор был очень удивлен, услышав это, но скоро и сам увидел, что Герман говорил правду. Готлиб не только был мало способным к учению ребенком, но его начальное домашнее воспитание было таким скверным, что отцы-учителя, вероятно, ни с кем еще не имели столько хлопот, сколько с ним. Ученики, товарищи Готлиба, ежеминутно жаловались на него: тому он порвал книжку, другому подбил глаз, а у третьего отобрал шапку и забросил ее в монастырский огород. Если кто в коридорах и классах больше всех шумел и кричал, то это наверное был Готлиб. Если кто во время урока возился или стучал под скамейкой, то это также был он. Учителя вначале не знали, что с ним делать; они изо дня в день жаловались ректору, ректор писал отцу, а отец отвечал коротким словом: «бейте». Тогда посыпались на Готлиба наказания и розги, которые хоть внешне как будто усмирили немного, сокрушили его крутой нрав, но зато развили в нем скрытность и упорную злобу и таким образом окончательно испортили его.

За семь или восемь лет Готлиб едва окончил четырехклассную нормальную школу и, придавленный морально, неразвитый духовно, с безграничным отвращением к учению и ненавистью к людям, а особенно к отцу, поступил в гимназию. Здесь он за три года не окончил еще и второго класса, когда скверная и темная история, происшедшая с отцом, навсегда прервала его школьное ученье...

Но кто знает, может быть, эти несчастные школьные годы были более тяжелыми и мучительными для Ривки, нежели для самого Готлиба. Прежде всего школа на большую часть дня разлучала ее с сыном и тем самым ввергала ее снова в бездонную пропасть бездействия и скуки. Вечные же слезы и жалобы Готлиба еще больше озлобляли и раздражали ее. Вначале она, словно раненая львица, ежедневно бегала к отцам Василианам, упрекала в несправедливости и неспособности учителей, кричала и проклинала до тех пор, пока ректор не пристыдил ее и не запретил приходить в школу. Потом она решила было настоять на том, чтобы отобрать Готлиба у отцов Василиан и отдать в какую-нибудь другую школу, но скоро сообразила, что другой школы в Дрогобыче не было, а отдавать Готлиба в какой-нибудь другой город, к чужим людям — о том она и думать не могла без содрогания. Она металась в поисках выхода, словно рыба в сети, и не раз целые дни просиживала на софе, плача и думая о том, что вот в школе в эту минуту, может быть, тащат ее сына, толкают, кладут на скамейку, бьют, — она громко проклинала и школу, и ученье, и мужа-злодея, который нарочно избрал эту муку для сына и для нее. Эти вспышки становились все более частыми и довели ее в конце концов до ненависти ко всем людям, до какого-то непрерывного раздражения, готового в любую минуту взорваться дикими проклятиями. Теперь уже Ривка и не думала итти в общество или как-нибудь разогнать свою скуку; она слонялась по дому, не находя себе места, и никто из слуг без крайней нужды не смел показаться ей на глаза. Такое положение

дошло до предела, когда Герман два года тому назад отвез Готлиба во Львов и отдал купцу. Ривка словно обезумела, рвала на себе волосы, бегала по комнатам и кричала, затем успокоилась немного и долгие месяцы сидела день изо дня молча, как зверь в клетке. Одиночество и пустота вокруг нее и в ней самой стали еще более страшными, — даже муж боялся подступить к ней и старался целыми днями не бывать дома. И среди всего этого мрака в ее сердце горел лишь один огонь — безумная, можно сказать, звериная любовь к Готлибу. Теперь завистливая судьба намеревалась отнять у нее и эту последнюю опору, стереть в ее сердце все, что оставалось в нем человеческого. Страшный удар обрушился на нее, и если она в эти минуты не сошла с ума, то лишь потому, что не могла поверить в свое несчастье.

После отъезда Германа она так и застыла на своей кушетке. Ни одна мысль не шевелилась у нее в голове, только слезы лились из глаз. Весь мир исчез для нее, свет померк, люди вымерли, — она ощущала лишь непрестанную ноющую боль в сердце.

Вдруг она вскочила и задрожала всем телом. Что это? Что за шум, за стук, за говор долетели до нее? Она затаила дыхание и прислушалась. Говор у входа. Голос служанки, которая будто ругается с кем-то и не пускает в комнату. Другой голос, резкий и гневный, стук, словно от падения человека на землю, треск двери, топот шагов по комнате, ближе, все ближе...

— Ах, это он, это мой сын, мой Готлиб! — вскрикнула Ривка и бросилась к двери. В эту

минуту чья-то сильная рука толкнула дверь, и перед нею предстал весь черный, в истрепанных черных лохмотьях молодой угольщик.

Ривка невольно вскрикнула и отшатнулась назад. Угольщик глядел на нее гневными большими глазами, в которых сверкали злоба и ненависть.

— Что, не узнаешь меня? — проговорил он резко, и в ту же минуту Ривка, словно безумная, бросилась к нему, начала тискать и целовать его лицо, глаза, руки, смеясь и плача.

— Ах, так это все-таки ты? Я не ошиблась! Боже, ты жив, ты здоров, а я уж чуть было не умерла! Сыночек мой! Любимый мой, ты жив, жив!..

Восклицаниям не было конца. Ривка потащила угольщика на кушетку и не выпускала из объятий, пока он сам не вырвался. Прежде всего, услышав шаги приближающейся служанки, он запер дверь и, обращаясь к матери, сказал:

— Прикажи этой проклятой обезьяне, пускай себе идет к чорту, потому что я разобью ее пустой череп, если она сейчас же отсюда не уберется.

Ривка, послушная сыну, приказала через запертую дверь служанке идти на кухню и не выходить, пока ее не позовут, а сама начала снова обнимать и ласкать сына, не сводя ни на минуту глаз с его гневного, вымазанного сажей лица.

— Сыночек мой, — начала она, — что это с тобой? Что ты сделал?

И она начала разглядывать его с выражением бесконечной жалости, словно речь шла не о нищенской одежде, а о смертельной ране на его теле.

— Ага, а вы думали, что я так и буду до самой смерти терпеть у этого проклятого купца? — крикнул Готлиб, топая от злости ногами и вырываясь из объятий матери. — Вы думали, что я не посмею иметь свою волю! Га!

— Что ты, золото мое, кто так думал? — воскликнула Ривка. — Это, может быть, изверг этот, твой отец, так думал!

— А ты нет?

— Я? Господи! Сыночек, да я бы крови своей не пожалела для тебя. Сколько раз я говорила ему...

— А он куда уехал? — перебил ее Готлиб.

— Да во Львов, искать тебя.

— А-а, так, — сказал Готлиб с довольной улыбкой, — пускай поищет.

— Но как же ты добрался сюда, голубчик?

— Как? Не видишь? С угольщиками, которые возвращались из Львова.

— Бедное мое дитяtko! — воскликнула Ривка. — И ты ехал с ними всю дорогу! То-то горя натерпелся, должно быть, господи! Ну-ка, сбрось поскорей эту гадость с себя: я ве-лю принести воду, вымойся, переоденься!.. Я уж больше не пу-щу тебя, не позволю, чтобы этот мучитель увез тебя назад, нет, никогда! Снимай, голубчик, эту нечисть, снимай, я сей-час пойду принесу для тебя чистое платье. Ты голоден, правда?.. погоди, я вызову при-слугу...

И она встала, чтобы позвонить. Но Готлиб силой удержал ее.

— Оставь меня в покое, не надо, — сказал он коротко.

— Но почему же, сыночек? Ведь ты не будешь же так...

— Ага, ты думала, — сказал Готлиб, вставая перед ней, — что я для того только вырвался из Львова в этих лохмотьях, для того только тащился с угольщиками пятнадцать миль, чтобы поскорее снова отдаться вам в руки, дать запереть себя в какую-нибудь клетку, да еще в придачу слушать ваш крик и ваши наставления? О, нет, не бывает этому!

— Но, сынок, — вскрикнула, бледнея и дрожа от страха Ривка, — что же ты хочешь делать? Не бойся, здесь дома я защищу тебя, никто ничего тебе не сделает!

— Не нужна мне твоя защита, я сам за себя постою!

— Но что же ты будешь делать?

— Буду жить так, как сам захочу, без вашей опеки!

— Господи, да ведь я же не запрещаю тебе и дома жить, как ты хочешь!

— Ага, не запрещаешь! А стоит мне лишь выйти куда-нибудь, задержаться, сейчас же расспросы, слезы, чорт знает что!.. Не хочу этого. А еще он приедет, о, много я тогда выиграю!

Ривку словно ножом резнули эти слова. Она чувствовала, что сын не любит ее, терпеть не может ее ласки, и это чувство испугало ее, словно в эту минуту она теряла сына вторично и уже навсегда. Она неподвижно сидела на кушетке, не сводя с него глаз, но не могла ни слова выговорить.

— Дай мне денег, я себе устрою жизнь так, как мне нравится, — сказал Готлиб, не обращая внимания на ее переживания.

— Но куда же ты пойдешь?

— Тебя это не касается. Я знаю, что ты

сразу же сказала бы ему, как только он придет, а он приказал бы жандармам меня привести.

— Но я богом клянусь, что не скажу!

— Нет, я и тебе не скажу. Зачем тебе знать? Давай деньги!..

Ривка встала и открыла конторку, но больших денег у нее никогда не было. В конторке она нашла только пятьдесят ренских и молча подала их Готлибу.

— Что это! — сказал он, поворачивая в руках банкнот. — Нищему подаешь, что ли?

— Больше у меня нет, сыночек, посмотри сам.

Он заглянул в конторку, все перерыл в ней и, не найдя больше денег, проговорил:

— Ну, пусть будет так. Через несколько дней раздобудь больше.

— Ты придешь? — спросила она радостно.

— Посмотрю. Если его не будет, приду, а не то пришлю кого-нибудь. Как покажет от меня знак, дай ему деньги в запечатанном пакете. Но запомни, — здесь Готлиб грозно потряс перед нею сжатыми кулаками, — никому обо мне не говори ни слова.

— Никому?

— Никому! Я тебе приказываю! Ни ему, ни слугам, никому! Пусть никто в Дрогобыче не знает обо мне. Хочу, чтобы мне никто не надоедал. А если скажешь кому, то пеняй на себя!

— Но, сыночек, тебя же здесь видела прислуга.

— Эта обезьяна? Скажи, что посыльный от кого-нибудь, или что! Говори, что хочешь, лишь обо мне ни слова. А если он дознается, что

я жив и бываю здесь, или если кто вздумает следить за мной, то попомни — такой вам на- творю беды, что и не опомнитесь. Хочу жить так, как мне нравится, и все тут!

— Боже мой!.. — вскрикнула Ривка, зала- мывая руки. — И долго ты будешь жить так?

— Сколько мне захочется.

С этими словами Готлиб подошел к окну, от- крыл его, словно желая посмотреть в сад, и в одно мгновение выпрыгнул через окно во двор. Ривка вскочила, вскрикнула, подбежала к ок- ну, но Готлиба уже и след простыл. Только кусты высокого репейника в саду шелестели, словно тихо шептались о чем-то между собой.

В эту минуту служанка, бледная и испуган- ная, вбежала в соседнюю комнату и начала кри- чать:

— Пани, пани!

Ривка быстро опомнилась и открыла дверь.

— Пани, что с вами? Вы кричали, звали меня?

— Я? Тебя? Когда? — спрашивала Ривка, вспыхнув вся, как огонь.

— Сейчас. Мне показалось, что вы кричали.

— Это в твоей дурной голове кричало что- то, обезьяна! Марш в кухню! Разве я не при- казывала тебе только тогда приходить, когда тебя позовут?

— Но мне казалось, что вы меня зовете, — робко пробормотала служанка.

— Марш в кухню, тебе говорят, — закри- чала Ривка, — и пускай в другой раз тебе не кажется ничего, понимаешь?

Прошло три недели со дня закладки. Строительство дома Леона быстро подвигалось вперед: фундамент был уже готов, и фасад из тесаного камня уже возвышался на локоть над землей.

Строитель наблюдал за работой, а в первые дни и сам Леон с утра до вечера просиживал на стройке, всюду совал свой нос и всех торопил... Но это продолжалось недолго. Какое-то срочное дело потребовало присутствия Леона в Вене, и, хотя без него работа не пошла медленнее, однако рабочие вздохнули с облегчением, не слыша больше его вечных понуканий.

Однажды утром, незадолго до шести часов, несколько рабочих сидели на бревнах и камнях, ожидая сигнала к работе. Они разговаривали о том и о сем, пока собирались остальные рабочие. Вот пришел строитель, взглянул на рабочих и строго крикнул:

— Ну, что, все вы здесь?

— Все, — ответил мастер.

— Начинайте работу!

Один из рабочих дал сигнал. Все пришло в движение на площадке. Каменщики плевали в ладони и брались затем за клевачи, лопатки и молотки; парни и девчата, нанятые таскать кирпич, кряхтя, сгибали спины и, просовывая шею в деревянное ярмо, взваливали на себя приспособления для ношения кирпича; плотники размахивали блестящими топорами; пильщики взбирались на козлы; большая машина человеческой ручной силы со скрипом, стонами и вздохами начинала приходить в движение.

Вдруг на улице со стороны рынка показался еще один рабочий, сгорбившийся, жалкий, болезненный, и свернул на строительную площадку.

— Бог на помочь! — сказал он слабым голосом, останавливаясь возле мастера.

Мастер оглянулся, посмотрели и другие каменщики.

— Это ты, Бенедя? Ну, что же ты, здоров уже?

— Как будто здоров, — ответил Бенедя. — Некогда хворать; видите, мать у меня старая, больная, не ей за мной ухаживать!

— Ну, а сможешь ты работать, человече? — спросил мастер. — Да ты, ведь, выглядишь, словно мертвец, куда тебе работать!

— Га, что же делать? — ответил Бенедя. — Что смогу, то и буду работать. А разойдусь немного, может, и сам окрепну, поправлюсь. Может, местечко будет здесь для меня?

— Да оно бы так... как же: быть-то будет, рабочих нужно как можно больше, хозяин торопит с постройкой. Поди заявись строителю да и становись на работу.

Бенедя положил мешок с хлебом и инструменты в сторонке и пошел искать строителя, чтобы объявить ему, что пришел на работу.

Строитель ругал какого-то плотника за то, что тот не гладко обтесал бревно, когда Бенедя подошел к нему с шапкой в руке.

— А ты чего здесь шляешься, почему не работаешь? — гаркнул он на Бенедю, не узнав его вначале и думая, что это кто-нибудь из поденных каменщиков пришел к нему с какой-нибудь просьбой.

— Я пришел сказать пану строителю, что я

уже поправился и вышел на работу. Прошу назначить, куда мне становиться.

— Поправился? А-а, так ты сегодня первый раз?

— Нет, сударь, я уже был здесь на работе, только во время закладки меня рычагом покалечило.

— А, это ты? — закричал строитель. — Это ты тогда наделал нам беды, а теперь еще сюда лезешь?

— Какой беды, сударь?

— Молчи, дурень, когда я говорю! Ты напился, не отскочил во-время, а мне позор! Чуть что, сейчас же все на меня: он виноват, не заботится о жизни рабочих, не умеет камень спустить! Нет, хватит с меня этого, мне такие рабочие не нужны!

— Я напился? — вскрикнул изумленный Бенедя. — Пане строитель, я отродясь еще пьяный не был... Кто вам сказал?

— О, да, тебе лишь только поверь, как ты готов присягнуть, что и не знаешь, как выглядит водка. Нет, гиблое твое дело; клянись, чем хочешь, а я тебя на работу не возьму!

— Но, пане строитель, побойтесь бога! Чем я виноват? Я здесь здоровье свое потерял, едва поправился немного, а если вы меня теперь прогоните, где я тогда заработаю, кто меня примет?

— Пускай тебя принимает, кто хочет, меня это не касается! Я волен принимать или не принимать на работу, кого мне захочется!

— Но ведь я здесь уже принят, а если меня не было три недели, то это не моя вина. Я уж не говорю о том, что я болезнь перенес, и не требую ничего за время болезни, хотя, ясное

дело, если бы мне не помогли добрые люди, то я вместе с матерью погиб бы с голоду. Но теперь ведь должна же найтись для меня здесь работа!

— Га, га, га! Должна! Вишь ты, как он рассудил! А знаешь ли ты, безмозглый хам, что ты здесь каждый день, каждый час по моей милости работаешь? Если я не захочу, то и тебя не будет, выгоню, и ступай тогда судись со мной!

На эти слова Бенедя не нашел уже никакого ответа. Он опустил голову и молчал, но слова строителя глубоко запали ему в душу. Правда, он и прежде не раз слышал такие слова, но никогда прежде они не задевали его так сильно, никогда еще не вызывали в душе такого жгучего чувства несправедливости и угнетения. «Неужто это правда? — думал он. — Неужто рабочий всегда работает по его милости? А если рабочий живет кое-как, то, значит, это также по его милости? А по чьей же милости меня искалечил рычаг? А если он всегда так милостив к рабочим, то чья же милость меня гонит с работы на голодную смерть? Но нет, здесь, видно, что-то не так! Живу ли я на свете по милости строителя, этого я не знаю, но я знаю, что по его милости я искалечен, больной и без работы!»

— Ну, что, — прервал его мысли строитель, — чего же ты стоишь? Убирайся отсюда!

— Да я, паночек, место здесь не простою, уберусь. Только мне все-таки сдается, что не так должно быть, как вы, пане, говорите.

— Что, что? Ты меня хочешь учить? Ну, хорошо, ну, говори, как должно быть?

— Вы, пане, должны знать, что и вы такой

же слуга, как и я. Если бы вас не нанимали на работу, то и вы умерли бы с голоду, так же, как и я!

— Ха-ха-ха! Ты, наверно, лежа в своей халупе таким умником сделался! Ну-ну, продолжай, как еще должно быть?

Строитель стоял перед Бенедеем, держась за бока, и смеялся, но его здоровое лицо, красное, как бурак, свидетельствовало, что злость кипела в нем и в любую минуту готова была прорваться сквозь деланный смех. Но Бенедя не обращал внимания ни на его смех, ни на его злость. Чувство пережитой обиды придавало ему смелости.

— А еще так должно быть, — сказал он твердо, — чтобы вы, пане строитель, не издевались над бедным рабочим и не попрекали его халупой, потому что, кто знает что и вас может ожидать.

И с этими словами, не ожидая ответа строителя, Бенедя повернулся, взял свой мешок, сказал другим рабочим: «Бывайте здоровы, братцы», и вышел с площадки на улицу.

Но куда теперь? Бедный Бенедя все надежды возлагал на эту работу. Он знал, что такого слабого нигде не примут. А сейчас, когда и эта последняя надежда рухнула, он стоял на улице, словно пришибленный, не зная, куда направиться. Итти домой? Там старуха-мать ждет заработанных им денег. Итти искать работу? Но где? Ниоткуда не видно было никакой надежды? Как вдруг ему пришла мысль обратиться к более высокому пану, нежели строитель, к самому Леону, и просить его, чтобы принял на работу.

Пока он все это обдумывал, стоя на улице,

перед площадью, на которой строился дом, прибежал рассыльный, который громко позвал строителя к хозяину. Строитель удивился и спросил: разве хозяин уже приехал из Вены?

— Приехал вчера ночью и просит, чтобы пан поскорей пришел к нему.

Строитель, а за ним Бенедя, пошли к Леону. Хозяин ходил по двору и, увидев их, пошел навстречу.

— Имею к пану небольшое дельце, — сказал он, поздоровавшись со строителем; затем, обернувшись к Бенедю, спросил:

— А ты зачем?

— Я, ваша милость, хотел бы стать на работу, — сказал Бенедя.

— Это меня не касается, проси пана строителя.

— Я просил уже, но пан строитель не хотят...

— Разумеется, не хочу, — вмешался строитель. — Это тот самый, — сказал он, обращаясь к Леону, — который во время закладки был искалечен благодаря своей неосторожности. Какой мне прок в таком работнике! К тому же он сейчас болен, а рабочих у меня достаточно.

— А-а, это тот самый! — вспомнил Леон. — Гм, оно бы следовало для него что-нибудь сделать. — И прибавил, обращаясь к Бенедю: — Ну-ну, что-нибудь придумаем, обожди здесь, пока тебя не позову. Вот сядь здесь на крыльце и посиди.

Долго продолжалась беседа Леона со строителем. Бенедя тем временем сидел на крыльце и грелся на солнце.

Наконец, спустя некоторое время появился

строитель, какой-то кислый как будто, и, не обращая внимания на Бенедю, ушел. Через несколько минут вышел и Леон.

— Тебе нужна работа? — спросил он Бенедю.

— Конечно, барин, человек живет работой, значит, работа для него все равно, что жизнь.

— Да, но видишь, пан строитель не хочет тебя держать здесь, в Дрогобыче. Но ты не горюй, я начинаю сейчас строить в Бориславе новую паровую мельницу, там тебе работы будет достаточно.

— В Бориславе?.. Паровую мельницу?.. — изумился Бенедя, но сразу же замолчал, не смея пускаться с таким важным барином в разговор.

— Ну, что же ты так удивился? — спросил, усмехаясь, Леон. — Мельница — так мельница: тебе, каменщику, все равно.

— Да я уж и сам подумал, что панское дело приказывать, а наше дело работать. Мельница — так мельница...

— Только, видишь ли, я хотел бы, чтобы постройка была немудреная, так себе, в два кирпича, одноэтажная, но пошире. Это не будет обыкновенная паровая мельница, какие все строят. Я нашел такого человека, который все это придумал и план сделал и сам будет вести работу. Но, видишь, строитель уж очень носом начал крутить, когда увидел этот план. Ну, а ты разбираешься в том, как нужно работать по плану?

— Почему же нет? Если человек имеет под рукой чертеж и масштаб, то это не великая штука...

— Да, да, разумеется, не великая штука, —

сказал Леон. — Так вот, видишь ли, я не всегда смогу наблюдать за тем, что там делается, в Бориславе, а строитель так здесь со мной спорил, что готов спутать мне все и построить не так, как в плане указано. Так я уж буду тебя просить, чтобы ты, в случае, если что не так, дал бы мне знать.

Бенедя с изумлением слушал все, что говорил ему Леон. Что это за мельница такая, что строитель от нее нос воротит, а пан боится, чтобы он не сделал иначе, чем в плане указано? И с чего это вдруг Леону пришло в голову просить его, чтобы он следил за строителем? Бенедя не мог найти в своей голове ответа на все эти вопросы и стоял перед Леоном, как бы колеблясь.

— Не бойся, будь только правдив со мной, и ты не пожалеешь об этом. Пока будет идти строительство в Бориславе, до тех пор ты будешь там, и на жалованьи не подручного, а каменщика. А потом посмотрим.

Бенедя еще пуще прежнего удивился. Откуда вдруг такая щедрость у Леона? А впрочем, кто его знает, — продолжал он раздумывать, — может быть, ему и в самом деле это необходимо, вот он и платит. Разве для него это большое дело? А для бедного помощника каменщика все-таки благодеяние большое. Размышляя так, Бенедя решил согласиться на условия Леона, еще и поблагодарил его за милость.

— Ну-ну, не благодари, — ответил Леон, — я не благодарности от тебя требую, а верной службы; если будешь стараться, я тебя, конечно, не забуду. А теперь иди собирайся как можно скорее в Борислав, чтобы завтра же ты мог быть на месте — за Бориславом, возле реки.

С этими словами Леон дал Бенедю несколько ренских задатка и пошел в дом.

Бенедя не надеялся на такой успех. Радостный, вернулся он домой и рассказал своей старой матери обо всем, что сегодня с ним произошло.

— Что делать, мать? — закончил он свой рассказ. — Надо брать работу там, где дают. Пойду в Борислав.

— Да я тебе, сынок, и не перечу, а только помни, — всегда по правде живи и к дурному никогда рук не прикладывай. С этой мельницей, сдается мне, что-то не так. Бог его знает, что себе этот толстопузый задумал, а ты, знай, беспокойся о своей душе, за собой смотри.

— Мне и самому показалось, что здесь что-то не так, как он говорит. А то, что он просит меня присматривать за строителем, — мне и вовсе не понравилось. Правда, строитель наш — плут и пройдоха, но с чего это он мне, простому рабочему, наказал присматривать за паном?.. Ну, а если бы я и в самом деле что-нибудь заметил неладное, я бы и без его денег сказал бы ему обо всем. Посмотрим, что будет.

Но, когда Бенедя совсем уже собрался в дорогу и стал прощаться с матерью, старуха ни с того, ни с сего начала плакать и, обняв сына, долго не хотела его отпускать от себя.

— Ну, довольно же, мамко, довольно, скоро увидимся! — утешал ее Бенедя.

— Ой, сыночек, хорошо тебе говорить! — ответила мать плача. — Разве ты не видишь, как я стара? Мне еще день-час пожить, да и жизнь вся. Как посмотрю, что ты уходишь от меня, так и чудится мне, что уж никогда больше тебя не увижу.

— Пусть бог милует! Мамко, что вы говорите!..

— То говорю, что мне сердце подсказывает. И еще мне сдается, что ты, сынок, идешь в этот Борислав, словно в западню какую, и что было бы лучше, если бы ты отнес этот задаток и остался тут.

— Но, мамко моя, с чем оставаться здесь, когда работы нет? Я же вам говорю, что чуть увижу что-нибудь недоброе, так пусть меня пан хоть всего озолотит, я и часа не останусь работать у него.

— Хорошо, иди, если такова твоя воля, я тебе не запрещаю, и пускай тебя господь благословит!

И старая мать со слезами проводила своего сына на дорогу, ведущую в Борислав, а когда вернулась в свою лачугу и осталась одна, долго стояла с заломленными руками, а затем зарыдала:

— Сыночек мой! Пусть тебя бог благословит на добром пути! А я уж, видно, не увижусь с тобой!

Было воскресенье, когда Бенедя отправился в дорогу. В церкви, мимо которой он проходил, дьячки гремели «хвалу божью». А рядом, на убогой дрогобычской мостовой, возле каменной ограды сидели группами рипники¹ в пропитанных нефтью рубахах и драных кафтанах, ожидая, скоро ли окончится «хвала божья», чтобы двинуться затем в Борислав. Одни из них крестились и шептали «отче наш», другие дремали на солнце, некоторые же держали в руках десятикрейцеровые² хлебцы и лук и ели,

¹ Р и п н и к — рабочий, добывающий нефть.

² К р е й ц е р — мелкая монета, около копейки.

откусывая от целого, неразрезанного хлеба. Бенедя не задерживался возле церкви, потому что хоть от Дрогобыча до Борислава и не очень далеко — всего какая-нибудь миля — и хоть ему не нужно было искать работы, подобно большей части этих рипников, но ему сказали, что в Бориславе очень трудно найти квартиру, а ему хотелось устроиться где-нибудь недалеко от «фабрики», на которой он должен был работать: он, после несчастного случая во время закладки, чувствовал сильную слабость в ногах и знал, что по бориславской непросыхающей грязи далеко ходить не сможет. Поэтому Бенедя спешил в Борислав, чтобы отыскать себе жилище, пока не нахлынули туда толпы рабочего люда и не заняли все углы. Но ему нужно было нанять квартиру на длительное время, хотя бы на месяц; найти такое помещение было труднее, так как в Бориславе большую часть всяких углов сдают пришлому люду на одну ночь, что значительно выгоднее хозяевам.

Каково же было удивление Бенеди, когда, выйдя за город, он увидел, что на всем протяжении дороги, куда только достигал взгляд, виднелись группы рипников, медленно шагавших в облаках пыли. Эти не ждали окончания «хвалы божьей», а торопились, чтобы заполучить хоть какую-нибудь работу. У каждого была грязная полотняная сумка, где лежал кусок хлеба; у некоторых торчали из сумок зеленые стебли молодого лука. Бенедя вначале молча обгонял этих людей и шел один. Но вскоре ему стало скучно и тоскливо идти одному. Солнце жгло высушенную и потрескавшуюся землю. Хотя май был уже на исходе, но по хлебам в поле это никак не было заметно. Овсы, едва

взойдя, завяли без дождя и полегли на землю. Озимая рожь поднялась немного над землей, но так и осталась в трубках и не колосилась, хотя для этого было самое время. Яровые и картошка еще и не взошли: земля, покрывшаяся коркой и выжженная солнцем, не давала посевам никакой влаги. Уныние охватывало, лишь взглянешь на поле. Только крапива и репейник, рано проросшие и пустившие глубже в землю свои извилистые корни, шумели и буйно разрастались. А солнце все жгло и палило; тучи, словно смеясь над бедными рипниками, все надвигались к вечеру, а затем, не уронив ни капли дождя, растаяли к ночи.

В селах, через которые проходили рипники, их встречали люди такие же печальные и черные, как сама земля. Не слышно было обычных воскресных шуток и смеха на околицах. Пожилые крестьяне глядели то на поле, то на небо с каким-то упреком, а затем в отчаянии беспомощно опускали руки. Бенедя, весь облитый потом и покрытый пылью, с тяжелым сердцем глядел на эти бедные селенья, которые уже теперь умирали с голода и ожидали еще более тяжелых дней в будущем.

— Обрати, господи, милосердие свое на мир христианский, — долетали до Бенеди почти с каждого двора тяжкие молитвы крестьян. А желтоватое небо глядело на них, солнце жгло, словно назло, и облака, тонкие, белесые и прозрачные, лениво тянулись с запада.

Тяжело и тоскливо было Бенедю итти одному среди этого убожества. Он присоединился к группе рипников.

— Куда бог несет? — спросили они Бенедю после обычных приветствий.

— Туда же, куда и вас, — ответил Бенедя.

— Но вы не в шахты?

— Нет, я каменщик.

— Так, может быть, поблизости будет что-нибудь новое строиться?

— Как же, я уже нанят. Здесь вот этот... Гаммершлаг будет строить новую...

Бенедя запнулся. Он не верил в паровую мельницу Леона и прежде, но теперь, разговаривая с рипниками, он невольно почувствовал, что сказал бы несусветную глупость, если бы рассказал им про паровую мельницу.

— ...новый нефтяной завод, — закончил он.

— Ну, благодарение господу, значит, хоть немного прибавится работы, — сказал один рипник. — Может быть, кто-нибудь там и пристроится.

— Разве в шахтах нет работы? — спросил Бенедя.

— Эх, почему бы не быть? — ответил рипник и махнул рукой. — Да что нам с того, если платят столько, что и прожить нельзя? Гляньте, сколько народу идет, а ведь это только какая-нибудь сотая доля! Год тяжелый, а теперь еще, смотрите, наказание божье! Май, а печет так, как во время жатвы, дождя нет, думаете — голода не будет?.. Куда же людям податься? Кто еще чувствует в себе силы, тот сюда тащится, чтобы хоть сколько-нибудь заработать. Ну, а для хозяев это праздник. Рабочих привалило, сейчас же плату снижают. Вот и получается: работай за гроши, а не хочешь — сейчас же десять на твое место станут. Думаете, не станут? Посмотрите рано утром на улицу: людей, как травы, все работы ищут. Половину, может быть, наймут, а остальные либо домой

возвращаются с пустыми руками, либо перебиваются кое-как со дня на день: где воды принесут, дров нарубят — или еще что, лишь бы кусок хлеба или ложку похлебки добыть. Вот горе-то какое в нашем Бориславе.

В разговор вмешались другие рипники. Рассказ их товарища о бориславском горе задел всех за больное место. Каждый нашел что-нибудь добавить, и перед Бенедей вдруг встала страшная картина человеческой нужды и угнетения. Он издавна привык слышать, что в Бориславе работа опасная, но зато оплачивается очень хорошо. Правда, жалкий вид рипников, которые сотнями сидели каждое воскресенье возле дрогобычской церкви, наводил его на мысль, что здесь, видно, что-то не так с этим хваленым заработком, но никогда он не имел случая достоверно в том убедиться. Только теперь рассказ рипников сразу раскрыл ему всю правду. Тяжелое, безотрадное положение такой огромной массы людей поразило его так сильно, что он шел, словно оглушенный, и ни о чем другом не мог думать.

«Неужто это правда? Может ли это быть?» — спрашивал он себя. Конечно, и он видел горе на своем веку, и он изведал нужду и голод, гнет, произвол и безработицу. Но все-таки до такой степени падения и нищеты, о которых рассказывали рипники, ни один ремесленник в городе не доходил.

Рипники рассказывали о страшных случаях голодной смерти, самоубийства, грабежей. Из их рассказов Бенедя узнал и о том не привычном для него обстоятельстве, что на товарища, попавшего в беду, другие рабочие совсем не обращали внимания, не помогали ему, а оставляли его

на произвол судьбы. Рипники рассказывали и о том, как их больные товарищи умирали, покинутые и разъедаемые червями, как нередко спустя лишь несколько дней после смерти находили в каком-нибудь безлюдном закоулке умершего без всякого присмотра рипника. Эти рассказы глубоко поразили Бенедю. Он родился и вырос в городе. Его отец был таким же подручным каменщика, как и он, — Бенедя с малолетства свыкся с традициями городских ремесленников, с их, хотя и плохонькой, цеховой организацией, с их, хотя и слабым, стремлением к взаимной помощи, к более тесной связи между людьми одного ремесла. Правда, во времена Бенеди цеховая организация дрогобычских каменщиков была уже накануне развала. Мастера давно уже разворовали цеховую кассу, в которую вносили деньги поровну и мастера и рабочие, но которой без всякого контроля и отчетности распоряжались одни мастера. Не на что было содержать «господу», то есть помещение, в котором в определенные дни собиралось цеховое совещание и где регистрировался каждый нуждающийся в работе, где был как бы рынок для найма рабочих. Мастера перестали заботиться о цеховых делах и только следили за точным соблюдением очередности, кому и когда во время торжественного шествия нести старое цеховое знамя. Но вместо этой старой и прогнившей связи начала во времена Бенеди намечаться между дрогобычскими каменщиками новая связь, хотя еще и неясная и непостоянная. В случае болезни кого-нибудь из рабочих другие рабочие и кое-кто из беднейших мастеров собирали добровольные взносы и назначали больному или его семье еженедельное посо-

бие на все время его болезни. Точно так же оказывали они помощь, хотя и меньшую, тому, кто иногда оставался без работы, и вместе с тем старались подыскать ему работу по специальности или хотя бы какую-нибудь. Правда, это были только слабые зачатки солидарности, но они сохранялись и крепили. Со временем дошло до того, что в случае необходимости уже все, а не отдельные рабочие, делали регулярные взносы, между тем как прежде ни о всеобщности взносов, ни об их регулярности не могло быть и речи.

В таких городских ремесленнических традициях вырос Бенедя. Отбыв срок учения и став рабочим, а затем помощником каменщика, он живо проникся новыми идеями рабочей солидарности и взаимопомощи. Бедный, к тому же еще и болезненный, Бенедя остро, как никто другой, чувствовал необходимость в такой солидарности и взаимопомощи. С тех пор как встал на работу, он не переставал напоминать своим товарищам и уговаривать их, чтобы они, в случае необходимости, своевременно выплачивали то, что обязались выплачивать, чтобы обещали только то, что смогут выполнить, и однажды обещанное свято выполняли,—так, чтобы слово рабочего было самой лучшей порукой. Все это были вещи, хотя на словах и не новые для рабочих, но на деле очень редко практиковавшиеся, требовавшие серьезной дисциплины и выдержки. И Бенедя, вместе с несколькими наиболее сознательными рабочими, которые приняли это дело близко к сердцу, пришлось в течение многих лет порядочно поработать, прежде чем они приучили людей к большой точности и выдержке.

Все это делалось дрогобычскими каменщиками, так сказать, наощупь. Они не были связаны с рабочими больших городов, если не считать каменщиков Стрыя и Самбора, таких же темных, как и они. Они ничего не знали об огромном росте рабочей солидарности и организованности в других странах, не знали о том, как рабочие объединяются и организуются для великой борьбы с буржуазией и угнетением, для борьбы за повышение заработной платы, за обеспечение своих жен и детей, своей старости и своих вдов и сирот. Не знали дрогобычские каменщики ни о великом росте рабочих идей на западе Европы, ни о борьбе рабочих всех стран за их осуществление. Всего этого они не знали, а между тем одинаковые условия, одно и то же веяние времени сделали так, что те же самые стремления, та же борьба начали неясно зарождаться и в их среде.

Бенедя не раз в тяжелые минуты задумывался над судьбой рабочего. С детства хилый и болезненный, он был очень чувствителен ко всякой, хотя бы и чужой боли, ко всякой обиде и неправде. Обидит несправедливо, оскорбит мастер рабочего, урвет кассир несколько центов из жалованья рабочего, прогонит строитель человека с работы без причины или за какое-нибудь одно резкое слово, — Бенедя словно кто нож воткнет в живое тело. Он побледнеет, согнется в дугу; лицо, и без того худое и длинное, еще больше вытянется, и он молча делает свое дело, но видно по нему, что он готов лучше сквозь землю провалиться, нежели видеть все это. Вот в такие минуты задумывался Бенедя над судьбой рабочего. Каждый его может

обидеть, думалось ему, и никто обидчику ничего не скажет, словно так и надо. Вот строитель столкнул человека со стены, обругал самыми последними словами, еще и по шее надавал и прогнал с работы. А пускай бы этот человек обернулся, да хоть раз стукнул строителя по затылку? Сейчас бы его и в полицию, и в суд, и в холодную. Но эти мысли Бенедикта всегда возвращались к своему отправному пункту: к вопросу об общественном неравенстве между людьми. И хотя он не раз повторял, как повторяют миллионы наших людей: «Так не должно быть», — однако эти слова не помогали ему разгадать трудную загадку о причине этого неравенства и о возможности его уничтожения.

Вот так было и теперь. Молча шел Бенедикт, слушая рассказы рипников о тяжелой бориславской жизни. «Как же это так, — думал он, — тысячи людей день за днем терпят такую муку, а в это время новые тысячи непрерывно прибывают, чтобы испытать то же самое. Сами себе вредят. Правда, тем, кто остается в селах, еще хуже, потому что, хотя над ними никто не издевается, никто их так не обдирает, но зато там голод. Господи, и как же помочь такой массе народа? Никто не в силах им помочь».

— Как же вы, — спросил вдруг Бенедикт рипников, — не пробовали каким-нибудь способом облегчить себе жизнь?

— Какой же может быть тут способ? — ответил рипник простодушно. — Тут способа нет никакого.

Бенедикт опустил голову. То, к чему пришел он сам, рипник высказал так решительно, уверенно. Значит, так оно и должно быть. А, мо-

жет быть, способ есть, только они либо слепы и не видят, либо ленивы и не ищут, не то нашли бы и увидели.

— Ну, а пробовали вы устраивать складчину, чтобы помогать друг другу в беде, в болезни? — спросил Бенедя.

Рипники расхохотались.

— Сколько нужно было бы собрать, чтобы помочь всем нуждающимся! Ведь у нас все бедствуют.

— Ну, однако, один больше бедствует, другой меньше. Все-таки можно было бы поддерживать более нуждающегося, больного, безработного. Вот так, как у нас, каменщиков, в городе.

— Эх, у вас одно дело, а здесь — другое. Здешний народ — сборище со всего света!

— А у нас разве нет?

— Э, а все-таки то, что можно у вас сделать, у нас никто в мире не сделает.

Рипники не знали своей силы и не верили в нее.

Бенедя снова замолчал и задумался над их словами. «Нет, — заключил он, — должно же быть какое-нибудь средство против нужды, только одни слепы и не находят его, а другие ленивы и не ищут!»

Между тем наши путники свернули с тустановичской дороги и пошли тропинкой, которая вела через речку и холм к Бориславу. Перейдя вброд речку и поднявшись на высокий, крутой берег, густо поросший шиповником и орешником, они очутились на вершине холма. Невдалеке перед ними лежал Борислав, словно на тарелке. Невысокие, крытые гонтом дома блестели на солнце, как серебристая чешуя.

Над крышами кое-где виднелись красные тонкие и высокие трубы нефтяных заводов, словно кровавые ленты, взметнувшиеся к небу. Далеко, на другом конце Борислава, на холме стояла старая церковь под липами, и вокруг нее еще сохранились остатки прежнего села.

Бенедя хотя и раньше заходил в Борислав, но все не надолго. Он не знал этой местности. Поэтому он рассказал рипникам, где и на каком участке приказано ему становиться на работу, и просил их, чтобы они показали ему это место. Рипники сразу догадались, о каком участке идет речь, и показали его Бенедю. Это было довольно большое ровное поле между высокими берегами речки, перед самым входом в Борислав, немного левее губичской дороги. Домов поблизости было немного, и Бенедя, простившись с рипниками, решил ходить из дома в дом и искать квартиру. Но в первых домах, в которые он зашел, ему не хотели сдавать жилье на долгое время. Дома эти были низкие и очень широкие, — очевидно, под их крышами помещалось много каморок для рипников, а выгодное положение на краю Борислава делало их пристанищем для всех вновь прибывающих.

Так обошел Бенедя понапрасну пять или шесть домов. Затем он остановился перед старым маленьким домиком, раздумывая, заходить ли и сюда, или пропустить эту хибарку и идти дальше.

Хатенка была, как и все другие, покрыта гонтом, только старый гонт подгнил и порос зеленым мохом. На улицу выходили два оконца, которые едва-едва возвышались над землей; прямо против них стекала грязь с дорожной насыпи, все больше и больше затопляя

стену и почти достигая прогнивших подоконников. Перед этой хаткой, так же как и перед другими, было голое место: ни огорода, ни палисадника, как это водится в других местах. После минутного раздумья Бенедя решил зайти в эту хату.

Дверь скрипнула, и Бенедя вошел в маленькие темные сени, а оттуда в выбеленную светелку. Он удивился, застав здесь старого рипника и молодицу. Молодица, лет тридцати, в белой сорочке с красными тесемками, сидела на скамейке у окна, склонив голову на руку, и плакала. Старый рипник сидел среди хаты на низеньком табурете, с трубкой в зубах, и, повидимому, утешал ее. Когда Бенедя вошел в избу, молодица быстро вытерла слезы, а старый рипник начал кашлять и ковырять в трубке. Бенедя поздоровался с ними и спросил, не примут ли они его на квартиру на долгое время.

Рипник и молодица переглянулись и минуту молчали. Затем отозвался рипник:

— Га, разве я знаю? Вот молодица, — это ее хата; как она скажет, так и будет.

— А чтоб вас! — ответила резко молодица. — Как я скажу! Я здесь уже целый год не живу и, бог знает, буду ли когда жить, — и она рукавом вытерла слезы, — а вы меня об этом спрашиваете. Это как вы скажете, потому что вы здесь живете. Как вам будет угодно, так и делайте, а я что могу сказать!

Старый рипник немного смутился и начал еще старательней ковырять свою глиняную трубку, хотя в ней ничего уже не было. Бенедя все еще стоял возле порога с мешком за плечами.

— Хатенка тесенькая, как видите, — снова начала молодица, — может быть, вам неудобно

будет. Вы, как я вижу, из города, не привыкли к тому, как у нас живут...

Молодица говорила так, словно догадывалась по нахмуренным бровям рипника, что он хочет отказать Бенеде.

— Э-э, что из того, что я из города, — ответил Бенедя, — не бойтесь, я привык ко всякой нужде. Как всякий рабочий человек. Только, видите ли, какое дело: ноги у меня побаливают, несчастье со мной было, — у нас, у каменщиков, всяко бывает, — а работать должен вот тут недалеко, возле реки на заринке¹. Там будет строиться новая... новый нефтяной завод. Так, видите ли, хотел бы я найти помещение поближе, хоть какое-нибудь, лишь бы переночевать было где, ведь я весь день на работе, таскаться издалека по вашему бориславскому болоту я не могу. Ну, а здесь не хотят нигде принимать на долгое время; а для меня лучше всего было бы жить у своего, рабочего человека. Только, если для вас...

В эту минуту старый рипник перебил его. Он бросил вдруг трубку на землю, вскочил с табуретки, подошел к Бенеде, одной рукой схватил его мешок, а другой начал толкать его к скамейке.

— Э-э, человек, побойся бога, — закричал старик с шутливым гневом, — садись и не говори ничего! Стоишь здесь возле порога, а у меня дети не уснут. Присаживайся, и пускай с тобой все доброе войдет в нашу хату. Надо было сразу так и сказать, а то я теперь о себе готов подумать, что я хуже всех!..

Бенедя вытаращил глаза на старого чудака, словно не понимая его, а затем спросил:

¹ З а р и н о к — берег обмелевшей реки.

— Ну, так как же: принимаете меня к себе?

— Ты же слышишь, что принимаю, — сказал старик. — Только, разумеется, если будешь хороший. Если плохой будешь, то завтра же выгону.

— Га, уж мы как-нибудь поладим, — сказал Бенедя.

— Ну, если поладим, то будешь моим сыном, хотя мне с этими сыновьями, по правде говоря, не везет!.. (Молодица снова вытерла глаза.)

— Сколько же вы с меня возьмете?

— А есть у тебя какая-нибудь родня?

— Мать есть.

— Старая?

— Старая.

— Ну, так заплатишь по «шистке»¹ в месяц.

Бенедя снова с изумлением поглядел на старика.

— Вы, вероятно, хотели сказать — «в неделю»?

— Я уж лучше знаю, что я хотел сказать, — отрезал старик. — Будет так, как я сказал, и довольно об этом говорить.

Изумлению Бенеди не было конца. Старик тем временем снова сел на табуретку и, нахмурившись, начал набивать трубку.

— Так, может быть, по такому случаю принести водки? — заговорил Бенедя.

Старик глянул на него исподлобья.

— Ты мне, милый мой, с этим зельем не знайся и в хату с ним не показывайся, а не то вышвырну вас вон обоих! — сказал он гневно.

¹ Ш и с т к а — первоначально шесть, а потом десять крейцеров.

— Прошу прощения, — сказал Бенедя, — я сам не пью, по мне, хоть бы и вовсе ее не было. Но мне говорили, что в Бориславе каждый пьет, кто в шахтах работает, вот я про это...

— Правду тебе говорили, но только, как видишь, в правде есть и брехни капля. Так всегда бывает. Ну, а теперь много не разговаривай, разденься да отдохни с дороги, если ты больной!

В эту минуту молодница встала.

— Ну, дай вам боже счастья да заработок хороший, — сказала она Бенедю. — Бывайте здоровы, мне пора итти.

Она вышла; старик вышел следом за ней и сейчас же вернулся.

— Служит в Тустановичах, должна бежать на работу. Да и ребенок маленький... — пробормотал он, словно сам про себя, и снова начал набивать свою глиняную трубку.

— Это дочь ваша? — спросил Бенедя.

— Вроде как дочь, а не родная.

— Падчерица?

— Нет, голубок. Она здешняя, а я не здешний. Но это длинная история, будет время, так услышишь. А теперь отдыхай!

Эта молодница была Пивторачка, вдова Ивана Пивторака, погибшего в бориславской шахте, а рипник был старый Матий.

Бенедя снял с себя петек¹, постелил его на скамейку под окном и лег отдыхать. Он и в самом деле был очень утомлен, ноги у него дрожали от долгой и непосильной ходьбы. А между тем ему не спалось. Его мысль, словно беспокойная ласточка, уносилась то в Дрогобыч

¹ Петек — короткий кафтан со стоячим воротником.

к старой матери, то в Борислав, где теперь придется ему жить. Ему вспоминались рассказы рипников, которые он слышал дорогой; в его воображении они проносились как живые образы. Вот всеми забытый рипник, больной, беспомощный, умирает одиноким в какой-то трущобе, в сокрытом от взоров углу и напрасно просит есть, напрасно просит воды, — некому подать!.. Вот хозяин выбрасывает рабочего с работы, обсчитывает его при расчете, обманывает и оскорбляет, — некому заступиться за рабочего, помочь ему в нужде. «Никто ни о чем не заботится, кроме как о самом себе, — думал Бенедя, — поэтому все так страдают. Но если бы взялись все сообща... то что сделали бы?» Бенедя не знал этого. «Да и как им взяться сообща?..» И этого Бенедя не знал. «Господи боже, — вздохнул он, наконец, с обычной у наших простых людей беспомощностью, — наведи меня на какую-нибудь хорошую мысль!»

В эту минуту думы Бенеди должны были прерваться. В хату вошло несколько рипников и, поздоровавшись коротко с Матием, уселись на скамейке. Бенедя поднялся и начал разглядывать вошедших. Были здесь прежде всего два молодца, которые сразу привлекали к себе внимание. Высокие, рослые и крепкие, как два дуба, с широкими красными, словно литыми, лицами и небольшими серыми глазами, — они казались в этой маленькой избушке великанами. Лицом, ростом, волосами, глазами они были так похожи друг на друга, что нужно было хорошенько присмотреться и прислушаться к ним, чтобы их различить. Один из них сидел на лавке под окном, заслоняя своими широкими плечами весь свет, который от заходящего уже

солнца лился в избу. Другой поместился на небольшом табурете возле дверей и, не говоря никому ни слова, начал спокойно набивать трубку, словно здесь, на этом табурете возле порога, было извечное его место.

Кроме этих двух великанов, привлек внимание Бенеди немолодой уже, низкорослый и, по видимому, очень разговорчивый и подвижной человек. Он, как только вошел в избу, не переставая шнырял из угла в угол, не то ища чего-то, не то выбирая, где бы присесть. Он несколько раз оглядел Бенедю, перемигнулся с Матием, который с усмешкой следил за его движениями, и даже шепнул что-то на ухо одному из великанов, тому, что сидел на табурете возле двери. Великан только кивнул головой, а затем встал, отодвинул печную заслонку и поднес свою трубку к углям, чтобы закурить. Подвижной человек тем временем снова уже заглянул во все углы, то потирая свой жесткий, словно щетина, чуб, то поправляя на себе ремень, то просто размахивая руками.

Кроме этих трех, были в избе еще трое. Бенедя разглядел на скамейке в полутьме старого деда с длинной седой бородой, но со здоровым цветом лица и крепкого, молодцеватого на вид. Рядом с ним сидел молодой парень, круглолицый и румяный, как девушка, но сумрачный и печальный, словно приговоренный к смерти. Дальше в углу, совсем в тени, сидели люди, лица которых Бенедя не мог разглядеть. В хату вошло еще несколько рипников, — поднялся говор.

— А это что, возный¹ имущество у вас опи-

¹ Возный — чиновник при старых судах в Западной Украине, нечто вроде судебного исполнителя.

сывает за недоимки? — голосом громким, словно труба, проговорил, обращаясь к Матию, один из великанов, тот, что сидел у окна.

— Нет, слава богу, — ответил Матий, — это, видать, честный человек, рабочий, каменщик. Пришел сегодня из Дрогобыча на новую работу: здесь, на берегу, будут новый нефтяной завод ставить.

— Вот как? — ответил великан, растягивая слова. — Ну, это мне на руку. А чей это будет завод? — прибавил он, обращаясь к Бенеде.

— Леона Гаммершляга, знаете, того, что года два тому назад приехал сюда из Вены.

— Ага, того! О, этот у нас давно закарбован! ¹ Правда, побратим Деркач?

Подвижной человек, быстро семеня ножками, в мгновение ока очутился возле великана.

— Правда, правда — отмечен крепко, — засмеялся он, — но ничего, вреда не будет, если добавим еще отметин!

— Конечно, вреда не будет, — подтвердил великан. — Ну, однако, как же, побратим Матий, можем мы сегодня здесь говорить о своем; или, может быть, потому что имеешь нового жильца, ты выгонишь нас из дому искать нового места?

Великан грозно взглянул на Матия. Матий почувствовал в его словах упрек, смутясь немного, встал с табуретки и, вынимая трубку изо рта, ответил:

— Боже сохрани, чтобы я вас прогнал! Мои дорогие побратимы, раз уж я присоединился к вам, то никогда не отступлюсь от вас, об этом не беспокойтесь. И моя хата всегда для вас открыта. А что касается нового жильца... ко-

¹ Карбовать — делать знак, отмечать.

нечно, я плохо сделал, что принял его, не посоветовавшись с вами, но, посудите сами: приходит человек, измученный, больной, никто его не хочет принимать, а по лицу видно, — знаете, у меня на это глаз опытный, — что человек он хороший, ну, что я должен был делать?.. Впрочем, как вы решите? Нельзя ему быть с нами, я его отправлю... Но мне кажется, что он был бы и для нас подходящим человеком... Говорит, водки не пьет, — значит, уже хорошо. Ну, а второе — работать будет на новом заводе и сможет нам иногда сообщить о том, что там делается.

— Водки, говоришь, не пьет? — спросил великан.

— Я это слышал от него, а, впрочем, вот он здесь, спрашивай его сам.

В избе воцарилось молчание. Бенедя сидел в углу на своей куртке и диву давался, что бы все это могло значить: зачем собрались здесь эти люди и чего хотят от него? Странно ему было, что Матий просто-напросто оправдывается перед ними, хотя сам говорил, что это его хата. Но более всего его удивлял этот громкоголосый великан, который вел себя здесь, как старший, как хозяин, подзывал к себе то одного, то другого и шептал им что-то на ухо, сам не двигаясь с места. Затем он обернулся к Бенеде и начал расспрашивать его строгим голосом, словно судья на допросе, в то время как все присутствующие не спускали с него глаз.

— Вы что, служба каменщика?

— Нет, помощник, а на новой работе, не знаю, за что такая милость, должен быть мастером.

— Гм, мастером? А за что такая милость?

Должно быть, умеете хорошо доносить хозяевам на своих товарищей?

Бенедя вспыхнул весь, как огонь. Он минуту колебался, отвечать ли великану на его вопрос, или плюнуть ему в глаза, собраться и уйти прочь из этой хаты, от этих странных людей. Затем решился.

— Чепуху мелете! — сказал он резко. — Может быть, вашего батька сын и умеет кое-кому доносить, а у нас это не водится. А панская милость свалилась на меня непрошенная, должно быть, за то, что во время закладки его дома меня чуть было не убило рычагом, когда мы спускали в котлован камень.

— Ага, — протянул великан, и его голос слегка смягчился.

— Побратим Деркач, — обратился он к небольшому, подвижному человеку, — смотри, не забудь закарбовать Леону и то, что он говорит.

— Конечно, не забуду. Хотя это как будто и случилось в Дрогобыче, а мы имеем дело только с Бориславом, но это ничему не мешает. Хозяину от этого легче не будет.

— Ну, и что же вы, — продолжал великан, обращаясь к Бенедю, — когда сделаетесь мастером, будете так же издеваться и обижать рабочих, как другие, будете выжимать из них, сколько можно, и прогонять с работы за всякое слово?.. Еще бы! Мастера все одинаковы!

Бенедя не мог больше терпеть. Он встал и, беря свой кафтан в руки, обернулся к Матию:

— Когда вы принимали меня в свою хату постояльцем, — сказал он дрожащим голосом, — то вы говорили мне, что если я буду хороший, то буду вам за сына. Но скажите сами, как тут быть хорошим, когда вот какие-то люди

приходят в хату и ни с того, ни с сего привязываются ко мне и бесчестят, неизвестно за что? Если вы меня для этого принимали, то лучше было бы не принимать, я за это время нашел бы более спокойную хату! А теперь придется уходить, на ночь глядя. Ну, зато по крайней мере буду знать, что за люди бориславские рабочие!.. Бывайте здоровы!..

С этими словами он надел кафтан и, вскинув на плечи свой узелок, повернулся к двери. Все молчали, только Матий подмигнул великану, сидевшему у окна. Между тем другой великан сидел, словно скала, возле двери, закрывая собой выход, и хотя Бенедя резко сказал ему: «Пустите!» — он не двигался, словно и не слышал ничего, только медленно потягивал трубку.

— Ах, ты, господи боже, — закричал вдруг с комичной горячностью Матий, — постой, человек хороший, куда бежишь? Не понимаешь, видно, шуток! Постой, увидишь, к чему все это идет!

— Зачем я буду стоять! — ответил гневно Бенедя. — Может быть, еще прикажете мне продолжать выслушивать, как этот человек позорит меня? И не знаю, где он слышал, что я кого-то обижаю, над кем-то издеваюсь?..

— Так вы считаете мои слова для себя позором? — спросил более ласково великан.

— Конечно.

— Ну, тогда простите.

— Не извиняйтесь, лучше будьте повежливей и не оскорбляйте, чем потом извиняться. Я простой человек, бедный рабочий, но разве поэтому всякий может нивесть что на меня наговаривать? Или, может быть, вы на то рассчитываете, что вы сильный, а я слабый, — так, значит, мож-

но меня безнаказанно оскорблять? Ну, так пустите меня, не хочу выслушивать вас! — И он снова повернулся к двери.

— Ну-ну-ну, — говорил Матий, — они готовы и в самом деле поссориться, сами не зная из-за чего! Но постой, человеке божий, гневаешься, а сам не знаешь, за что!..

— Как так не знаю! Не бойтесь, я не такой уж дурак, — огрызнулся Бенедя.

— Вот и не знаешь. Ты считаешь оскорблением слова этого человека, а между прочим он говорил это только для того, чтобы тебя испытать.

— Испытать? В чем?

— Какое у тебя сердце, какие мысли! Понимаешь теперь?

— А зачем ему это знать?

— Это увидишь позже. А теперь раздевайся да садись на свое место. А кричать не нужно, голубок. От нас за один день ничего не осталось бы, если бы мы по поводу каждой обиды так ерепенились. А моя думка такая: лучше меньшую обиду перенести, чтобы от большой уберечься. А у нас обычно наоборот делается: если малая беда, то человек бурчит, а если большая, то молчит.

Бенедя все стоял посреди хаты в кафтане и с мешком за плечами и озирался на присутствующих. Матий тем временем зажег каганец, наполненный желтым бориславским воском, и при его свете лица собравшихся рипников казались желтыми и мрачными, словно у покойников. Старый Матий отобрал у Бенеди мешок, снял с него кафтан и, взяв за плечо, подвел к великану, который все еще сидел у окна, угрюмый и грозный.

— Ну, помириться раз навсегда, — сказал Матий великану. — Я думаю, что этот человек будет для нас новым товарищем.

Бенедя и великан подали друг другу руки.

— Как вас зовут? — спросил великан.

— Бенедя Синица.

— А я прозываюсь Андрусь Басараб, а вот мой брат—Сень, а это наш «метчик»—Деркач, а вот этот старый дед — побратим Стасюра, а этот парень — побратим Прийдеволя, а вот эти — тоже наши побратимы, ну, и ваш хозяин Матий — тоже...

— А вы, наверно, все из одного села, что побратались? — сказал Бенедя, удивляясь впрочем тому, что старые люди побратались с молодыми, в то время как по обычаю в селах только ровесники объявляют себя названными братьями — побратимами.

— Нет, мы не из одного села, — ответил Басараб, — а побратались мы по-своему, по-иному. Впрочем, садитесь, увидите. А если захотите, можете и вы пристать к нашему братству.

Бенедю еще больше удивило это объяснение. Он сел, не говоря ни слова и ожидая, что дальше будет.

— Побратим Деркач, — сказал Андрусь Басараб «метчику», — пора нам взяться за дело. Где твои палки?

— Сейчас будут здесь, — ответил Деркач, выбежал в сени и принес оттуда целую охапку тонких ореховых палок, связанных бечевкой. На каждой палке видны были большие или меньшие зарубки, одна рядом с другой. Такие зарубки делают ребятишки, которые пасут гусей и на палочках отмечают, сколько у кого гусей.

— Отметь Леону то, что рассказал Синица, — продолжал Басараб. В хате между тем сделалось тихо. Все сели, где кто мог, и глядели на Деркача, который уселся на лежанке, положил связку палок возле себя, достал из-за пояса нож и, вытащив одну палку, нарезал на ней еще одну метку рядом со многими другими, прежними.

— Готово, — сказал Деркач, проделав это, и снова воткнул палку в связку.

— А теперь, милые мои побратимы, — сказал Андрусь, — рассказывайте по очереди о той кривде-неправде, которую каждый из вас за эту неделю узнал, видел или слышал. Кто ее сделал, кому и за что, рассказывайте все, чтобы, когда придет наше время и наш суд, каждому было отмерено по справедливости!

Минуто было тихо после этого призыва, затем заговорил старый Стасюра.

— Придет, говоришь, наше время и наш суд... Хоть я, вижу, не дождусь этого дня, ну, да, может быть, вы, помоложе которые, дождетесь... Так вот, для того, чтобы отмерить каждому по правде и справедливости, послушайте, что я слышал и видел за эту неделю. Оська Бергман, надсмотрщик в той кошаре¹, в которой я работаю, снова на этой неделе избил четырех рабочих, а одному бойчуку² выбил палкой два зуба. И за что? Только за то, что бедный бойчук, голодный и больной, не мог поднять сразу полную корзину глины.

— Нарезай, Деркач! — сказал Андрусь ров-

¹ Кошара — сарай, барак.

² Бойко — горец-украинец из быв. Стрыйского и быв. Самборгского уездов в Западной Украине; бойчук — молодой бойко.

ным и спокойным голосом, и только глаза его заблестели каким-то странным огнем.

— Этот бойчук, — продолжал Стасюра, — очень добрая душа, и я привел бы его в «госпòду»¹, только он, видно, совсем свалился, не был вчера на работе.

— Приведи! — подхватил Андрусь. — Чем больше нас, тем мы сильнее, а ничто так не связывает людей, как общая нужда и общая обида. А чем сильнее мы будем, тем скорее настанет время нашего суда, слышишь, старик?..

Старик кивнул головой и продолжал:

— А Мотя Крум, кассир, снова недодал рабочим из нашей кошары по пять шисток за эту неделю и еще грозил всем, что прогонит с работы, если кто посмеет напомнить об этом. Говорят, что он покупает шахту в Мразнице и что ему не хватило пятьдесят девять ренских, вот он и содрал с рабочих.

Старик помолчал минуту, пока Деркач отыскал палочку Моти Крума и сделал на ней новую зарубку. Затем продолжал:

— А вот вчера иду я мимо корчмы Мошки Финка. Слышу, кричит кто-то. А это два сына шинкаря прижали какого-то человека в угол, уже пожилого, и так бьют, так дубасят кулаками под ребра, что человек тот уж едва хрипит. Наконец, отпустили его, а он уж и итти не может, а когда харкнул — кровь... Взял я его, веду да и спрашиваю, что за несчастье, за что так изуродовали? «Вот беда моя, — ответил человек и заплакал. — Задолжал я, — говорит, —

¹ «Госпòда» — помещение, в котором происходили собрания представителей цехового объединения ремесленников или рабочих; «госпòда» в данном случае — помещение, где собирались побратимы.

неделю тому назад этому проклятому шинкарю, думал, получу деньги и выплачу. А тут пришла получка, бац, кассир меня будто забыл, не выкликает. Я стою, жду, уже выплатил всем, а меня не выкликает. Я бросился к нему спросить, в чем дело, а он шасть — и запер дверь перед самым моим носом. Как я ни кричал, ни стучал, — пропало. Еще выбежали прислужники, да меня в плечи: «Что ты здесь, пьяница, скандалишь?» Пошел я. Встречаю потом кассира на улице и к нему: «Почему вы мне не заплатили?» А тот зверем на меня посмотрел, а потом как закричит: «Ты, пьяница, будешь ко мне на улице приставать! Ты где был, когда выплата была? Я тебя здесь не знаю, там добивайся выплаты, где и другим платят!» Ну, а сегодня касса закрыта. Я проголодался, иду к Мошке съесть что-нибудь в долг, пока деньги получу, а эти два медведя ко мне: «Плати и плати за то, что ты набрал!» Как я ни прошу, ни клянусь, рассказываю, в чем дело, но где там! Прижали меня в углу и вот, смотрите, чуть было душу из тела не вымотали!»

— Нарезай метку, Деркач, нарежай! — сказал твердым, грозным голосом Басараб, выслушав со стиснутыми зубами этот рассказ. — Наглеют все больше наши угнетатели, — знак того, что кара уже висит над ними. Отмечай, побратим, отмечай живо!..

— Это верно, — продолжал Стасюра, — распустились наши обидчики, зазнались, издеваются над рабочим людом, потому что все им сходит с рук. Смотрю я, слушаю и вижу, что чем больше на свете горя и нужды народной, тем больше у них богатства и роскоши. Вот те-

перь народу в Борислав валит видимо-невидимо, потому что всюду по селам голод, засуха, болезни. А здесь разве лучше? Каждый день вижу в закоулках больных, голодных, безработных; лежат и стонут и ждут разве только смерти, потому что человеческого сострадания уже давно перестали ждать. Да и еще, смотрите, плату нам уменьшили и с каждой неделей урезают все больше и больше; нет возможности прокормиться! Хлеб все дорожает, а если еще в этом году недород будет, то придется нам всем здесь погибать. Вот кривда, которую все мы терпим, которая всех нас гложет до костей, а на кого ее записать, я и сам не знаю!..

Старик произнес все это более живым, нежели обычно, голосом и с дрожащими от волнения губами, а затем оглянул всех и остановил свой взгляд на угрюмом лице Андруса Басараба.

— Да, да, правда твоя, пробратим Стасюра, — закричали все присутствующие, — это наша общая кривда: бедность, беспомощность, голод!

— А на кого ее записать? — вторично спросил старик. — Или сносить ее терпеливо, эту самую большую всеобщую кривду, а отмечать только те мелкие, отдельные, из которых складывается эта большая?..

Андрус Басараб смотрел на Стасюру и на остальных побратимов вначале угрюмо и будто равнодушно, но затем на его лице засветилось что-то, словно скрытая на дне души радость. Он поднялся с места и выпрямился, доставая головой до самого потолка избенки.

— Нет, не терпеть нам и этой всеобщей кривды, а если и терпеть, то не покорно и тихо, как терпит овца, когда ее стригут. Всякая кривда

должна быть наказана, всякая неправда должна быть отомщена, и еще здесь, на этом свете, потому что о суде, который будет на том свете, мы ничего не знаем! И неужели ты думаешь, что, отмечая эти мелкие, отдельные обиды, мы забываем о главной, всеобщей? Нет! Ведь каждая, даже самая маленькая кривда, которую терпит рабочий человек, — это часть общей, народной кривды, которая всех нас давит и гложет до костей. И когда придет день нашего суда, нашей кары, то разве ты думаешь, что не отомстится тогда и общая наша кривда?

Стасюра печально покачал головой, словно в душе не совсем верил обещанию Басараба.

— Эх, побратим Андрусь, — сказал он, — отомстится, говоришь? Уж одно то, что неизвестно, когда это еще будет... А другое: что нам с того, что когда-нибудь, может быть, и отомстится, если нам теперь не легче от этого? А если и отомстится, то, думаешь, после легче будет?

— Что это ты, старик, — крикнул на него, грозно сверкнув глазами, Андрусь, — расплакался нивесть чего! Тяжко нам терпеть! Разве я этого не знаю, разве мы все этого не знаем? А кто может так сделать, чтобы мы не терпели, чтобы рабочий человек не терпел? Никто, никогда! Значит, терпеть нам вечно, до конца дней. Тяжело это или не тяжело, никому до этого нет дела. Терпи и молчи, не показывай другому, что тебе тяжело. Терпи и, если не можешь вырваться из беды, то хоть мсти за нее, это хоть немного облегчит твою боль. Так я думаю, и все признали, что я прав. Верно?

— Верно, — ответили побратимы, но так мрачно, угрюмо, словно эта правда не очень их радовала, не очень была им по сердцу.

— А если верно, — продолжал Андрусь, — то нечего и медлить и время зря тратить. Рассказывайте дальше, кто какую кривду знает.

Он сел. В хате стало тихо. Начал говорить Матий. По соседству с ним умер рабочий в темной боковушке; как долго он там лежал, когда заболел, этого никто не знает, и домовладелец никому не хотел этого сказать. Говорят, что у рабочего было немного заработанных денег, и когда он заболел, домовладелец отнял у него деньги, а его потом морил голодом, держал взаперти, пока он не умер. Тело было страшно худое, грязное и синее, как бузина. Позавчера ночевала какая-то женщина у другого соседнего домовладельца. Ночью родила. Денег у нее не было, и сразу же на другой день выбросили ее с ребенком из дома. Рассказывал один рипник, знакомый той женщины, что ходила она с ребенком к попу, чтобы окрестил, но поп не хотел крестить, пока она не укажет отца ребенка. Тогда женщина бросила ребенка в шахту, а сама побежала к начальству с криком, чтобы ее сейчас же повесили, потому что больше жить не хочет. Что с ней случилось потом, Матий не знал.

И потекли рассказы, однообразно-тяжелые и ошеломляющие своей вопиющей несправедливостью. И после каждого рассказанного факта рассказчик останавливался, ожидая, пока «карбовый» Деркач не отметит на палочке, чтобы «каждому воздать полной мерой». Некоторые побратимы говорили с таким спокойным, безразличным, почти мертвым выражением лица, что уже один их голос, один их вид

был своего рода тяжелым обвинением, достойным того, чтобы быть отмеченным в ряду всеобщей неправды и угнетения. Другие загорались, рассказывая, проклинали мучителей и требовали скорой для них кары. Но сильнее всего взволновал всех рассказ молодого парня Прийдеволи. Когда пришла его очередь,—а он был моложе всех, поэтому и очередь его была после всех, — долго сдерживаемые рыдания вырвались у него из груди, и, заламывая сильные руки, он вышел на середину избы.

— Перед богом святым и перед вами, побратимы мои, жалуюсь на свое горе! На свою страшную обиду!.. Осиротили меня на всю жизнь... отняли последнее и растоптали ногами, и все это так, для забавы!.. Ох, боже, боже, и ты смотришь на все это и еще можешь терпеть?.. Но нет, ты терпи, — я же не могу, я не буду!.. Побратимы, товарищи милые, скажите, что мне делать, как отомстить? Все сделаю, на все отважусь, только не велите ждать, побойтесь бога, не велите ждать!..

Он замолчал, всхлипывая, словно малое дитя. Спустя минуту начал уже более спокойным голосом:

— Вы знаете, что я круглый сирота, знаете, в каком горе и нужде прошли мои молодые годы, пока несчастье не загнало меня сюда, в это проклятое пекло. Но вся беда и нужда, все несчастья были для меня ничто, пока был хоть один человек, который умел меня утешить, подбодрить, приголубить, который отдал бы за меня свою жизнь... который любил меня!.. И этой единственной поддержке позавидовали мои враги!.. Послушайте, что они сделали. Вы знаете, что она ради меня оставила свой дом, мать-ста-

руху и пришла сюда, в Борислав, чтобы быть вместе со мной. Мы жили вместе вот уже полгода. Она работала на складе у этого богача Гольдкремера. На свое горе она понравилась тем псам... А там их до чорта; молодой кассир Шмулько Блютигель, надсмотрщик также молодой, затем еще какие-то прохвосты, накажи их бог!.. Начали они к ней приставать, не давать ей покоя. Раз, другой она отстранила их вежливо, а потом, когда Блютигель застал ее как-то одну в сенях склада и, осмелев, начал уж очень к ней привязываться, она, не долго думая, размахнулась и так трахнула его по роже, что у него изо рта и из носа кровь брызнула, а сам он, как колода, покатился между бочек. Ну, и посмеялись мы в тот вечер над назойливым кавалером, когда она рассказала мне обо всем этом. Однако мы рано смеялись. Паныч разозлился и сговорился с другими отомстить ей. Позавчера была получка; прихожу я вечером домой — нет моей Варки. Сел я у окна, жду, — посматриваю, а у самого под сердцем словно гадюка лежит. Вот и стемнело уж, — нет Варки. Набросил я кафтан на плечи, вышел на улицу, ищу Варку. Расспрашиваю работников, которые вместе с нею получали; говорят — оставили ее там, наверное, ей выплачивали последней. Екнуло мое сердце, бегу в контору, — заперто все, а в окнах свет. Стучу, не достучусь, а сам думаю: эге, да что я здесь стучу — может быть, ее здесь нет? Может быть, она уже дома давно, ждет меня? Бегу домой — нет. Бегу снова по улицам, забежал ко всем знакомым, во все шинки, куда мы заходили иногда, возвращаясь с работы, закусить или селедку купить, нет ее. Всех расспрашиваю, не видал ли

кто Варку, — никто не видал. Пропала, словно в воду канула. Лечу снова в контору, — так меня что-то и тянет туда. Думаю дорогой: высажу дверь, а дознаюсь, что с ней случилось, где она. Но как только я пришел, куда вся моя смелость подевалась! Стал, смотрю: в окнах свет, но окна занавешены, не видно ничего, только тени какие-то мелькают. Нет, думаю, она здесь должна быть, здесь должна быть, больше ей быть негде. И снова сам себе не верю, потому что, зачем ей быть здесь? Пришла мне на ум история с паньчем Блютигелем; я весь задрожал, онемел. И как ни твержу себе, что все это шутка, пустяки, — нет, что-то, словно рукой, держит меня под окном этой проклятой конторы. «Не пойду уж никуда отсюда, — думаю про себя, — буду здесь ждать, пока огонь не погаснет, нет, прожду и до утра». Сел я на какую-то бочку возле самой стены, против окна, сижу, а сам дрожу, как в лихорадке. Слушаю — прислушиваюсь. Вот слышно: где-то в шинке рипники хриплыми голосами поют песни, где-то псы лают. Из-под Дола, от церкви, долетает, словно стон умирающего, протяжный крик караульщика: «Осторожно с огнем». Вдруг, слышу, в конторе какой-то смех, затараторили паны, узнал я голос Блютигеля, голос надсмотрщика. Затем застучало так, словно о стены забился кто-то, снова хохот, снова говор, — и тишина. Господи, каждый звук вонзался в мое сердце, словно острый нож... Я так и замер, прижавшись ухом к стене. Как вдруг, уже на рассвете, раздался страшный крик в конторе; этот крик продолжался только мгновение, но он поразил меня, как гром, уколол, словно жало змеи. Я вскочил на ноги, это был крик Варки. И едва я опомнил-

ся, едва подбежал к двери, чтобы, собрав все свои силы, высадить ее, как вдруг дверь распахнулась, и из нее вылетела, точно молния, Варка. Но она уже не кричала... Я узнал ее по платью, — лицо не разглядел в потемках. И Варка меня не видела, — выскочив из дверей конторы, она бросилась напрямик через кучи глины, между кошарами и шахтами. Я за нею: «Варка, — кричу, — Варка, что с тобой такое? Что с тобой случилось? Ради бога, стой, отзовись!» Остановилась на минуту, оглянулась, и только теперь увидел я, что вся ее голова была черна, словно уголь, вымазана нефтью, а длинные косы ее были отрезаны. «Господи боже, Варка, — кричу я, подбегая к ней ближе, — что это за несчастье с тобой?» Но она, как только увидела меня, сразу же повернулась и, словно испугавшись, помчалась дальше, ничего не видя, разбиваясь о корбы¹. Я, что есть мочи, гонюсь за ней, как вдруг один страшный крик, одно мгновение, и Варка у меня на глазах исчезла, словно сновиденье, — прыгнула в раскрытую шахту!.. Я подбежал, остановился, — только глухо загудело, когда она в глубине, разбиваясь о бревно сруба, наконец, упала в воду. Вот и все. Что было со мной потом, не помню. Я очнулся только сегодня после полудня, и, когда спросил о Варке, мне сказали, что ее, прибежав на мой крик, вытащили из шахты и уже похоронили. Значит, все пропало. И никто не скажет, что они с нею сделали в ту страшную ночь. Съели изверги мою Варку живьем, убили мое счастье!.. Побратимы мои дорогие, перед богом святым и

¹ К о р б ы — столбы, на которых держатся валики с бадьями возле шахт.

вами плачусь о своем горе, посоветуйте, научите, что я должен сделать, но только не велите ждать!..

Рассказ Прийдеволи глубоко поразил присутствующих, хотя все уже и раньше знали по неясным слухам, какое несчастье приключилось с их побратимом. На их лицах можно было видеть во время его рассказа все оттенки чувств: от беспокойства до самой высшей тревоги и отчаяния, по мере того, как все эти чувства отражались на лице рассказчика. А когда Прийдеволя замолчал и, заламывая руки, встал посреди хаты, словно немой свидетель великого преступления, молчали и все побратимы, словно пришибленные; каждый, видимо, ставил себя в положение товарища и старался таким образом постигнуть всю глубину его печали и страдания. Но помочь, — чем они могли помочь ему в этом непоправимом деле, если здесь уже не было никакого выхода, кроме смерти? Чему они могли научить его, на какой путь направить?

Первый опомнился Деркач и схватил свои палочки, чтобы сделать новую отметку.

— Стой, побратим Деркач, — сказал вдруг решительно Андрусь Басараб, — этого не отмечай!

Деркач удивленно взглянул на него.

— Не надо, — сказал коротко Андрусь, а затем, обращаясь к побратимам, спросил: — Кто еще хочет что-нибудь рассказать?

Никто не откликался.

— Значит, на сегодня беседе конец! Расходитесь по-одному!

Но, несмотря на это обращение, никто не двигался с места. Все как-то странно переглядывались. Андрусь грозно посматривал на них,

не зная, что это значит. Наконец, поднялся с места Стасюра, самый старей из побратимов:

— Слушай, побратим Андрусь, — сказал он спокойным голосом, — о чем здесь у нас между побратимами на-днях разговор вышел... И сейчас не от себя я тебе буду говорить, а ото всех. Знаешь, когда мы соединились, чтобы собирать человеческую кривду и судить рабочим судом тех, кого не можем призвать на панский суд, ты обещал нам, что как только наберется положенная мера зла, мы сделаем подсчет, чтобы знать, для кого эта мера наполнилась до края. Не так ли?

— Так, — ответил Андрусь неохотно.

— И вот мы уже без малого год ведем счет человеческой кривды, побратим Деркач изрезал не малую кучу палок, но когда же, спрашиваем мы тебя, будет расплата?

— Не время еще, но скоро время настанет, — ответил Андрусь.

— Ох, пока солнце взойдет, роса очи выест! Сам видишь, что наши обидчики, обогащенные нашим трудом, становятся все наглее. Пора уже для острастки хоть предупреждение какое-нибудь сделать!

— Будет острастка, — сказал твердо и спокойно Андрусь.

— Какая? Когда? — раздались со всех сторон вопросы.

— Это уж мое дело. Услышите тогда, когда дело совершится, а заранее об этом говорить не приходится, — ответил Андрусь. — А до расплаты также недалеко. Ведь дубовый росток должен вырасти до тучи, чтобы в него гром ударил. Подождите еще немного... А теперь спокойной ночи!

Все побратимы хорошо знали железный, решительный характер Андруса Басараба, знали, что на его слова можно положиться, и не расспрашивали больше, а начали расходиться.

— А ты, побратим Прийдеволя, останься здесь, скажу тебе что-то, — проговорил Андрус, и на лице бедного парня блеснула радость, словно надежда избавиться от страшной муки.

Разошлись побратимы. Только старый Матий сидел в углу у стены, и давно погасшая трубка выпала у него изо рта и лежала на подоле длинной рубахи. Андрус и Бенедя также сидели молча, каждый на своем месте, и каждый был занят своими мыслями. Только Прийдеволя стоял возле порога с мертвенно-бледным лицом и с заломленными руками, стоял, словно само воплощенное страдание, и не сводил глаз с Андруса Басараба, будто ждал от него нивесть какого облегчения.

Матий первый подошел к молодому парню:

— Что ты, голубок, думаешь делать? — спросил он мягко, с состраданием.

Прийдеволя посмотрел на него с выражением растерянности на лице.

— Разве я знаю, что делать, как поступить? — ответил он надломленным голосом. — Руки на себя наложу, если не смогу хотя бы отомстить своим врагам!

— Жалуйся на них в суд, пускай злодеи хоть посидят, — посоветовал Матий.

— В суд? — мрачно отозвался Андрус. — Ну, тоже хороший совет! В суд! А если их там и засудят, так что? Посидят месяца по два, да и выйдут и еще вдвойне выместят свою злобу на

добрых людях. Да и засудят ли их? В чем будет он обвинять их на суде, если сам не знает, что они там с девкой сделали? А хотя бы и сто раз знал, где он возьмет свидетелей, как им докажет? Может быть, девка по собственной воле покончила с собой, или, может быть, кто знает, другая на то была причина? Эх, Матий, Матий, тоже нашел суд!.. Здесь нужен иной суд, иная правда!..

В ответ на эти слова Матий, как пришибленный, грустно склонил голову и тяжело вздохнул, помимо своей воли и желания он вынужден был признать их справедливость. А Прийдеволя еще пристальней посмотрел на Андруса и еле слышно проговорил:

— Да, побратим, и я так думаю, что свидетелей нет никаких!.. Если бы только она жива была, господи, если бы она жива была! Но ведь вы знаете, какая она была гордая и непокорная, никакого бесчестия, ни одного оскорбительного слова не могла стерпеть!.. Ну, так что же мне делать, что делать?..

Андрусь взял его за плечи и, отведя в угол, кивнул Матию, чтобы тот отошел в сторонку, а затем начал ему что-то тихо шептать на ухо. И видно, немалую силу имели слова Андруса, если молодой парубок вдруг побледнел еще больше, затем вспыхнул румянцем и, наконец, весь дрожа, как в лихорадке, громко зарыдал и, горячо сжимая Андрусеvu руку, выкрикнул:

— Да, твоя правда, братец, другого выхода нет! Так и сделаю!

— Только ловко, толково и смело, и нечего бояться! А после... после увидишь, что станет легче! Ну, а теперь ступай, спокойной ночи!..

Прийдеволя молча поклонился и ушел.

Андрусь прошелся несколько раз по хате, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, хотя, видимо, и сам был взволнован до глубины души. Потом подошел к Бенедю и выпрямился перед ним во весь свой богатырский рост.

— Ну, вы видели нашу работу?

— Видел.

— И что вы об этом скажете?

Бенедя свесил голову, словно стараясь собрать воедино рассыпанные мысли.

— По всему видно, что вы задумали что-то страшное и большое, хотя и не могу в толк взять, откуда это у вас взялось.

— Откуда взялось? Э-э, длинная это история, к тому же она и не относится к делу.

— А затем, хватит ли у вас сил, чтобы сделать то, что вы задумали?

— Мы сеем, а уродит ли семя втрое или вдесятеро, этого мы не знаем!

— И потом... еще одно... — Бенедя запнулся. — Подумали ли вы...

— О чем?

— О самом главном.

— Ну?

— Кому и какая польза будет от вашей работы...

Андрусь пристально посмотрел на Бенедю, а затем засмеялся горьким смехом.

— Ха-ха-ха, польза! Разве непременно должна быть польза?

— Ну, я так думал, — ответил спокойно Бенедя, — что уж если что-нибудь делается и делается обдуманно, то нужно поразмыслить и над тем, будет ли и кому будет от этого польза.

— Гм, вольно вам и так думать! А я иначе

рассуждаю: вот меня теснит враг со всех сторон, нет у меня никакого выхода. Я заряжаю ружье. Убью ли я врага, или самого себя, это для меня все равно.

— Нет, нет, нет, — живо подхватил Бенедя, — это говорит в вас слепое, безысходное отчаяние, а не рассудок! Разве дошло уже до того, что нет никакого другого выхода? А если бы дело обстояло и так, то разве вы думаете, что это все равно—убить себя или убить врага? Убьете себя — врагу легче и вольготнее будет.

Теперь наступила очередь Андруса опустить тяжелую голову и задуматься.

— Твоя правда, — сказал он, наконец, Бенедя. — Здесь надо подумать. Хочешь быть нашим побратимом и думать вместе с нами?

— Вашим побратимом, но не слепым орудием вашей воли.

— Нет!

— И чтобы каждый мог свободно думать, что он хочет, и другим говорить, что думает.

— Это у нас и теперь свободно. Ведь ты же слышал сегодня...

— Так-то оно так, но я еще раз оговариваю себе это право. Себе и каждому.

— Хорошо.

— Ну, а если так, буду вашим побратимом, буду думать вместе с вами над тем, как найти выход из великой всенародной кривды!

Андрусь, а за ним Матий радостно обняли Бенедю, как брата.

Наши побратимы так были заняты собой и своими мыслями, что не слышали, как кто-то постучал в наружную дверь, открыл ее с легким скрипом и вошел в сени. Лишь когда скрипнула дверь хаты и новый гость встал на поро-

ге, только тогда они заметили его. Это был высокий, рыжий человек со злыми серыми глазами и с недобрый выражением веснущатого лица, на котором светилась в ту минуту какая-то зловещая радость.

— Дай боже! — буркнул человек, приподняв слегка шапку на голове.

— Дай боже! — ответил Матий, которому как-то не по себе стало при виде нового гостя. Этот новый гость был его злейший враг, Мортко, один из надсмотрщиков Германа Гольдкремера. Матий недоумевал, что привело Мортко теперь, в такое позднее время, в его хату, но, верный обычаю нашего народа быть почтительным с каждым входящим в дом, Матий скрыл в глубине души свою ненависть и все ожившие при виде Мортко мучительные воспоминания. Он приветствовал его с холодно-вежливым видом.

— Садитесь, Мортко!

Мортко кивнул головой и сел.

— Нет ли каких новостей, что так поздно зашли к нам в гости?

— Как будто все в порядке. Новости хорошие! — ответил со злорадной усмешкой Мортко и, спустя минуту, добавил: — Был у вас сегодня возный из суда?

Матий вздрогнул при слове «суд», словно ужаленный.

— Нет, — еле выдавил он, чувствуя что-то недоброе, — не был.

— Ну, тогда, вероятно, завтра будет. У меня был сегодня.

— Ну и какие новости принес вам? — спросил Матий, дрожа всем телом.

— Наше дело кончено.

— Кончено?

— Да! И так кончено, как я вам говорил. Потому что, зачем вам нужно было вмешиваться в то, что вас не касается?

— Не касается?—с болью в голосе воскликнул Матий. — Мортко, не говори мне этого, хотя ты и в моей хате, но сам знаешь, человек не без греха!

— Ну-ну, — ответил Мортко, — вам не за что сердиться. Я не то хотел сказать. Я хотел только сказать, что вы зря на меня бросили подозрение и что я в этом деле, видит бог, насколько не виноват! Сам прокурор в Самборе это признал и сказал, что против меня нет никаких доказательств и что он не может обвинять меня по этому делу, которое вы взвалили на меня. Напился покойный Пивторак, упал в яму, причем же я здесь?

При этих словах Матий, словно оглушенный ударом обуха, опустил голову и не мог проговорить ни слова.

«Пропало, пропало! — шептало, шипело что-то в его голове. — Погиб человек, и след его простыл, а этот...»

В эту минуту Андрусь Басараб, который до сих пор молча слушал весь этот разговор, сам обратился к Мортко:

— Что это за дело такое, Мортко? Какое у вас дело с Матием?

— А зачем вам это знать? — ответил колко Мортко.

— Ты уж не спрашивай, зачем мне это знать, — ответил Андрусь. — Тебе жалко сказать, что ли?

— Да, да, жалко — не жалко, но... — Мортко внимательно всматривался в Андрусю, словно боялся нажать себе в нем нового врага.

— Говори же, если не жалко! — сказал Андрусь и встал над ним, словно чорт над грешной душой.

— Да что тут и говорить, пустое дело, *püste Geschäft*¹, и все тут! Помните, два года тому назад из шахты достали кости человека? По перстню узнали, что это был Иван Пивторак, муж хозяйки этой хаты. Он за год перед тем куда-то пропал. Ну, а Матию почему-то взбрело в голову, что это я виноват в том, что он упал в яму, ну, он и давай жаловаться на меня в суд. Он думал, что меня сразу же возьмут и повесят... Но в суде так не делается: если обвиняешь кого, так поди раньше докажи! А здесь как можно доказать? Ну, однако, благодарение господу, дело уже закончено! Слушайте, Матий, я еще раз говорю, зачем вам нужно было вмешиваться в это дело и тратить деньги на процесс? А теперь, когда вы проиграли, забудьте обо всем и будем снова друзьями, как прежде. Ну, давай руку, старина!

Мортко протянул Матию руку.

— Я — тебе? — вскрикнул Матий. — Чтобы я положил свою руку в ту руку, которая моего Иванчыка со свету сжила? Нет, не дожدهшься этого!

— Вот видите, — сказал Мортко, обращаясь к Андрусю, — он все свое. Послушайте, Матий, вы не бросайтесь такими словами, потому что теперь, когда суд признал, что я не виновен, никто не смеет меня обвинять. Теперь я могу подать на вас в суд за оскорбление!

— Ну, подавай, подавай! — крикнул Матий. — Пускай меня повесят вместо тебя. А я, хотя

¹ Пустое дело.

бы десять судов говорило, что угодно, все буду стоять на своем. Не кто другой, как ты, толкнул Ивана в шахту! И конец! А теперь уходи из хаты, потому что, если у меня не хватит терпенья, может что-нибудь неладное выйти между нами!

Мортко пожал плечами и пошел. Но в дверях он еще раз обернулся, бросил презрительный взгляд на Матия и сказал:

— Дурной мужик! Он думал, что сделает мне что-нибудь этим процессом, а это еще не так просто сделать мне что-нибудь!

И с этими словами Мортко ушел. А Матий все еще сидел на лежанке, бледный, разбитый, дрожащий, сидел без мыслей и движения, а в голове у него, словно мельничное колесо, тарахтело одно темное, пустое, холодное слово: «Пропало! пропало! пропало!» Андрусь Басараб подошел к нему и положил свою могучую руку на его плечо.

— Побратим Матий!

Матий поднял глаза и взглянул на него, как утопающий.

— Что это за дело такое? Что за процесс? Почему мы до сих пор ничего об этом не знали?

— Эх, пропало, все пропало! — ответил Матий. — Что теперь и говорить об этом!..

— Нет, ты расскажи, тебе самому легче станет!

— О, не будет мне легче, не будет! — сказал Матий. — Пропало, и все тут!

— Да кто еще знает, пропало ли? — вмешался Бенедя. — Ведь можно проигранный однажды процесс начать вторично и выиграть! А здесь и вовсе, как видно из слов этого Мортко, не так

плохо. Ведь ваше дело и в суде не было, только прокурор признал, что улики, необходимых для суда, нет. Значит, если будут доказательства, то и суд будет.

Лицо Матия прояснилось немного при этих словах.

— Так ли это? — спросил он, выпрямляясь. Но какая-то тяжелая мысль вскоре снова навалилась на него и придавила к земле. — Нет, нет, нет, нечего и говорить, — сказал он. — Так или иначе, а все пропало. Три года прошло, где я теперь возьму им лучшие доказательства? Довольно, довольно и думать об этом!

И он закрыл лицо руками, а из его глаз полились горячие наболевшие слезы и потекли между пальцами и закапали на землю. Бенедя и Андрусь увидели, что сегодня с ним нельзя больше ни о чем говорить, — удар был слишком сильный и неожиданный и сломил всю его твердость. Андрусь молча стиснул Бенедю руку, взял шапку и тихо вышел. Бенедя также тихо разделся и лег на лавке, подстелив кафтан. А Матий сидел на лежанке, словно омертвевший, словно из камня изваянный.

Нефтяная лампочка все слабее и слабее мерцала на выступе трубы. В углах избы притаились глыбы мрака, словно ожидая мгновения, когда погаснет лампа, чтобы обрушиться на хату и закрыть собою всё сверху донизу.

Бенедя, как только улегся, так в ту же минуту под тяжестью множества сильных впечатлений этого дня уснул мертвым сном. Уже минула полночь, погасла лампа, тьма заполнила хату, а Матий все еще сидел на лежанке, с лицом, закрытым ладонями, без движения, без слов, без мыслей, ощущая в сердце только

страшную боль, великую пустоту и еще живую рану, причиненную мыслью, что и в судах уже нет правды для бедного рабочего. Только на рассвете сон одолел усталое тело, голова его склонилась вниз, руки бессильно упали, и, улегшись на голой лежанке, Матий уснул на часок, пока не раздался по всему Бориславу утренний стук и звон, созывающий трудовой народ на работу.

IV

В понедельник утром выплывало яркое солнце из-за розовых тучек, чтобы весь день снова палять и жечь нерасцветшую землю Подгорья. В блестящей легкой рессорной бричке, запряженной парой быстрых пегих лошадей, ехал Леон Гаммершляг из Дрогобыча в Борислав. Он был в прекрасном, радужном расположении духа, блестящие надежды возникали перед ним, росли, крепились, облекались в плоть и кровь. Мерное покачивание брички сладко убаюкивало Леона, а его собственные мысли и мечты делали весь мир в его глазах богаче и нарядней. Ну, и нарабатался, набегался он за эти три недели, изведаль немало тревог и волнений, потаскался со всякими людьми, пока все-таки не добился своего, — не схватил среди этой сутолоки золотую нитку, которая, может быть, приведет его и к клубку богатства! Его пребывание в Вене так или иначе было действительно одной из самых смелых и счастливых его спекуляций. Это была настоящая ловля золотой рыбки! Ну, и удалась же ему эта ловля как нельзя лучше! Леон заранее обдумал все подробности этой героической

ловли, рассчитал время и деньги, чтобы все в задуманной им афере шло правильно, ловко и гладко, как часы. Главная суть его планов заключалась в следующем.

Проживающий в Вене бельгийский химик Ван-Гехт, который несколько лет работал над анализом горного воска, после долгих опытов изобрел такой способ его очищения, в результате которого очищенный воск утрачивал свойственный ему неприятный запах нефти. Небольшая примесь пчелиного воска придавала ему аромат, а еще одна химическая примесь—цвет обыкновенного чистого пчелиного воска. Этот новый фабрикат он назвал церезином и выхлопотал патент на право исключительного пользования своим изобретением. Образцы своего воска Ван-Гехт послал между прочим и святейшему синоду в Россию с запросом, может ли такой воск найти доступ в православные церкви, и с заверением, что в этом случае он мог бы поставлять его в большом количестве и по цене гораздо более низкой, нежели цена пчелиного воска. Синод ответил ему, спустя некоторое время, что предложенный воск испробован, что он оказался ничем не хуже пчелиного и что в каждой православной церкви в России свечи из этого воска могут гореть без всякого ущерба для славы божией. В случае, если Ван-Гехт доставит много такого воска по дешевой цене, синод обеспечит ему большой сбыт в России. Имея это важное разрешение и патент на исключительное право пользования своим изобретением в течение семи лет, Ван-Гехт задумал добиться при их помощи миллионного состояния. До сих пор он был бедным техником, с большим трудом собрал деньги на устройство в Вене собственной небольшой химиче-

ской лаборатории, в которой работал с одним лишь ассистентом, помощником, немцем Шеффелем. Поэтому и неудивительно, что теперь он решил как можно дороже продать результат своего труда. С этой целью он объявил в торговых и биржевых венских газетах о своем изобретении и открытых для него широких рынках сбыта, приглашая «господ-предпринимателей, фабрикантов и капиталистов, которые при его участии хотели бы осуществить выгодную сделку, вступить в соглашение лично или через посредство агентов с изобретателем Ван-Гехтом». Это объявление произвело немалый переполох среди венских капиталистов, а особенно среди галицийских предпринимателей, которые давно уже грели руки возле бориславской нефти и бориславского воска. Вокруг убогой лаборатории Ван-Гехта, помещавшейся в нанятой им сырой квартире в подвале, забегали втихомолку и крадучись разные агенты, каждый старался обойти другого, и никто из них не приступал прямо к делу, а только обнюхивал, как собака. Ван-Гехт видел все это, и, хотя им все более и более овладевало нетерпение в ожидании желанного миллиона, он радовался, зная, что в мире предпринимателей так уж заведено: когда речь идет о каком-нибудь важном деле, оно прежде всего обнюхивается и ощупывается со всех сторон; никто никому не доверяет, все боятся друг друга, и хотя в погоне за прибылью каждый рад опередить своих собратьев, а если возможно, то и свалить еще того или другого «собрата» на землю, каждый старается ни в чем не подать вида другим, хотя, быть может, его и сжигает внутри всепожирающая горячка. Ван-Гехт хорошо

знал это и старался и сам казаться безразличным. Он попрежнему трудился со своим помощником в лаборатории, заходил иногда на биржу, но всегда держался в стороне, смиренненько, словно бы это и не он. Однако он хорошо замечал, что его низенькая, приземистая и слегка обрюзгшая фигурка начинает обращать на себя внимание в этом мире властителей капитала.

В этом не было ничего удивительного. Ведь это происходило в конце 60-х годов, в эпоху большого промышленного разбега в Австрии, в эпоху великой спекулятивной лихорадки, великого «Aufschwindle»¹. Ведь в то самое время, когда в газетах появилось объявление Ван-Гехта, закладывался фундамент знаменитой «ротонды», главного здания венской всемирной выставки 1873 года. О том, что одновременно с этим биржевым и спекулятивным «Aufschwindle» и неотделимо от него были посеяны семена венского «краха» 1873 года, никто в пору горячки не думал, а Ван-Гехта это и вовсе мало занимало.

Но уж, наверное, никого так не взбудоражило объявление Ван-Гехта, как знакомых нам бориславских тузов — Германа Гольдкремера и Леона Гаммершляга. Они давно уже метались во все стороны, чтобы найти для бориславского воска более верный и лучший сбыт, нежели тот, который существовал до сих пор. Да и сам характер их копей свидетельствовал о том, что пришло время налечь главным образом на добычу воска, что воск должен стать теперь основой бориславского богат-

¹ Aufschwindle — расцвет.

ства, а нефть только более или менее крепким подспорьем. Нужно знать, что в первый период развития бориславских промыслов было как раз наоборот: нефть составляла главный источник доходов, а воск, если наталкивались где-нибудь в первых неглубоких шахтах на его залежи, либо совсем обходили, оставляя его в земле, либо если и выбирали, то очень мало. Брали его захожие рипники, брали заезжие люди, которые приезжали в Борислав что-нибудь продать, и увозили его домой нередко большими глыбами. Предприниматели мало дорожили воском, особенно мелкие владельцы, имевшие одну, две шахты. Но теперь все изменилось. Нефть в значительной части ям была исчерпана, источники, о которых предприниматели думали, что они будут течь вечно, начали иссякать. А тут еще эти проклятые американцы не только начали сбывать свою нефть в Европу, но и доказали еще, что их нефть лучше очищена и дешевле бориславской! Поэтому и неудивительно, что первое место в бориславском промысле должен был занять воск. Предприниматели бросились расхватывать заброшенные шахты, на которые раньше не обращали внимания; от главных вертикальных шахт начали проводить поперечные, боковые штольни, прямые или, если это нужно было, кривые, извилистые. Начали также спускаться дальше вглубь; если прежде самые глубокие шахты были 30—50 саженей, теперь глубина шахт достигала 80—100 саженей; чем дальше забирались вглубь, тем пласты воска становились толще, жилы богаче. Одно только допекало бориславских тузов — это дороговизна очистки воска; его дистилляция и другие процессы, не-

обходимые для выработки из этой желтой глинистой массы белого парафинового воска, стоили очень дорого; цена парафина, хотя и достаточно высокая, не могла все-таки обеспечить предпринимателям большие и скорые прибыли.

И вот в этот момент, словно ангел-хранитель с неба, появляется хитроумный бельгиец со своим изобретением! Производство церезина, — пишет он в своем объявлении, — будет стоить дешевле, нежели производство чистого парафина. Далее, церезину обеспечен сбыт в России. К тому же изобретатель—бельгиец! А бельгийцы, известно, люди солидные, энергичные, на которых можно положиться, — не то, что ветрогоны французы или мошенники немцы! Значит, прибыль скорая, большая и верная!

И Герман, и Леон, прочитав объявление Ван-Гехта, немедленно написали своим агентам, чтобы они постарались ознакомиться с этим делом, разузнать об условиях, и обещали в случае выгоды сделки приехать в Вену и завершить ее.

Агентом Германа был какой-то солидный немец-делец, который хотя и драл с Германа хорошие деньги, зато уж умел и похлопотать по его делам в Вене. Получив поручение Германа, он пошел с ним прямо к Ван-Гехту, спросил его об условиях, поторговался немного и, взяв с него слово, что он сохранит в тайне их предварительное соглашение, обещал ему, что не позже, чем через неделю-две, придет и сам предприниматель и завершит с ним сделку. При этом агент заверил Ван-Гехта, что Герман человек солидный и основательный и, заключая с ним договор, Ван-Гехт может быть совершенно спокоен. Разумеется, агент старался выбить из головы

Ван-Гехта мысли о будущем миллионе, но все-таки уверил его, что на полмиллиона он может рассчитывать и что его доверитель лучше, чем кто-либо другой, сможет оправдать эти расчеты. Ван-Гехт, хоть и скрепя сердце, согласился со всем: пускай себе и полмиллиона, тоже кругленькая сумма, о которой он когда-то и мечтать не смел. Агент еще раз подчеркнул, что Ван-Гехт должен хранить их соглашение в тайне, а бельгиец, не догадываясь, почему это его беспокоит, согласился и на это. Вскоре агент протелеграфировал Герману, как обстоит дело, и просил его как можно скорее приехать в Вену для завершения сделки с Ван-Гехтом. Мы видели уже, в каком состоянии духа и при каких обстоятельствах застала Германа эта телеграмма.

Но тем временем и агент Леона Гаммершляга не дремал. Это был проворный и хитрый венский агент, известный Леону с давних пор. Он служил ему за небольшую плату, потому что Леон, как и все так называемые либералы, хотя и любил на людях внешне сверкать и блеснуть, но в душе, в частных делах никогда не мог избавиться от свойственной ему купеческой скарденности и нечистоплотности. Так он предпочитал держать какого-нибудь паршивенького агента, лишь бы только меньше ему платить. Правда, этот агент ухитрялся до сих пор ловко и быстро устраивать все дела Леона, «с его легкой руки» везло Леону, и он уже неоднократно посылал ему особые добавки в знак своей признательности. Вот этот-то агент и на сей раз уладил это важное дело к великой радости Леона. По своему обыкновению он не брался за дело прямо, как немец, а колесил,

вертелся, разнюживал, узнавал из десятых рук. Пронесся слух, что Ван-Гехт ставит неслыханно тяжелые условия. Сам немец, агент Германа, рассказывал в кругу своих приятелей, что ходил к бельгийцу (умалчивая, по чьему поручению) и что тот выставил такие условия: он возьмет на себя руководство производством цезезина, если предприниматель гарантирует ему семилетнюю непрерывную службу и 5000 рублей в неделю, да еще в течение последних двух лет 5% дивиденда с чистой прибыли от проданного цезезина. Такие тяжелые условия должны были испугать каждого; у агента Леона сразу отпала охота идти к Ван-Гехту. Но он пронюхал, что есть другая стежка в огород. За несколько дней перед тем, именно после договоренности с немцем, Ван-Гехт закрыл свою лабораторию, стараясь продать ее, уволил также своего помощника Шеффеля, который теперь без работы и заработка жил на одной из тесных улочек венского Vorstadt'a¹. К этому-то Шеффелю и направился агент Леона и начал выпрашивать да выведывать у него. Он убедился, что Шеффель обстоятельно знает секрет производства цезезина, сумел бы наладить и вести производство. Правда, Шеффель — человек бедный, робкий и совестливый — быстро выпроводил бы каждого, кто сказал бы ему: «иди сюда и вырабатывай цезезин!» Но хитрый агент не сказал ему этого, но зато немедленно после разговора с Шеффелем написал Леону, чтобы тот приезжал, потому что хотя Ван-Гехт и предъявляет слишком большие требования, но, с другой стороны, может быть, окажется воз-

¹ Vorstadt — предместье.

можным устроить это дело гораздо выгоднее и легче.

А пока что агент принялся обрабатывать Шеффеля на свой лад. Он подружился с ним за пивом, заходил несколько раз к нему домой и присматривался к его бедному житью. Шеффель жаловался ему на свою бедность, на отсутствие заработка, а ловкий агент, как назло, рисовал ему широкие, заманчивые картины прибылей, богатства и довольства, намекая с каждым разом все яснее, что и для него вовсе не закрыты ворота в этот золотой рай. Бедный Шеффель вздыхал и снова начинал свои жалобы. Чтобы опутать его, агент несколько раз деликатно одалживал ему небольшие суммы денег, то и дело обещая похлопотать о месте для него, да еще о таком прибыльном, что он будет ему, наверно, всю жизнь благодарен. Шеффель недоверчиво качал головой, но агент так упорно твердил свое, что бедняга постепенно терял рассудок и, обессиленный, отдавался потоку блестящих обещаний агента. Достаточно сказать, что к приезду Леона Шеффель был почти совершенно подготовлен к тому, что задумал проделать с ним агент.

Леон приехал в Вену, не зная, как его агент думает уладить дело. А когда узнал, то вначале делал вид, что отвергает его план. Но это не было сопротивлением; он в дальнейшем согласился на все и велел агенту привести Шеффеля к себе в гостиницу. Здесь после недолгой борьбы, толкаемый, с одной стороны, нуждой, а с другой стороны — блестящими обещаниями Леона, Шеффель сдался. Он обещал Леону, что поедет с ним в Борислав и будет вести тайное производство цезезина, да еще за срав-

нительно небольшую плату. А чтобы строительство и работу нового завода прикрыть чем-нибудь другим и отвести людям глаза, Шеффель, незнакомый с галицийскими условиями, посоветовал Леону объявить, что это строится небольшая паровая мельница. Леон, как мы видели, так и сделал, не подумав хорошенько, к чему это может привести.

Уладив дело с Шеффелем, Леон не успокоился. Он бросился выискивать для будущего церезина покупателей. С помощью своего агента ему удалось спустя некоторое время найти несколько русских капиталистов, проживающих проездом в Вене. Они охотно взяли на себя посредничество в деле поставки церезина, и действительно через три недели Леон уже заключил с только что созданным в России «Восковым обществом» контракт на доставку в течение полугода двухсот тысяч центнеров церезина на таких выгодных условиях, что заранее мог исчислить чистую прибыль от этого предприятия в сто тысяч ренских. Вот тогда, захватив с собой золотоносного Шеффеля, он и помчался в Галицию, чтобы сразу же приняться за дело. Готового воска у него было на складах в Бориславе десять тысяч центнеров. Вдвое, а то и вчетверо больше он надеялся сейчас же на собственные деньги и по дешевой цене купить на месте у мелких владельцев шахт; позднее его контрагенты должны были прислать в Борислав своих людей, чтобы воочию убедиться, сколько и какого воска выработано, и тогда Леон должен был получить такую часть условленной суммы, которая равнялась бы стоимости заготовленного воска; за эту сумму он надеялся поставить все остальное

обусловленное контрактом количество воска, так что остальные следуемые ему деньги были бы его чистой прибылью за вычетом разве платы Шеффелю и стоимости строительства фабрики.

И Шеффель тем временем не сидел сложа руки. Чтобы зарекомендовать себя своему «работодателю», он разработал подробный план нового завода, заказал вместе с агентом котлы, трубы и прочее необходимое металлическое оборудование на венских заводах, обуславливая срочность его изготовления. Таким образом за время своего трехнедельного пребывания в Вене Леон, несомненно, достаточно потрудился над укреплением своего богатства и счастья. Все это время он носился, как угорелый, нигде не бывал, не развлекался, не заходил к знакомым и даже не здоровался с Германом Гольдкремером, которого несколько раз встречал на улице в толпе пешеходов. Всеобщая спекулятивная горячка захватила его, — свет померк в его глазах, и Леон уже не различал ни друга, ни брата, ни правды, ни кривды, ничего, кроме золота, богатства и блеска. Эта горячка не покидала его и по возвращении в Дрогобыч. Мы видели, что, приехав из Вены, он в тот же день договорился со строителем и Бенедей, а затем и сам помчался в Борислав, чтобы собственными глазами наблюдать закладку новой фабрики. Его словно толкало, подгоняло что-то как можно скорее это сделать, он даже, возвратясь из Вены, решил, хоть и не очень охотно, приостановить временно строительство своего шикарного дома, чтобы можно было таким образом больше денег и сил употребить на скорейшее завершение нового прибыльного дела.

«Ведь мой дом, мое счастье, моя сила, от этого не перестанет строиться, расти к небу! Нет, именно успешное завершение этого дела будет одним из главнейших камней в основании моего дома!»

Вот эти воспоминания и мысли, варьируясь на бесчисленные лады, занимали Леона по дороге в Борислав. Быстрая езда и покачивание брички сладко убаюкивали его, а его собственные мысли и мечты делали весь мир в его глазах богаче и нарядней.

Вот он уже миновал Губичи и, не доезжая Борислава, приказал кучеру остановиться на большаке. Вылез из брички и напрямик через выгон направился к речке, где должен был строиться завод. Но еще прежде, чем он приблизился к намеченной им площадке, Леон услышал какой-то гомон. Вскоре он увидел, к немалому своему удивлению, толпу людей, теснившихся возле площадки и с любопытством глазевших по сторонам. Это были большей частью владельцы бориславских шахт, хотя было здесь много и безработных рипников, женщин, детей и разного другого бедного люда.

«Что за притча? — подумал про себя Леон. — Что могло здесь произойти, почему собралась эта толпа народа?»

Дело объяснялось совсем просто. Едва толпа заметила его, как тотчас же владельцы шахт направились к нему навстречу и засыпали его вопросами: Что? Как? Правда ли, что он строит паровую мельницу? Почему так неожиданно пришла ему в голову подобная мысль? Зачем он лезет на рожон, на неминуемые убытки: ведь паровая мельница в Бориславе не будет приносить ему никакого дохода?!

Леон был очень смущен этими вопросами. Он только теперь впервые понял, что, объявляя о постройке паровой мельницы, он не только не отводит глаза людей от своего предприятия, но, наоборот, обостряет человеческое любопытство. Поэтому на вопросы своих коллег он принужденно улыбнулся, не зная вначале, на какой ответ решиться. Но вот уже и рабочие, и женщины, и весь бедный люд обступили Леона, одни — прося его о работе на постройке, на мельнице, другие — благодаря его за это великое благодеяние для бориславской бедноты, которой теперь, может быть, легче будет заработать на кусок хлеба насущного. Леон смутился еще более. Он увидел, что тут уже никак не уйти от людского любопытства.

— Но, почтенные! — сказал он, опомнившись, — кто это сказал вам, что здесь строится паровая мельница?

— Да вот пан строитель, который приехал сегодня утром искать рабочих для новой постройки.

— Э-э, да это пан строитель пошутил над вами, — сказал Леон. — Это не паровая мельница, это строится обыкновенный нефтяной завод! Где уж мне строить паровую мельницу!

— А-а-а! — вырвался из уст присутствующих возглас удивления и разочарования. И рипники начали расходиться, а предприниматели после их ухода стали свободнее толковать с Леоном, расспрашивая его, для чего он строит новый нефтянсьй завод, не потребуются ли ему нефть и воск и что он будет на своем заводе вырабатывать. Более любопытные спрашивали его даже, не заключил ли он с кем-нибудь контракта.

— Мы слышали,—говорили некоторые предприниматели,— что там, в Вене, организуется большая «Erdwachs Exploitations Compagnie» («Общество эксплуатации горного воска»). Вы, наверно, с ним связаны?

— В Вене? «Общество эксплуатации»?.. — удивлялся Леон. — Нет, я ничего об этом обществе не слыхал и не связан с ним!

— Возможно ли это? — удивлялись в свою очередь промышленники. — Вы были в Вене и даже не слыхали об организации большого «Общества эксплуатации»?

— Да где там, — отмахивался Леон, — я в Вене был занят частными делами, на биржу даже не заглядывал!

Еле-еле отделался Леон от своих товарищей. Правда, он обещал кое с кем еще сегодня поговорить о покупке горного воска, который потребуется для нового завода. Избавившись от непрошенных любопытных гостей, он пошел на площадку, где уже нанятые рабочие выравнивали землю, свозили щебень и кирпич и где строитель с Бенедей измеряли план и обозначали колышками место для рытья фундамента. Строительство необходимо было закончить как раз к тому времени, когда венские заводчики обещали прислать заказанное Шеффелем оборудование.

Строитель был очень недоволен и то и дело ворчал что-то себе под нос. Бенедя только время от времени слышал отрывистые слова вроде «дурень», «мошенник», «хочет дурачить людей, а не умеет». Когда Леон приблизился и громко сказал рабочим: «добрый день» и «дай боже счастья», Бенедя первый подошел к нему.

— Пане, — сказал он, — не правда ли, это вы шутили, говоря, что здесь должна быть паровая мельница?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что мы здесь с паном строителем не могли договориться относительно плана. Я, между прочим, работал уже на строительстве паровой мельницы в Перемышле и знаю, как ее надо строить. И здесь, как только я взглянул на план, сразу увидел, что это нефтяной завод, а не мельница. Я и раньше догадывался об этом, потому что для чего бы вы стали строить здесь, в этой пустыне, мельницу? А вот пан строитель ни в коем случае не хотел начинать работу по этому плану, говоря, что здесь, вероятно, ошибка, что нужно подождать до тех пор, пока он сам не сделает такой план, который годится для паровой мельницы.

— Ну, разумеется, я говорил это в шутку! — громко сказал Леон, снова стараясь смехом прикрыть свое смущение. — Ведь я еще не сошел с ума, чтобы строить паровую мельницу в Бориславе.

Теперь и строитель, услышав эти слова, подошел к Леону, который, все еще улыбаясь, озирался вокруг.

— Пане Гаммершляг, — сказал строитель резким, жестким голосом, — кто из нас оказался лгуном?

— Лгуном? — повторил Леон и отступил на шаг назад, меряя строителя надменным взглядом. Правда, под этим высокомерием скрывалось все то же смущение, и Леон много дал бы за то, чтобы строитель замолчал. Но строитель и не думал молчать.

— Да, лгуном, — сказал он, — потому что

разве вы не говорили мне, что хотите строить здесь паровую мельницу?

— Я шутил.

— Вы шутили? Ну, я еще не видал, чтобы кто-нибудь так серьезно шутил, как вы! Признаюсь, я вашей шутки не понял. Я на основании этой шутки и рабочих насобирал, и шум поднял на весь Борислав...

— Это очень плохо! — сказал Леон.

— Верно, что плохо, потому что теперь я в глазах всех этих людей стал лгуном.

— Это ваше дело, не мое!

— Мое дело? Но ваше слово!

— Но ведь я вам дал план! Какой вы строитель, если не сумели отличить паровой мельницы от нефтяного завода?..

Эти слова сильно задели строителя.

— Э, что там ваш глупый план! Я на него и не смотрел!

— Ну, это ваша вина! — отрезал Леон. — За что вы у меня деньги получаете?

Они вели этот спор громко, все более повышая голоса. Леон покраснелся, как рак, полное лицо строителя также налилось кровью. Между тем рабочие и кое-кто из посторонних, слыша, как сцепились «господа», остановились и с любопытством смотрели на это зрелище.

— Мой пане, — кричал разъяренный строитель. — Я не за тем пришел сюда, чтобы слушать ваши грубости.

— А я не за тем, чтобы слушать ваши глупости!

— Пане, вы меня оскорбляете!

— Не очень страшное преступление!

— Вы вредите моему доброму имени!

— Вы навредили моим интересам!

— Ах, так? В таком случае прошу заплатить мне за мой труд, и я сегодня же возвращаюсь в Дрогобыч.

— О, тем лучше! Будьте любезны подать мне счет, и не только за эту работу, но и за постройку в Дрогобыче! Постараемся обойтись без такого гениального строителя! — И Леон с высокомерным видом отвернулся в знак того, что разговор окончен. А строитель, кипя от злости, швырнул на землю все, что было у него в руках, и, нахлобучив шапку и сплюнув, направился в Борислав, сопровождаемый громким смехом рабочих.

Работа продолжалась своим чередом. Леон долго ходил по площадке, оглядываясь по сторонам и тяжело дыша, пока не улеглось его раздражение. Спустя некоторое время он остановился перед Бенедей.

— Ну, что теперь будем делать? Строителя у нас нет.

— Если позволите, то я и сам поведу эту постройку по плану.

— Вы сами?

— А почему бы и нет? Штука нехитрая. Через месяц все будет готово.

— Я согласен! Я вижу, вы человек хороший и честный. Стройте! Даже кавции¹ я у вас не потребую, я уж сам буду кое за чем присматривать. А о плате не беспокойтесь, я вас обижать не хочу!

Бенедя, говоря правду, рад был, что избавился от гордого строителя. А тут еще неожиданная доброта Гаммершляга, который разре-

¹ К а в ц и я — денежное обеспечение, залог.

шил ему без залога вести строительство, и надежда на еще более высокую оплату, — все это словно солнцем осветило его, пробудило в нем много новых дум. Он суетился и метался, с головой уйдя в работу, не обращая внимания на то, что другие рабочие косо и завистливо посматривали на него, а кое-кто, быть может, даже считал его хозяйским прихвостнем. Это мало тревожило Бенедю! Его мысли были поглощены таким делом, ради которого, безусловно, стоило перенести и крупницу человеческой зависти.

V

Июнь месяц был на исходе. Наступала пора косьбы. Широкие болотистые луга Подгорья зеленели и красовались многоцветной густой травой. Словно широкие озера меж скалистых серых берегов, они волновались пахучей зеленью, дышали свежестью и прохладой. А вокруг них все было серо, мертво, тоскливо. Вспаханные пригорки серели пересохшими, сожженными глыбами, реденькая рожь желтела на солнце, не успев и отцвести как следует. На овес и надежды не было: едва на пядь¹ поднялся он от земли, да так и замер, зачах на корню, пожелтел и наклонился, как огнем опаленный. Картофель, не успев даже зацвести, начал желтеть. Все складывалось так, чтобы отнять последнюю каплю надежды у бедных хлеборобов. Передников², который начался было в этом году слишком рано, теперь тянулся слишком дол-

¹ Пядь — мера длины, около четверти метра.

² Передник — время перед жатвой, перед сбором нового хлеба, овощей.

го, — уже петрово заговенье¹ прошло, а ни грибов в лесу, ни ягод, ни черешен не было. Один сплошной стон и плач стоял в народе. Чернее черной земли ходили люди по дорогам и полевым стежкам, собирая лебеду, щавель и разную зелень, выкапывая пырей, который сушили, растирали в порошок, смешивали с отрубями и раздобытой на последние гроши мукой и пекли из этой смеси хлеб. Каждое воскресенье можно было видеть на дорогах крестные ходы: со слезами на глазах, припадая к земле, народ молил о дожде. Но небо оставалось словно окаменелым, а широкое, бесстыдно сверкавшее солнце, казалось, насмехалось над слезами и молитвами бедных людей.

Начали появляться болезни: тиф и лихорадка. Опухшие от голода крестьянские дети, голые и синие, целыми вереницами ползали по выпасам и сенокосам, отыскивая щавель; не находя щавеля, они щипали траву, как телята, срывали листья черешен и яблонь, грызли их, мучились животами и умирали целыми десятками. Села, в которых, не умолкая, звенели, бывало, в погожий летний день детские голоса, теперь стояли понуро и безмолвно, словно чума прошла по их пыльным улицам. Эта необычайная мертвая тишина тяжелым камнем ложилась на сердце даже постороннему человеку. Идешь вдоль села, — на улице ни живой души, разве только худая жалкая скотина бредет и пасется без присмотра возле заборов, да кое-где на дворике медленно передвигается, словно лунатик, сгорбленный одинокий человек. Вечером в

¹ Петрово заговенье — начало летнего поста, который заканчивался в так называемый «день святых Петра и Павла».

хатах темно: в печах не горит огонь, нечего варить и жарить, — каждый спешит забиться в свой угол, чтобы хотя бы ночью не слышать стонов, не видеть страданий других. Эта страшная мертвая тишина в селах Подгорья означала, что народ начинает опускать руки, терять надежду и впадать в такое состояние безразличия и одеревянения, в котором человек, уставший от чрезмерной боли, перестает уже чувствовать ее и гибнет тихо и безропотно, как тихо и безропотно вянет трава под знойными лучами солнца.

И пора косьбы, этой наиболее оживленной и поэтической полевой работы, не внесла ни оживления, ни поэзии в общий мертвый вид селений Подгорья. Медленно, словно на похоронах, тянулись изголодавшиеся парни и мужчины на косьбу: косы едва держались на их исхудалых плечах. А стоило только взглянуть на их работу со стороны, жалость брала за сердце: такими истомленными, болезненными и медленными были движения этих косарей. Ни обычных песен, ни громкого смеха, ни шуток и каламбуров не было слышно. Пройдет косарь один-полтора прокоса, и упадет на скошенную холодную траву, чтобы немного освежиться, отдохнуть, набраться новых сил. Жалость брала за сердце: так и видно было, что это не работа, а одно горе.

Через эти села, поля и луга неслась по большой самборской дороге легкая бричка, запряженная парой резвых лошадей. Гладкие, откормленные и сильные кони, крепкий, сытый и хорошо одетый кучер, новая, покрытая черным лаком бричка, да и сама фигура пана — статного, коренастого мужчины в расцвете сил и

здоровья, румянолицего, с густой черной растительностью на лице, в красивой дорогой одежде, — все это удивительно не гармонировало с убожеством окружающей местности и людей. Но, наверное, вид едущего пана и его брички не был в столь большом противоречии с видом зачухавшего, умирающего голодной смертью Подгорья, как мысли и замыслы этого пана с мыслями, господствующими вокруг, словно висевшими в воздухе над этими бедными селениями. Здесь — беспомощное отчаяние, предчувствие неизбежной гибели, полубессознательное желание как-нибудь и чем-нибудь продлить хотя бы на несколько дней эту жалкую мученическую жизнь, а там...

Какие мысли и планы роились в голове едущего пана, каждый может легко догадаться, когда узнает, что этот пан — наш старый знакомый Герман Гольдкремер, который после долгого пребывания в Вене и во Львове возвращается в Дрогобыч.

Вид безмерной нужды и гибели вокруг вызывал в нем чувство довольства, сытого покоя, почти радости. «Это для меня все делается, — думал он. — Солнце — мой верный атаман. Высушивая эти поля, высасывая все живые соки из земли, оно работает на меня, оно сгоняет дешевых и покорных рабочих к моим шахтам, к моим заводам!» А эти дешевые и покорные рабочие нужны были Герману сейчас более, чем когда-либо, потому что сейчас он начинал новое, блестящее и великое предприятие, которое должно было продвинуть его еще выше по лестнице богатства.

Но, чтобы точно и правильно оценить все чувства и мысли, занимавшие Германа на об-

ратном пути в Дрогобыч, нам следует рассказать о том, что он делал и что произошло с ним после того, как мы видели его на закладке у Гаммершляга, а затем у него дома, где неожиданно дошла до него страшная и потрясающая весть о том, что его сын Готлиб исчез куда-то бесследно.

Крайне расстроенный и подавленный ехал Герман во Львов, чтобы точно узнать, что случилось с его сыном. Он терялся в мучительных догадках, то стараясь убедить себя в том, что Готлиб жив, то снова мысленно перебирая все доказательства, подтверждавшие правдоподобность его смерти. Эта внутренняя борьба истощала его силы и волновала кровь; скоро он до того устал, что не мог больше ни о чем думать: вместо связных мыслей в его воображении проносились и мелькали какие-то бесформенные видения, какие-то неясные обрывки мыслей и образов. Он силился уснуть под мерное покачивание брички, но сон не брал его, душевное переутомление и нервное возбуждение доводили его до какого-то почти горячечного состояния. Но постепенно долгое и нудное путешествие, однообразный унылый пейзаж надднестровских болотистых равнин, по которым он проезжал, притупили чувствительность и немного успокоили его. Герман старался не думать о сыне. Чтобы дать мыслям другое направление, он достал полученную перед отъездом телеграмму от своего венского агента и начал внимательно, по десять раз перечитывать немногие слова. То, о чем сообщалось в телеграмме, было первым и, казалось бы, незначительным узелком будущей великой золотой сети. Герман вдумывался в каждое слово, строил

планы, и это потушило понемногу огонь его лихорадки, освежило его.

Так он приехал во Львов и сразу же побежал в полицию. Никаких следов, никаких известий не было. Он назначил сто ренских тому, кто первый узнает что-нибудь определенное о его сыне, и, может быть, в пять раз больше роздал различным полицейским и затратил на угощение комиссаров, чтобы те приложили все силы и старанье и скорее узнали что-нибудь про Готлиба. О его обещании было напечатано в газетах, и Герман две недели просидел во Львове, ожидая каждый день, что вот-вот прибежит нарочный из полиции и пригласит его к директору. Но нарочного все не было, и Герману самому приходилось протаптывать дорожку в полицию. И все напрасно. Кроме найденной возле пруда одежды, никаких следов Готлиба обнаружено не было. Через две недели полицейские и комиссары в один голос заявили ему, что здесь, во Львове, Готлиб не погиб. Но мог ли Герман на этом успокоиться? Не погиб здесь, так куда же он мог деваться? Все это еще сильнее мучило Германа. Он попросил полицию продолжать поиски, а сам поехал в Вену устраивать дело.

В Вене ждал уже Германа с великим нетерпением его агент и сразу же на следующий день повел его к Ван-Гехту. Два или три дня тянулись переговоры и уговоры,—Герман упорно торговался, и бельгиец, которого вначале мечты и надежды вознесли так высоко, должен был, под давлением сухих, чисто деловых расчетов Германа, хотя туго и медленно, но все-таки уступить. Ван-Гехт снижал цену, и наконец оба противника остановились на еженедельной

плате в пятьсот ренских в продолжение семи лет, с тем условием, что в течение всего этого времени Ван-Гехт сам будет руководить фабрикой, и на пяти процентах дивиденда с чистой прибыли за проданный церезин, выработанный в течение двух последних лет их соглашения.

Ясное дело, Герман, скрепя сердце, подписывал этот договор и обещал технику такую неслыханную в Бориславе сумму, — он утешал себя мыслью, что, может быть, сумеет в Галиции каким-нибудь образом поприжать Ван-Гехта, вытянуть из него как можно больше, а заплатить меньше. И это ему впоследствии удалось!

Производство церезина должно было начаться лишь с будущего года.

Осенью Ван-Гехт обязался приехать в Дрогобыч, чтобы наблюдать за постройкой завода. До того времени Герман обещал выдавать ему небольшое жалованье — сто ренских в месяц, так как договорные обязательства входили в силу лишь с нового года.

Попутно Герман устроил еще одно, гораздо более крупное дело. Встречаясь на бирже со знакомыми спекулянтами и капиталистами, он часто вступал с ними в разговор о бориславских промыслах, их богатстве, об очищении воска, о сбыте парафина и т. д. Он вначале удивлялся тому, что так внимательно спрашивают его обо всех деталях люди, которые еще недавно проявляли к ним так мало интереса. Он еще более удивился, когда увидел, как много некоторые из них и сами знают о Бориславе, о добыче и богатстве его подземных сокровищ и обо всем, что связано с очищением и фальсификацией парафина. Лишь

спустя некоторое время узнал он, что в венских «капиталистических кругах» зародилась и созрела мысль организовать большое «Общество эксплуатации горного воска». Вначале эта мысль мало радовала его. Он боялся, как бы «Общество эксплуатации» не стало помехой на его пути, не вступило с ним в борьбу и не подорвало его благосостояния. Но, размыслив, он даже посмеялся над своими страхами. Капиталисты — венские, а «Общество» — в Бориславе! Это смешная несуразица. А кто же будет в Бориславе вести дела «Общества»? Если какой-нибудь венский или вообще европейский, а не галицийский капиталист, то гибель «Общества» неминуема, и гибель в самый короткий срок. Не так был скроен и сшит Борислав того времени, чтобы европейский предприниматель с недостаточным знанием дела, без вечных грязных плутней и мошенничества, без обмана и надувательства рабочих, надсмотрщиков и всех, кого только можно обмануть, — чтобы такой человек мог удержаться в Бориславе. Правда, и европейские заводчики-предприниматели не совсем лишены всех этих прекрасных качеств, и они не очень чистыми руками обделывают свои дела, но все же до такой степени бесстыдной, грабительской (а не легальной, как на Западе) эксплуатации они не доходят. К тому же в Европе больше привыкли к порядку, к систематичности, к точной бухгалтерии, а в Бориславе в то время эти привычки были распространены еще слабо и далеко не везде. Большая часть предпринимателей вела свои дела как-то по-воровски, беспорядочно, лишь бы только как можно больше выжать из рабочего, как можно больше урвать из его жалованья,

а если удастся, то и выманить назад весь заработок. Ясно, что в таких условиях европейские предприниматели, в особенности привыкшие к порядку и точности немцы, не могли удержаться в Бориславе.

Все это быстро сообразил Герман и старался ближе разузнать — как, на каких началах и кем организуется «Общество эксплуатации». То, что он узнал об этой затее, еще более успокоило его. В «Общество» вступило немало видных капиталистов, основной фонд составлял очень значительную сумму, чуть ли не целый миллион. «Значит, можно будет добрый кусок отхватить», — эта неотступная мысль все сильнее овладевала Германом. Капиталисты, прежде чем организовать «Общество», послали ловкого венского инженера на место, в Борислав и на соседние нефтяные заводы, чтобы он обстоятельно изучил шахты и производство, стоимость шахт, стоимость сырого воска и все, что необходимо для составления будущего плана действий «Общества». Инженер только что вернулся после двухмесячного пребывания в Галиции. Сведения, которые он сообщил, были благоприятными для капиталистов и подтверждались тем, что говорил Герман, — поэтому консорция, которая организовывала «Общество», решила приступить к делу.

Герман уже закончил переговоры с Ван-Гехтом и сидел в Вене без дела, беспокойный и утомленный, чего-то ожидая, на что-то надеясь. Он рассчитывал получить известие от львовской полиции, ждал, что-то будет с «Обществом». И вот однажды он получил приглашение на собрание учредителей. Некоторые из них просили его вступить в члены «Общества»

и взять на себя ведение дел «Общества». Герман заколебался. Он мысленно прикидывал, какая от этого будет выгода для него. Занимаясь делами «Общества», ему пришлось бы запустить свои собственные дела, а разве окупилось бы это доходами от «Общества»? Вступая в члены, нужно было бы немедленно внести значительную сумму в основной фонд. Кто знает еще, как пойдут акции «Общества», а от того, что он будет руководить делами, выгоды большой ему также не будет, к тому же нетрудно впутаться в уголовное дело, если «Компания» обанкротится (это Герман считал неизбежным), или же отвечать материально. Герман живо взвесил все это и решил не вступать в члены и не принимать на себя управление делами, чтобы не быть связанным с «Обществом». Он ограничился тем, что сразу же после его организации заключил договор на поставку сырого воска для «Общества».

Договор был выгодным. Сто тысяч центнеров должен был поставить Герман еще до ноября, — доставку принимало на себя «Общество». К тому времени и не позже, чем к новому году, должен быть готов завод для очистки воска. После того как будут получены эти сто тысяч, «Общество» должно было заключить с ним новый договор. Кроме того, Герман обещал посредничество между «Обществом» и остальными бориславскими предпринимателями во всем, что было связано с покупкой воска, а не то и целых шахт и копей.

Устроив все это, Герман помчался обратно во Львов. Вестей о Готлибе не было никаких. У Германа сердце захолонуло. С каким лицом он предстанет перед женой? Что он скажет

ей? Ему уже заранее чудились ее страшные вопли и проклятья. Он подождал еще неделю — ничего не слышно. Тогда он решил ехать домой, тем более, что дела призывали его в Борислав. И, едучи в Дрогобыч по укатанной дороге Подгорья, он попрежнему был охвачен мыслями, переходившими от чувства сытого, самодовольного покоя к тихой радости фабриканта-дельца при виде бескрайней бедности и отчаяния народа, при виде все увеличивающегося числа «дешевых и покорных рабочих». Но, по мере приближения к Дрогобычу, все чаще и грознее вставала в его воображении разъяренная и заплаканная жена, все более тяжелою тучей окутывала его душу тревога.

Каково же было удивление Германа, когда, приехав домой, он застал свою жену в таком необычном для нее настроении, что и сам не знал, что с нею случилось. Вместо ожидаемых слез, проклятий и вспышек безумного гнева, она встретила его с какой-то злорадной насмешливостью. Ривка, словно сорока в пустую кость, заглядывала ему в лицо, внимательно разглядывала все изменения, все новые борозды, которые провели по нему тревога и неуверенность. Правда, Ривка расспрашивала его о Готлибе, охала, когда Герман говорил, что, несмотря на все старания, не мог напасть на его след, но во всем этом чувствовалось скорее желание подразнить мужа, нежели действительно узнать у него что-нибудь. К тому же ее лицо, румяное, здоровое и оживленное, ее серые глаза, горевшие какой-то неприкрытой радостью, ее живые движения и жесты и даже легкая походка и звонкий голос — все это очень мало гармонировало с оханьем и причитаниями.

заставляло догадываться, что время их разлуки, столь тягостное для Германа, совсем не было тяжелым и горестным для его жены. Герман даже остолбенел от удивления.

— Гм, — сказал он жене, когда они после обеда (Ривка обедала вместе с ним и ела много, с большим аппетитом, чего Герман давно не видел) уселись рядом на мягкой кушетке и Ривка, через силу кривя лицо, снова начала расспрашивать его о Готлибе. — Гм, — сказал Герман, — а ты, как я вижу, все это время и в ус не дула. Да и веселая стала, словно дочку замуж отдала!

— Я? Господи боже! Я все глаза свои выплакала, ну, а теперь, когда ты приехал, после такого долгого отсутствия...

— Так-то оно так, — говорил недоверчиво Герман, — но мне что-то не верится, что это я мог быть причиной такой радости и такой неожиданной перемены. Ну, говори правду, какая же здесь причина?

Он усмехнулся, глядя ей в лицо. Она тоже улыбнулась.

— Причина? Или ты одурел? Какая же может быть причина?

— Готлиб явился?

— И-и-и, что ты? Готлиб?.. Мой бедный Готлиб! — И на ее лице снова появилась плаксивая гримаса. — Если бы он появился, не такая была бы я!

— Ну, так что же с тобой? Радость светится в твоих глазах, слез и следа нет на лице. Что там ни говори, а это что-нибудь да значит.

— Иди, глупый, иди, это тебе кажется только! — Ривка ударила его веером по плечу и, усмехнувшись, пошла в свою спальню и запер-

ла за собой дверь. Герман сидел-сидел, удивлялся, терялся в догадках и, плюнув, наконец, пробормотал: «Что за бабья манера!»

Затем встал, походил немного по комнате и принялся за свои бориславские дела.

Ривка, придя в спальню, также прошла несколько раз по ней взад-вперед, открыла окно и тяжело перевела дух, словно от сильной усталости. Ее сердце билось часто, на лице выступил еще более яркий румянец, когда она вытащила из-за корсета небольшое, небрежно сложенное и запечатанное письмо. Как раз сегодня, перед приездом Германа, она получила его через посланца — маленького трубочиста, который приходил будто бы спросить, не нужно ли чистить трубы, и незаметно сунул ей в руку почерневшее от сажи письмо. Она до сих пор не имела времени прочитывать его, но одно то, что письмо было от Готлиба, — трубочист был его постоянным посланцем, — радовало ее, а нетерпеливое желание узнать, что пишет Готлиб, так и подмывало ее, когда она сидела и разговаривала с Германом.

— Фу, хорошо, что я отделалась от него! Вот горе мое, не могу ничего скрыть на лице, такая натура поганая. Сразу старый чорт догадался. Но погоди, чорта с два ты от меня узнаешь правду!.. — Она села затем на кушетку, распечатала письмо и начала читать, медленно разбирая по складам неуклюжие, небрежно нацарапанные буквы.

После отъезда Германа во Львов для Ривки действительно началась новая жизнь. Неожиданное возвращение сына, да еще таким необычайным способом, подействовало на нее подобно заряду электрической батареи. Словно обез-

умев от радости, она бегала после ухода Готлиба по комнатам, машинально и бесцельно переставляла кресла и столы, целовала портрет Готлиба, рисованный в его школьные годы, и еле-еле утихомирилась. Но, хотя наружно она и успокоилась, внутри у нее попрежнему все кипело и клокотало, кровь текла быстрее, ее разбуженная фантазия носилась и кружила быстролетной ласточкой, стараясь разгадать, где-то теперь ее сын, что он делает, когда и как можно увидаться с ним. День за днем тянулось напряженное ожидание. Она волновалась, ломая голову, где бы раздобыть для Готлиба деньги, радовалась, когда он иногда в своем наряде угольщика забегал к ней, расспрашивала его, как он живет и что делает, но Готлиб от таких вопросов отделивался всегда двумя-тремя словами, угрожая и требуя, чтобы она не говорила о нем отцу и никому другому и чтобы доставала для него деньги. И в этом непрерывном напряжении и возбуждении нашла она то, чего недоставало ей до сих пор: нашла занятие, нашла неисчерпаемую тему для размышлений — и ожила, похорошела.

Частенько Готлиб, вместо того чтобы притти самому, присылал записки. Эти записки, короткие и бессвязные, были новым предметом занятий и размышлений для Ривки. Они тем дороже были для нее, что написанное слово оставалось на бумаге, было постоянно как бы живое перед ней, она могла читать и перечитывать письма Готлиба тысячу раз и всегда находила в них, чем любоваться. Эти письма она получала и читала с таким трепетом, с таким волнением, с каким молодецкие девушки получают и читают любовные письма. Потреб-

ность любви и сильных переживаний, неудовлетворенная в молодые годы и развитая почти до нервной горячки последующей жизнью в довольстве и без дела, хлынула теперь, словно долго сдерживаемый поток, который, наконец, сумел прорвать плотину.

«Что-то он пишет, голубчик мой?» — шептала Ривка, развернув письмо и упиваясь сладостным ожиданием. Затем она начала вполголоса читать, запинаясь и с трудом разбирая слова:

«Мамуся! Денег у меня еще достаточно, понадобятся лишь на следующей неделе. Но не об этом я хотел бы сегодня вам написать. Слышал я, что отец должен скоро приехать. Помните, не проговоритесь, потому что я готов наделать большой беды. Но и не об этом хотел бы я вам сегодня написать. Расскажу вам что-то интересное. Времени теперь имею достаточно, хожу себе, куда хочу, улицами, полями. Знаете, недавно увидел я на прогулке девушку, — сколько живу, не видал такой. Еще не знаю, чья она. Куда бы она ни шла, я шел следом за ней, я весь дрожал, как в лихорадке. И вдруг на повороте исчезла, — несколько домов больших и богатых рядом, не знаю, в который она вошла. С той поры сам не знаю, что со мною случилось. Хожу сам не свой, все она мне мерещится — и во сне и на яву. Я уж решил, как только увижу ее снова, подойти прямо к ней и спросить, чья она, но до сих пор еще не удалось мне видеть ее второй раз. Все хожу по той улице, на которой она пропала у меня из виду, заглядываю во все окна, но все напрасно — не показывается. Если бы я хотя знал, в каком доме она живет, я спросил бы сторожа или кого-нибудь. Но я не отступаю, я должен узнать,

кто она, потому что с первого раза, когда я ее увидел, я почувствовал, что не могу жить без нее. Да, мамуся, она должна быть моей, кто бы она ни была! Как только разужнаю, сейчас же напишу вам».

Какое впечатление произвело это письмо на Ривку, ни словами рассказать, ни пером описать нельзя. Она вся задрожала, словно в лихорадке. Впервые в жизни она получила письмо, в котором речь шла о чувстве, о любви, и была ясно, хотя и в грубой форме, выражена любовь глубокая и живая, может быть, не слишком платоническая, но зато сильная и слепая, а такая любовь больше всего должна была импонировать Ривке, малообразованной, нервной и чувственной, Ривке, которая в своей жизни никакой любви не знала. Как хотела бы она теперь видеть своего Готлиба, крепко-крепко прижать его к сердцу, следить за каждым его шагом, жить его мыслями, гореть его чувством. Он любит! И с нею первой поделился тайной своего сердца! С тех пор как она узнала об этом, она вдвое сильнее полюбила Готлиба, именно за то, что он любит. Правда, если бы здесь, возле нее, находилась и жила эта девушка и со своей стороны любила его, Ривка непременно возненавидела бы ее, отравила бы ей жизнь за ее любовь!..

Проходил день за днем лихорадочного ожидания. Ривка с превеликим трудом сдерживалась, чтобы не выдать Герману жгучей тайны. На ее счастье, через три дня Герман выехал в Борислав, где должен был пробыть два дня. Оставшись одна, Ривка почувствовала в доме какую-то тесноту, какую-то духоту, — ее кровь, словно кипяток, бурлила в жилах. Она вышла

из дому. Стоял летний жаркий день. Огромный сад за домом так и манил к себе упоительной прохладой, темной зеленью, живым ароматом и легким, таинственным шопотом листвы. Она невольно направилась туда. Садовники как раз в это время обрывали вишни и крупную спелую смородину. Два мальчугана с корзинками в руках стояли на тонких вишневых сучьях, одной рукой придерживаясь за ветви, а другой срывая спелые вишни. А старый садовник собирал в большую корзину смородину, примостившись возле развесистого куста и поднимая ветку за веткой. Мальчуганы на дереве смеялись, шутили и разговаривали, а старик мурлыкал тихонько какую-то песню. Увидев барыню, он подошел к ней с поклоном, пожаловался, что вишни в этом году не уродились, но зато смородина хороша и к тому же в цене. Он отобрал несколько пригоршней самой спелой смородины, крупной, как чернослив, и попросил Ривку отведать. Она взяла ее в платочек. Тем временем мальчуганы слезли с дерева с полными корзинками. Спелые, сочные ягоды блестели на солнце, как драгоценные камни; сквозь их тоненькую прозрачную кожицу просвечивало солнце, играло и переливалось в червонном, винном настое, словно вишни были налиты кровью. Мальчики нарвали темнозеленых вишневых листьев, выстелили ими дно небольшого ящика и осторожно начали складывать в него вишни. Ривка стояла и глядела, впитывая в себя всеми порами тела приятную прохладу, сладостную сырость и свежесть сада и упоительный аромат только что сорванных вишен. Ей было хорошо и от-
радно, как никогда. Она молчала.

И вдруг тихо-тихо, словно украдкой, скрип-

нула калитка, ведущая в сад со двора. Ривка оглянулась. Маленький, с измазанным лицом трубочист стоял в калитке, взглядом звал ее к себе. Она скорее полетела, чем пошла к нему.

— Пани, здесь для вас письмо! — шепнул трубочист. Ривка с большою, нежели обычно, дрожью взяла помятый, незапечатанный конверт. Трубочист пустился было бежать прочь.

— Постой, постой, — закричала Ривка, и когда тот вернулся, высыпала ему в шапку полученную от садовника смородину. Трубочист, обрадованный, побежал, жуя и глотая смородину, а Ривка пошла в свою спальню, дрожа всем телом, с громко бьющимся сердцем, заперлась, села на кушетку, отдышалась, чтобы успокоиться, и начала читать:

«Я видел ее! Господи, что за краса, что за лицо, что за очи! Меня тянуло к ней, я не мог сдержать себя. Она ехала в бричке куда-то на Задворное предместье, я встретился с нею неожиданно. И я сразу словно обезумел, да, обезумел. Я бросился прямо к коням, зачем, для чего — и сам не знаю. Я, кажется, хотел остановить бричку, чтобы расспросить ее, кто она. Но кони испугались меня и шарахнулись в сторону. Она вскрикнула, посмотрела на меня и побледнела. А я, уцепившись за бричку, волочился по дороге, по камням. Я не чувствовал боли в ногах, а только смотрел на нее. «Я люблю тебя! Кто ты?» — крикнул я ей. Но вдруг обернулся кучер и ударил меня кнутовищем по голове так сильно, что я от боли отпустил бричку и упал посреди дороги. Бричка прогрохотала дальше. Она снова вскрикнула, оглянулась, — больше ничего не помню. Я, правда, вскочил еще на ноги, чтобы бежать за нею, но

сделал только два шага—и снова упал. Мои ноги были изранены камнями, с них текла кровь, голова болела и опухла, — я чуть было не потерял сознания. Подошла женщина, дала мне воды, перевязала ноги, и я потащился домой. Лежу, и пишу тебе. Достань на завтра и передай через трубочиста немного денег, десять ренских,— слышишь? Теперь возле меня чужие люди, могут догадаться»...

Ривка, не дочитав до конца, упала без сознания на кушетку.

VI

Это было вечером. Матий и Бенедя, возвратясь с работы, сидели молча в избе при тусклом свете небольшого ночника, в котором горел, шипел и трещал неочищенный бориславский воск. Бенедя всматривался в лежавший перед ним план, а Матий, сидя на маленьком табурете, чинил свои постолы. Матий с того вечера, когда Мортко сказал ему, что «их дело кончено», был молчалив, словно пришибленный. Бенедя хотя и не знал точно, что это за дело, все же очень жалел Матия и рад был помочь ему, но вместе с тем боялся расспрашивать его, чтобы не разбередить в нем то, что наболело.

Скрипнула дверь, и в избу вошел Андрусь Басараб.

— Дай боже час добрый, — сказал он.

— Дай боже здоровья! — ответил Матий, не поднимаясь с места и затягивая дратву.

Андрусь сел на лавке у окна и молчал, озираясь вокруг. Очевидно, он не знал, с чего начать разговор. Затем обратился к Бенедю:

— А что у тебя, побратим, слышно?

— Да вот, дело идет, — ответил Бенедя.

— Везет тебе что-то в нашем Бориславе, — сказал немного колко Андрусь. — Слышал я, слышал. Ты теперь большие деньги берешь на своей работе!

— По три ренских в день. Не слишком много для мастера, но для бедного помощника каменщика действительно достаточно. Надо будет кое-что послать матери, а остальное... ну да пусть уж об остальном поговорим после, когда все соберемся. Я думал сегодня о нашей доле...

— Ну, и что же вы надумали? — спросил Андрусь.

— Будем говорить об этом на собрании. А теперь постараемся как-нибудь развеселить побратима Матия, смотрите, какой он стал нынче! Я уж и сам хотел поговорить с ним, да, как видите, еще очень мало его знаю...

— А я, собственно, за тем и пришел, — сказал Андрусь. — Побратим Матий, пора бы тебе рассказать нам, что за дело у тебя было с Мортком и почему оно тебя так беспокоит?

— Э-э, да что там рассказывать? — неохотно ответил Матий. — К чему говорить, если дело окончено? Теперь бесполезно говорить — не можешь.

— Да кто знает, кто знает, окончено ли? — сказал Бенедя. — Говорите же, все-таки три головы скорее что-нибудь придумают, чем одна. Может быть, можно еще горю пособить. А если уж и на самом деле все пропало, то, даст бог, вам будет легче, если поделитесь с нами своим горем.

— Конечно, конечно, и я так говорю, — под-

твердил Андрусь. — Ведь один человек дурень по сравнению с миром, обществом.

— Ой, верно, верно, побратим Андрусь, — ответил печально Матий, отложив в сторону оконченную работу и закулив трубку, — может, оттого и все зло, что человек дурень: привяжется к другому, а затем и мучается не только своим горем, но и горем ближнего! Да еще, правду тебе скажу, чужое горе сильнее терзает, чем свое. Так и у меня. Пускай будет по-вашему, расскажу вам, что за история со мной приключилась и какое у меня дело с Мортком.

Это было лет четырнадцать тому назад. Ровно пять лет спустя после моего прихода в этот проклятый Борислав. В то время здесь еще было все по-иному. Шахты только что появлялись, все вокруг еще похоже было на село, хотя и тогда уже напоззло сюда разных пришлых людей, словно червей на падаль. То-то пекло здесь было, голубок, сущее пекло, даже вспомнить больно.

«Зайды»¹ увивались и гомонили возле каждой хаты, ластились, словно псы, к каждому хозяину, силком тащили в шинки, а то и прямо в хатах спаивали людей, по кусочку выдуривая землю. Чего я только не насмотрелся в ту пору, даже вспоминать больно! А как только собачьи дети обманут человека, высосут из него все, что можно высосать, — тогда на него же и набра-

¹ З а й д а — пришлый, захожий человек. Как только в Западной Украине была обнаружена нефть, в Борислав и Дрогобыч, в погоне за легкой наживой, хлынули стаи авантюристов, мелких и крупных хищников. Местное трудовое население прозвало их «зайдами».

сываются! Тогда он и пьяница, и лодырь, и хам, тогда его и из корчмы вышвыривают и из собственной хаты выгоняют. Страшно вспомнить, как издевались над людьми!

Вот иду я однажды утром на работу, — смотрю: улица полна людей, все сбились в кучу, шумят о чем-то, в толпе крик и плач, а рядом в небольшой, крытой соломой хате зайды уже хозяйничают, как у себя дома, вышвыривают на улицу все: миски, горшки, полки, сундук...

— Что здесь такое? — спрашиваю.

— Да вот, — отвечает один человек, — до чего довели проклятые бедного Максима. Обстоятельный был газда¹, что и говорить, а какой приветливый, обходительный...

— Ну, и что же с ним случилось?

— А ты не видишь разве? — отвечает человек. — Выдурили у него землю, скот прожил, а нынче вот пришли да и выгнали его из хаты: говорят, что она теперь ихняя, что они ее купили. Максим крик поднял, а им хоть бы что. Он бросился в драку, а они, как грачи, слетелись в одну минуту да и давай бить бедного Максима! Поднялся крик, начали сбегаться и наши люди и едва вырвали Максима из вражьих рук. А он, окровавленный, страшный, как закричит: «Люди добрые, вы видите, что тут делается! Чего стоите? Вы думаете, что это они со мной только так? И с вами будет то же самое! Идите, берите, что у кого есть — топоры, цепи, косы, берите и гоните этих мерзавцев из села. Они вас съедят живьем, как меня съели!» Люди смотрят на него, стоят, переговариваются... Вдруг

¹ Газда — хозяин.

один зайда, — тот, который только что выглядывал из окна, схватил камень да и трах Максима по голове. Тот, с места не сойдя, запрокинулся, только захрипел: «Люди добрые, не дайте моему дитю погибнуть! Я умираю!»

Я не дослушал до конца и начал протискиваться в самую гущу. Посреди улицы лежал мужчина, лет сорока, в изорванной рубашке, окровавленный, посинелый. Из головы его еще текла кровь. К нему припала и жалобно причитала маленькая девочка. У меня мороз подрал по коже, когда я увидел это, а люди обступили их, стоят стеной, кричат, но никто с места не трогается. А Максимову хату обступили зайды, даже почернело все кругом, шум и галдеж такой, что и слова собственного не слышно.

Я стою, как столб, смотрю туда-сюда, не знаю, что делать. Как вдруг вижу — из окна высунулся тот самый зайда, который убил Максима, видно, осмелел и кричит поганец:

— Так ему и надо, пьянице! Так ему и надо! А вы чего здесь стоите, свиньи? Марш по домам все!

Кровь во мне закипела.

— Люди, — заревел я не своим голосом, — или вы деревянные, или с ума посходили? Человека убили у вас на глазах, да еще и смеются, а вы стоите, и хоть бы что? Чтoб вас гром божий поубивал! Бей злодеев!

— Бей! — заревели в эту минуту со всех сторон так, что земля задрожала. — Бей злодеев, кровососов!

Словно искра в солому попала. В одну минуту весь свет, казалось, стал другим. Я еще и

оглянуться не успел, а уже целая куча камней посыпалась на супостатов. Я увидел, как убийца Максима, тот, который торчал в окне, вдруг подпрыгнул, схватился за голову руками, скорчился, вскрикнул и шлепнулся наземь. Больше я не видел, не слышал ничего. Крик, шум поднялся такой, словно судный день настал. Люди ревели от ярости, задние напирали на передних, хватали, что под руку попало — колья из заборов, жерди, поленья, камни — и громили чужаков. Поднялся такой крик и шум, словно вся бориславская котловина сквозь землю проваливается. Часть чужаков разлетелась как пыль. Но некоторые заперлись в хате Максима. В окно видно было, что у них в руках топоры, лопаты, вилы, — похватали, что могли. Однако, видя, что народ, словно ревуший поток, окружает хату, они перестали кричать, как будто окаменели от страха. Народ ринулся к двери, к окнам, к стенам. Затрещали доски, бревна, зазвенели стекла, — стук, крик, визг, и вдруг страшный грохот, туча пыли... Народ на куски разметал стены, потолок рухнул, облако пыли скрыло это страшное позорище.

Но у меня в это время было иное на уме. Видя, как народ, словно зверь, напирает на чужаков, я схватил маленькую девочку, Максимову сироту, на руки и незаметно начал пробираться сквозь толпу. С трудом выбрался я на свободу, как раз в ту минуту, когда рухнула хата. Я бежал домой огородами, боясь, как бы разъяренные зайды не перехватили меня по дороге. Очувтившись, наконец, в своей хате, я запер дверь и, положив обомлевшую девочку на топчан, начал приводить ее в чувство. Долго я не мог

добудиться ее, уже подумал, что и ее оглушил какой-нибудь камень. Но бог миловал, девочка очнулась, и я так обрадовался этому, словно это мой собственный ребенок ожил предо мною.

Матий замолк на минуту. Трубка погасла в его зубах, и на лицо, оживленное и воспламененное во время рассказа, начала медленно набегать прежняя, мрачная и безнадежная туча. Спустя минуту он продолжал:

— Хлопоча возле ребенка, я совсем забыл о побоище и лишь после узнал, что оно окончилось ничем. Развалив Максимову хату, люди словно сами себя испугались и рассыпались каждый в свою сторону. Зайды, также перепуганные, не показывались из своих нор, и только к вечеру наиболее смелые из них повылазили, начали осматриваться. Подошли к хате Максима, а там что-то пищит. Разрывают развалины, видят — три зайды неживые, а пятеро искалечены. Кончено. Приезжала, правда, комиссия, забрали было несколько человек, так, наугад, да и выпускали вскоре на волю.

А Марта осталась у меня. У честных бориславцев, видно, хватало своих дел, и они не вмешивались в дела бедной сироты. Лишь иногда какая-нибудь женщина приносила ей поесть, стирала рваную сорочку, штопала, вот и все. Ей было тогда двенадцать лет. Нельзя сказать, чтобы красавица, но умная была девочка, а уж какая сердечная, словно родная. Вначале плакала об отце, ну, а после сама видит, — ничего не поделаешь. Привыкла. И уж так привязалась ко мне, как к отцу родному. Ну, и я тоже, что и говорить, берег ее пуще глаза, так она мне стала дорога и мила. Иной раз, бывало,

рипники смеются надо мной, спрашивают, когда будет свадьба или, может, крестины раньше будут, но я на это не обращал внимания. Пусть себе говорят, пусть!

Росла эта девочка у меня, помогай ей боже, тихо и ладно. Хотя я и простой рипник, бывший пастух общественный, но, знаете, немало горя узнал на своем веку. А горе — великая школа. Вот и думаю себе: авось, хоть она, даст бог, будет счастливее. Берег я ее. — ни работы тяжелой, ни слова дурного... Шить научилась, не знаю, где и когда, да так хорошо, что диво. Бывало, бабы так и несут к ней все, а она целыми днями сидит в хате, работает. Да разве только в этом, — во всем она мастерица, во всяком деле. И поговорить, и пошутить, и умный совет дать, во всем...

Спознался с ней один парубок, здешний, бориславский, такой же сирота несчастный, как и она. Рипник, рабочий, Иваном Пивтораком звался, — да ты, Андрусь, знал его хорошо... Начал ходить. Вижу я, что дивчина льнет к нему, расспрашиваю, разведываю про Ивана, говорят: что же, бедный, а впрочем, парень честный, работающий, умный.

Как-то раз в воскресенье пришел он к нам, думал, что Марта дома, а Марты не было, куда-то вышла. Хочет он уходить, а я кричу: «Что же ты? Постой, Иван, я тебе сказать что-то хочу». Остановился он, зарумянился слегка, затем сел на лавку.

— Ну, что там такое? Говорите!

Сижу я, молчу и посматриваю на него. Не знаю, с чего бы это начать, чтобы вроде и просто с моста и чтобы чем-нибудь не обидеть хлопца.

— Как ты, — говорю, — Иване, думаешь? Марта наша ничего себе дивчина?

— А вам какое дело до того, как я думаю? — отрезал он, а сам еще пуше загорелся.

«Эге, — думаю я про себя, — с тобой надо быть построже, если ты так режешь».

— Ну, — говорю, — мне-то до этого мало дела, да тебя-то она, вижу, за живое задела, га? А ты, может быть, знаешь, что у нее отца нет, и я для нее теперь и отец и опекун, и сват и брат. Понимаешь? Если бы я только заметил что-нибудь, знаешь, не того... то не забывай, что я за человек! Со мной шутки плохи!

Иван даже задрожал от этих слов.

— А пускай же вам, — говорит, — пусто будет! Где это видано... грозить, а не знать, за что и про что? И кто это вам набрежал, что у меня недоброе на уме? Не бойтесь, Матию, — говорит он затем так важно, степенно, — я хоть и молодой, а тоже знаю немного, как и что должно быть. Мы сегодня с Мартой должны были уговориться, как и что делать, а потом уже и к вам, как к опекуну, притти за советом и благословением.

— Ну, смотри же у меня! — проговорил я, а сам почувствовал, как в голове моей все смешалось и слезы брызнули из глаз... Тьфу, ну и дурень же я, больше ничего...

Ну, хорошо. Сделали мы заручины¹, поженились они. У Ивана после отца каким-то чудом уцелел вот этот кусок земли. Скажу только, что в тот же год, весной, выстроил он, вроде как со мной вместе, вот эту хату, да здесь вдвоем и начали они жить. Правда, никакого хо-

¹ З а р у ч и н ы — обручение.

зайства тут нельзя было завести, на этой голо-
тече, но Марта вначале зарабатывала то
шитьем, то пряжей, а после, когда и это-
го не стало хватать, пришлось и ей, бедняж-
ке, итти работать на промысла. А как же ина-
че? Я ушел от них, жил отдельно, но когда
только мог чем-нибудь помочь им, помогал, —
известно, привык человек, сжился...

— Как-то раз, месяца два спустя, встречает
меня Иван да и говорит:

— А знаете, — говорит, — Матий, что мы с
Мартой надумали? Мне хочется знать, что вы
на это скажете.

— Ну, что надумали? — говорю. — Расска-
зывай, что?

— А вот что. Мы хотим с этого дня начать
откладывать кое-что из заработанных денег.
Знаете, лето наступает, авось немного лучше
будут платить. Вот мы и решили скопить не-
много денег, хоть и тяжеленько придется, хоть
и придется, как говорится, ремень на великопо-
стную пряжку подтянуть, да зато можно будет...
Знаете, в Тустановичах человек один продает
кусок земли и хату, я уже говорил с ним. «Про-
дам, — говорит. — Давайте двести пятьдесят
ренских». Земля хорошая, за двести отдал бы.
А я бы свою собачью конуру с этим клочком
земли продал, вот уже и было бы пятьдесят
ренских. Как вы думаете?

— Ну, что же, — говорю я, — если так,
пусть будет так. Дай вам боже счастье! Оно и
верно, что не плохо было бы вам вырваться из
этой проклятой ямы.

— Ба, — говорит Иван, — это еще не все.
Мне сдается, что нам двоим до осени трудно
собрать двести ренских, на это ушло бы года

два. А если втроем, как вы думаете, может быть, оно скорее будет?

Я вытаращил на него глаза.

— Ну, — говорит он, — что вы так смотрите на меня? Тут дело простое: присоединяйтесь и вы к нам. Переходите жить в нашу хату, не нужно будет платить за квартиру, да и на еду у нас меньше уйдет. Будем вместе действовать, авось соберем хоть сколько-нибудь.

Вижу я, что хлопец правильно говорит, а тут еще и самого меня охота взяла вырваться из этой западни, а главное — им помочь, чем только можно. Согласился я на все.

Начали мы действовать. Все шло хорошо, радовались мы, что вот-вот заживем своим домком. Иван вьюном вертится, и туда и сюда, — рад бы птицей вылететь из Борислава.

Работы в тот год было много, денег у нас собралось порядочно, хватило бы и на землю и еще кое-что осталось бы на обзаведение. «Господи! — говорит, бывало, Иван. — Скорей бы конец!» Но неизвестно, то ли бог не судил ему, бедному, дожидаться окончания этого дела, то ли злые люди не дали!..

Глупость одну мы сделали. Работали, а деньги у хозяина оставляли. Пускай, говорим, у него лежат, в его кассе им спокойней, чем у нас за пазухой, а раз в книжке они за нами записаны, то и сам чорт их оттуда не выскребет. Так мы и сделали, — брали только иногда какую-нибудь мелочь, лишь бы кое-как перебиться.

Вот уж и лето прошло, и осень, и зима, вот уж и пасха скоро. После пасхи должны были мы выбраться из Борислава. В вербное воскресенье пошел Иван в Тустановичи, чтобы закончить сделку, дать тому человеку задаток.

Остальные деньги он должен был выплатить после, когда мы переедем уже в Тустановичи. Пошел мой Иван. Смеркается, — нет Ивана. «Ну, ничего, — думаем мы, — может быть, могарыч пропивают, либо еще что»... Однако Марта весь день какая-то беспокойная, ходит, нудит, отчего — и сама не знает. Ночь прошла, — нет Ивана. На работу приходим — нет его и там. Надсмотрщик Мортко спрашивает меня, где он. Я ему рассказал все, а он еще кричать начал: — Вот бродяга, напился где-нибудь, да и спит, а на работу не идет!

Раздумываю я и так и сяк, где Иван может быть? Вечером после работы прихожу домой — нету. Ну, думаю, пойду по шинкам, поищу порасспрошу. Захожу в главный шинок — там полно рипников; заметил я среди них и Мортка, но кто именно был там из знакомых рипников, того не помню. А какие-то незнакомые люди, будто бы совсем пьяные, стоят посредине хаты и поют: один святовечернюю¹, другой страсти², третий плясовую, а четвертый думку³, еще и меня спрашивают, хорошо ли получается.

— Идите вы к чорту! — закричал я на них. — Там у вас как раз получится!

Они ко мне. Уцепились, один за руку, другой за полу, требуют горелки. С горя хватил я чарку. Они хохочут, другую наливают. Боже сохрани отказываться. А тут вижу, Мортко все подмигивает им: мол, не выпускайте из рук!

¹ С в я т - в е ч е р — канун рождества, сочельник.

² С т р а с т и — вечернее богослужение в страстной четверг.

³ Д у м к а — лирическая песня (элегического характера).

Выпил я еще чарку. Зашумело у меня в голове, ходуном все заходило: и хата, и люди. Помню только, что вошли в шинок два знакомых рипника, я с ними здоровался и угощался, но как я ни мучил потом свою глупую старую голову, а до сих пор не могу вспомнить, кто же это были такие.

— А разве тебе это непременно надо знать? — прервал его рассказ Андрусь.

— Ах, еще бы! Мне, глупому, сдается, что через это я и все дело проиграл!

— Что? Через это? Каким же это образом?

— А вот послушай! Я только теперь, когда время ушло, когда начал припоминать все до капельки, что и как тогда было, — только теперь вспомнил, что были там знакомые люди, да вот не помню, кто. Если бы дознаться, вот и были бы теперь свидетели.

— Свидетели! Зачем? Для чего?

— Слушай же! Пью я, в шинке крик, гам, и вдруг рядом за перегородкой, в боковушке, кто-то застучал стаканом. Мой Мортко в тот же миг юркнул за перегородку. Слышу, разговаривают там. Мортко тихонько, кто-то другой громко. Что за чорт! Какой-то знакомый голос, совсем как у Ивана! Видно, пьяный, язык заплетается, но голос его. Я бросился к двери боковушки и нечаянно толкнул одного из тех, что меня угощали. Тот грохнулся на землю. Остальные подскочили ко мне.

— Ого-го, сват, ого! — режут. — Что это ты людей толкаешь да с ног валишь? А?

— Да я нечаянно!

— Эге, нечаянно! — хрипит один из них. — Знаем мы таких!

В эту минуту отворилась дверь боковушки, и

в двери показался, — готов хоть сейчас присягнуть, — что в двери показался мой Иван, держа за дверной косяк... За ним стоял Мортко и держал его за плечи. Я снова рванулся к нему. Но в ту же минуту он исчез, дверь закрылась, а один рипник схватил меня за грудь.

— Берегись, сват, я тебе нечаянно между глаз заеду, — крикнул он, и так хватил меня по голове, что у меня искры из глаз посыпались и в голове все перемешалось. Помню только, что одному из них я вцепился в волосы и что остальные налетели на меня, как разбойники, и сбили с ног. Ясное дело, что их подговорил кто-то: ведь я их не знал, не видал никогда и ничего плохого им не сделал. Что затем было со мной, куда девался Иван, куда девались те два знакомых рипника, не помню. Все померкло в моей голове.

Я проснулся дома, в постели. Марта сидит возле меня и плачет.

— Ну что, где Иван? — был мой первый вопрос.

— Нету.

— Но, может быть, он приходил домой?

— Не приходил.

Смотрю я, она такая взволнованная, исхудавшая, кожа да кости. Что за несчастье?

— Но ведь я, — говорю, — вчера вечером видел его.

Она усмехнулась сквозь слезы и покачала головой.

— Нет, — говорит, — вы вчера вечером никак не могли его видеть. Вы вчера вечером лежали тут без памяти.

— Но разве сегодня не вторник?

— Нет, сегодня уже пятница. Вы от самого

понедельника с ночи лежите вот тут, как мертвый, в горячке и в бреду.

— А Ивана не было с тех пор?

— Не было. Куда я только ни ходила, кого только ни спрашивала, никто не знает, где он и что с ним.

— Но ведь я его в понедельник видел в шинке.

Марта ничего не ответила на это, только пожала плечами и заплакала. Верно, бедняжка, подумала, что это мне с перепою пригрезилось.

— Но ведь я его ясно видел своими глазами, чтобы мне так свет божий видеть.

— О, если бы Иван был в тот вечер в Бориславе, он пришел бы домой, — сказала Марта.

— Вот это-то мне и странно. А в Тустановичах он был, не знаешь?

— Был. Я расспрашивала тустановичских парубков. Был, говорят, сторговал поле и хату, а вечером могоарычи пили, там и заночевал, а в понедельник пошел перед полуднем в Борислав, чтобы забрать у хозяина деньги. Вот и все, что я могла узнать.

Меня словно громом поразило. Как я ни был слаб и избит, нужно было вставать, итти узнавать, искать. Только что с того?

— А ты не знаешь, — спрашиваю Марту, — отдал он задаток за землю в Тустановичах?

— Не знаю.

— Га, значит, надо пойти к хозяину, спросить, получил ли он оттуда деньги. К тому же сегодня выплата. Если он получил деньги, то, может быть, пошел с ними назад в Тустановичи, либо в Дрогобыч.

Пошли мы вдвоем в контору Германа Гольдкремера, мы у него работали. Спрашиваем.

Достал он книжку... «Получил ваш Иван Пивторак деньги». — Когда? — «В понедельник вечером». Вот тебе на! Поплелся я в Тустановичи, спрашиваю. Задатка не давал, с понедельника не был, хоть и обещал, что придет не позже, как во вторник после обеда. Удивляются, в чем дело? Раздумали, или что? Я рассказываю, что деньги у хозяина забраны и что ни денег нет, ни Ивана. Никто ничего не знает.

Пошел я в Дрогобыч, спрашиваю у знакомых. Никто не видел Ивана. Пропал, бедняга. Как в воду канул. Спрашиваю Мортка, куда он исчез из шинка и что там делал. «Нет, — говорит, — неправда это, я и в глаза не видал Ивана. Ты, — говорит, — пьян был, в драке тебе собственная бабушка представилась, а тебе показалось, что это Иван». Начинаю узнавать, кто тогда был в шинке, что это были за люди, что меня били. Эге, как бы не так, словно сам чорт слизнул их следы! На том деле и кончилось!

Ну, какая у нас пасха была, о том и говорить не приходится. Сколько бедная Марта слез пролила, господи! Всякая надежда пропала. Прошел месяц, другой, об Иване ни слуху, ни послуху. Вскоре слышим—кое-кто из рипников посмеивается, пошучивает: «Ловкий парень этот Пивторак: деньги забрал, женку оставил, а сам — куда глаза глядят!»

Вначале говорили это в шутку, а после некоторые начали и всерьез повторять. Я спрашиваю: кто слышал? кто видел? Неизвестно. Тот говорит: Микола видел. Микола говорит: Проть мне сказал. Проть говорит: Семен от кого-то слышал. Семен не помнит, от

кого слышал, но сдается ему, что от Мортка, надсмотрщика. А Мортко все отрицает и всем в глаза плюет.

Как вдруг через два года, в прошлом году весной, достали из одной старой шахты кости. Узнали мы по колечку на пальце да по кожаной сумке на поясе, что это был Иван. Сумка была пуста, очевидно, ножом разрезана. Застряла у меня тогда в голове мысль и до сих пор меня не покидает. Нехорошая мысль, очень грешная, если несправедливая. Прикинул я все в уме и говорю себе: это никто, как Мортко сначала подпоил Ивана, подговорил каких-то людей, чтобы меня довели до беспмятства и избили, а затем ограбил его, бедного, и бросил в шахту. Начал я снова расспрашивать повсюду, а когда спустя два дня приехала комиссия осматривать кости, пошел я и начал говорить все, как на исповеди. Паны слушали, слушали, записали все в протокол, вызывали кое-кого: Мортка, Иваниху, шинкаря, снова писали протоколы, а затем взяли да и арестовали меня. Я не знал, что со мной хотят делать, зачем меня тащат в Дрогобыч; впрочем, думаю про себя: «Что же! Может быть, так и надо». Радуюсь, дурень, своей беде. Продержали меня около месяца, вызвали два раза на допрос, а потом выпустили. Прихожу я домой. Что слышно? Ничего. Вызывали еще раз Мортка, Иваниху, из Тустанович троих. Говорят, что передали все в Самбор, в высший суд. Ну, и этот суд тянется уже больше года, а ему еще и конца нет. Эх, и натолкался я за это время по всяким панам! В Самборе был раза два, а в Дрогобыче сколько!.. Адвокату что-то около пятнадцати ренских дал.

«Так что, — говорит он, — возможно, миляга, что этот вор Мортко прибрал Ивана, а деньги себе взял. Но в суде надо доказать точно, обстоятельно, а всего того, о чем ты здесь говоришь, еще недостаточно. Ну, а впрочем, — говорит, — надо попробовать. Если какой-нибудь умный судья возьмет это дело в свои руки, то, может быть, докопается до чего-нибудь».

Ну, видно, не дскопался. Какой-то бестолковый и непонятливый этот самборский судья! Тьфу! Спрашивает о том, о сем, пятое через десятое, — видно, не знает, с какого конца взяться за это, а впрочем, кто его знает, может быть, и знает, да не хочет!..

А здесь, в Бориславе, затихло все, словно горшком кто прикрыл. Мортко вначале, как видно, страшно перепугался, ходил бледный, как смерть, меня и не замечал. Но после осмелел, начал смеяться надо мной и досаждал мне так, что я принужден был бросить работу у Гольдкремера и перейти вот сюда, к Гаммершлягу. Хотя они, разумеется, оба волчьей породы!.. Так Мортко и вышел сухим из воды. За ним, видите, стоит сам Гольдкремер, богач всесветный, — где бедному рипнику на него управу найти!.. А мы что! Иваниха бедная с ребенком — в прислугах, а я здесь — в этом пекле, и уж, видно, до гроба из него не вырвусь. Да и не этого мне жаль! Что там я! Меня другое мучает: что вот погиб человек, пропал ни за понюшку табака, а этому злодею хоть бы что, ходит себе и смеется! Меня то грызет, что для бедного рабочего нет правды на свете!

Матий умолк и, тяжело вздохнув, опустил голову. Андрусь и Бенедя тоже молчали, по-

давлённые этим простым, но таким безмерно тяжёлым рассказом.

— А ты знаешь, побратим Матий, что я тебе скажу? — сказал немного погодя Андрусь гневным, взволнованным голосом.

— Ну, что?

— То, что ты большой дурак, вот что.

Матий и Бенедя удивленно взглянули на него.

— Почему ты мне раньше не рассказал об этом?

— Почему не рассказал? — повторил неохотно Матий. — А зачем было говорить?

— Тьфу, сто чертей на такого дурня! — рассердился Андрусь. — Вести процес с зайдою, процесс, который, если его выиграть, мог бы послужить примером для бедных рипников, мог бы показать им, что нельзя безнаказанно обижать рабочего человека, — для того чтобы выиграть этот процесс, нужны свидетели, а он молчит себе, не кричит, не плачется во весь голос, а только втихомолку, в углу, в кулак себе бубнит, — ну, скажи мне, не глупо ли это?..

Матий задумался, и лицо его сделалось грустным.

— Эх-эх, двоих свидетелей! — сказал он. — Я же тебе, Андрусю, говорю, что только теперь вспомнил о тех двух свидетелях, только теперь, когда время упущено. Разве отыщет кто-нибудь теперь этих свидетелей?

— Я отыщу! — перебил его гневно Андрусь.

— Ты? — вскрикнули Матий и Бенедя.

— Да, я! Ведь это я со стариком Стасюрою видел тебя тогда в шинке.

— Ты? Со Стасюрой? Так это были вы?!—
вскрикнул Матий.

— Да, мы.

— И видели Ивана?

— Ну, как же не видеть, — видели.

— Пьяного?

— Пьяного.

— С Мортком?

— С Мортком. Когда началась драка, мы оба бросились было тебе на помощь, но старика Стасюру кто-то ударил так сильно, что он потерял сознание. Некогда мне было помогать тебе, я поднял старика и отнес в боковушку, где был Мортко с Иваном. Пока я приводил старика в чувство, Мортко все возле Ивана танцевал, все подсовывал ему то водку, то пиво, заговаривал ему зубы, чтобы он не говорил со мной, а затем потащил его куда-то за собой. С тех пор я больше не видел Ивана. А когда мы оба со Стасюрой вошли в шинок, ты лежал уже окровавленный, без памяти на полу. Я не мог отнести тебя домой, а попросил каких-то двух рипников, рассказал им, где ты живешь, а сам проводил Стасюру домой. Вот все, что я знаю. Но разве мог я святым духом знать, что это так важно для твоего дела?

— Господи боже, — даже вскрикнул Матий, — ведь это значит, что теперь можно было бы выиграть процесс!

— Кто знает, можно ли, — ответил Андрусь, — но все же надежды больше. Было бы хорошо, если бы мы отыскиали тех, которые дрались тогда с тобой! Ты, говоришь, видел, как Мортко их подстрекал?

— Присягнуть могу!

— Вот бы и зацепка была. От них можно

было бы узнать, подговаривал их Мортко или нет. А если подговаривал, то с какой целью?

Лицо Матия при этих словах все более и более прояснялось. Затем новая мысль снова затуманила его.

— Эх-эх, но как же найти их, этих рипников, которые тогда затеяли со мной драку? Я их совсем не знаю и не мог потом никогда узнать.

— И я их не знаю, да и не обратил на них тогда внимания. Но, может быть, Стасюра знает? Мне кажется, что с одним из них он разговаривал тогда.

— Господи боже! Снова бы огонь разгорелся! Были бы новые улики. Кто знает, что еще открыли бы эти рипники! Пойдем, Андрусю, идем к Стасюре!

Быстро оделся и обулся Матий, быстрыми и живыми стали его движения под влиянием нового проблеска надежды, словно вдруг десять лет свалились с его плеч. Так глубоко в сердце этого старого, с давних лет прибитого горем человека пустила корни любовь к единственно близкому ему человеку, так горячо желал он, чтобы правда о его загадочной смерти вышла на белый свет!

После ухода обоих побратимов Бенедя один остался в хате. Он сидел и думал. Не процесс занимал его во всем этом деле, хотя, разумеется, и процессу он желал благополучного исхода. Его больше всего занимал рассказ Матия о схватке рабочих с зайдами и о крике покойного Максима: «Выгоните кровососов из Борислава». А что, — думал он, — может быть, и в самом деле было бы хорошо, если бы выгнать кровопийц? Прежде всего: куда их вы-

гнать? Они пойдут в другие села, там начнется то же самое, что здесь делается. А во-вторых: они не уйдут с голыми руками, а заберут с собой деньги, которые награбили здесь, и в другом месте употребят их на то, на что и здесь употребляли. Нет, это не спасет рабочих людей!

Поздно ночью возвратился Матий домой. Он очень изменился: был веселый, разговорчивый. Их надежды на Стасюру оправдались. Одно-го из тех рипников, которые затеяли в шинке драку с Матием, Стасюра действительно знал, остальные были из того самого села, откуда и этот один, но все они вот уже три года не работают в Бориславе и занимаются крестьянством. Андрусь Басараб и Стасюра готовы были свидетельствовать в суде, и Матий решил завтра же итти в Дрогобыч к адвокату и посоветоваться с ним, что и как нужно делать.

— Ну, авось, теперь не уйдет этот злодюга Мортко! — говорил Матий. — Теперь мы ему и руки и ноги такими уликами скрутим, что он и не опомнится! Хотя как будто пан бог не велит желать другому лиха, но такому злодею, вижу, не грех желать не то что лиха, а и всякой гибели.

С этим благочестивым желанием Матий и ушел.

VII

Медленно, тяжелой поступью проходили однообразные рабочие дни в Бориславе. Бенедя целыми днями трудился на своей стройке, размечал планы строений, руководил рабочими, наблюдал за своевременной подвозкой кирпича,

камня, извести и всего необходимого и вместе с тем обращался с рабочими так по-братски, так сердечно и дружески, словно хотел на каждом шагу показать им, что он им равный, их брат, такой же бедный рабочий, как и все они, словно хотел, чтобы они простили его за то, что вот он не по своей воле стал над ними надсмотрщиком. А по вечерам, после работы, он не раз до поздней ночи бродил в глубокой задумчивости по болотистым улицам Борислава, заглядывал в грязные шинки, в тесные хаты и каморки, в которых жили рабочие, вступал в разговор со старыми и малыми и расспрашивал их об их житье и бедствиях. Тяжело становилось ему, когда он слушал их рассказы, когда видел вблизи нужду и беспросветность их жизни, но еще тяжелее становилось ему, когда он видел, как разбогатевшие за счет этой нужды и беспросветности эксплуататоры гордо разъезжают в роскошных экипажах, одеваются в дорогие платья и забрызгивают грязью темную, преклоненную толпу.

Медленно, тяжелой поступью проходили дни за днями, и жизнь рабочего люда в Бориславе становилась все тяжелее и тяжелее. Из дальних и близких мест, с гор и равнин, из сел и местечек изо дня в день сотни людей стекались в Борислав, словно пчелы в улей.

Работы! Работы! Какой-нибудь работы! Хотя бы самой тяжелой! Хотя бы самой дешевой! Лишь бы только с голоду не пропасть!—таков был всеобщий вопль, всеобщий стон, который тучей носился над головами тысяч иссохших, посиневших, изголодавшихся людей. Небо и землю словно запер кто-то на железный замок, единственная надежда мужиков-хле-

боробов сгорела вместе с их житом и овсом на порыжевших от жажды полосках. Скот погибал от бескормицы. Ничего другого не оставалось, как итти на заработки, а заработков как раз и не было в то время нигде в нашем Подгорьи — кроме Борислава. Вот и повалил туда бедный люд со всех сторон, хватаясь за эту последнюю надежду, как утопающий за соломинку. Небо и землю словно запер кто-то на железный замок, а бедняки думали, что бориславские богатеи будут поэтому более милостивыми и откроют перед ними ворота своих богатств!..

А бориславские богачи только того и ждали! Они давно тешили себя надеждой, что ужасный голод будет способствовать громадному росту их «гешефтов». И они не ошиблись! Дешевые и покорные работники текли к ним, со слезами просились на работу, хотя бы и за самую дешевую плату, и плата действительно пошла все более дешевая. А между тем хлеб все дорожал и дорожал, в Борислав подвозили его очень мало и очень неравномерно, и рабочее не раз, даже имея кое-какие гроши за пазухой, изнывали от голода. Было ясно, что тем, которые вновь прибывали, не становилось легче, а тем, которые постоянно жили в Бориславе, стало значительно хуже. Каждую неделю предприниматели урезывали им оплату, а недовольных смирляли насмешками, в один голос заявляя: «Не хочешь столько получать, так иди себе и подыхай с голоду, здесь на твое место десять просятся, да еще и за меньшую плату!»

Все это передумал Бенедя не раз и не два во время своих прогулок по Бориславу. «А что, —

думал он,—если бы все эти тысячи людей сговорились вдруг: не будем работать, пока нам плату не увеличат? Ведь, пожалуй, предприниматели не выдержали бы долго: у одного контракт срочный, у другого векселя не будут оплачены без продажи воска и нефти, — пришлось бы им уступить!» Его мысль, возбужденная бесконечными картинами бориславской нужды, крепко ухватилась за эту соломинку и не отпускала ее. Но чем подробнее разбирал он этот способ спасения, тем больше трудностей и непреодолимых препятствий он видел в нем. Как привести к такому согласию и единению всю эту огромную массу людей, когда каждый заботится только о себе, хлопочет только о том, как бы не умереть с голоду? А если бы и удалось это сделать, ведь опять-таки несомненно и то, что богачи сразу не сдадутся, что нужно будет не только грозить, но и выполнить угрозу, — прекратить всякую работу. Но разве богачи не приведут тогда себе из других сел новых рабочих и таким образом не испортят все дело? И если даже удалось бы не допустить до этого, то чем же будут жить эти тысячи людей, не имеющих хлеба и заработка, во время безработицы? Нет никакого выхода, нету! Нигде не светит им луч спасения! И Бенедя, приходя к таким безнадёжным выводам, стискивал кулаки, прижимал их к вискам и бегал по улицам, словно иступленный.

Он с нетерпением ожидал ближайшей сходимки побратимов, надеясь с их помощью притти к лучшему пониманию того, что нужно делать в настоящую минуту. Он иногда во время своих прогулок по Бориславу встречался с тем, либо

с другим из побратимов и видел, что все они какие-то придавленные, словно прибитые к земле, что всех их грызет какое-то тяжелое и неясное ожидание, — и это вселяло в него надежду, что придет же кому-нибудь из них в голову хорошая мысль. Дома Бенедя молчал. Старый Матий слишком занят был своим процессом, каждый вечер он втихомолку шептался о чем-то либо с Андрусем, либо со Стасюрой, либо с другими какими-то рипниками. Вскоре все они отправились в Дрогобыч и не возвращались несколько дней, и одиночество еще более тяжелым камнем придавило Бенедю. Тяжелая и непривычная для него работа мысли повергла его словно в горячку, быстро высосала его силы. Он похудел и побледнел, его длинное лицо еще больше вытянулось, только глубоко впавшие глаза, словно два пылающих уголька, беспокойно, лихорадочно горели. Но вместе с тем он не оставлял своих мыслей, не терял веры и сочувствия к этим бедным людям, которые безучастно, холодно и безнадежно смотрели из каждого угла на враждебный им мир и тихо, без сопротивления, готовились к смерти. Видя их, Бенедя ни о чем не мог думать, а только глубоко, всем сердцем и всеми нервами своими чувствовал: надо их спасти! Но как спасти? Об это «как», словно об острую неприступную скалу, сокрушались его мысли, его духовные и телесные силы, но он не терял надежды на то, что эту трудность можно будет одолеть.

Однажды вечером Бенедя позже, нежели обычно, возвратился с работы домой и застал возле хаты Сеня Басараба. С обычным выражением нерушимого спокойствия на красном,

слегка одутловатом лице сидел он на завалинке под окном и потягивал трубку. Поздоровались.

— Ну что, нету Матия?

— Нету. А Андрусь?

— Тоже еще не пришел. И Стасюры нету.

— Видно, что-то нешуточное затеяли там, в Дрогобыче.

— Посмотрим, — буркнул Сень и замолчал.

— Ты слышал, что случилось? — спросил он минуту спустя, входя с Бенедей в хату.

— Нет, а что такое?

— Притча.

— Какая?

— Вот, какая! Не стало одного панка. Знаешь, того, на которого так жаловался наш Прийдеволя, того кассира, помнишь?

— Помню, помню! Ну, и что же с ним случилось?

— А как ты думаешь, что? Несколько дней тому назад куда-то исчез, а сегодня вытащили его из шахты. Уже и комиссия приехала, будут бедное тело кромсать, словно оно скажет им, каким образом в яму попало да еще и ребром за крюк зацепилось!

У Бенеди мороз прошел по коже от этого рассказа.

— Как раз так, как с приятелем Матия, Иваном Пивтораком! — прошептал он.

— Эге! Так, да не совсем, — ответил Сень. — Того шинкарь толкнул, а этого...

Он не договорил, но Бенедя не допытывался, он хорошо понял слова Сenea.

— Ну, и что же? — спросил он после минутного тяжелого молчания.

— Как это что? Таскал волк, потащили и волка. И концы в воду.

— А что люди говорят?

— Какие люди? Комиссия? Комиссия наест, напьет, тело изрежет, искромсает, да и уедет себе.

— Нет, я не про комиссию, — что рипники говорят?

— Рипники? А что они могут сказать? Постояли, поглядели на покойника, головами покачали, кое-кто украдкой шепнул: «Злодей был покойник, накажи его бог!» — и снова за работу.

— Значит, все было напрасно, и труда жалко! — процедил сквозь зубы Бенедя.

— Как? Напрасно? Жалко? — удивленно спрашивал Сень.

— Другим от этого легче не будет.

— Но одним злодеем меньше на свете.

— Ну, не бойся, на его место завтра же новый встанет.

— Но зато будет хоть бояться.

— Эва, неизвестно чего! Если не дознаются, кто это сделал, то объявят, что случайно поскользнулся, или еще что. А если откроют, ну, тогда возьмут человека и упекут, — кого же будет злодей бояться?

Сень с изумлением слушал эти слова. Он ожидал, что Бенедя будет радоваться, а вместо этого встретил попреки.

— Так чего же ты хотел бы?

— А вот чего: если что делается, да еще такой великий грех на душу берется, так нужно, чтобы это дело годилось для чего-нибудь, чтобы принесло какую-нибудь пользу не для одного, а для всех. А иначе, я не знаю, зачем и начинать.

— Эге-ге! — покрутил головою Сень, попрощался и ушел.

Еще более тяжелые мысли овладели Бенедей после ухода побратима. «Что же, — думалось ему, — может быть, оно и так... может быть, и лучше, что одним скверным человеком меньше на свете?.. Но разве от этого лучше хорошим людям? Совсем нет. Разве от этого лучше хотя бы тем самым рипникам, которые радуются его гибели? Явится другой приказчик вместо него и будет так же, либо еще сильнее, обижать их. Вот если бы сразу всех злых людей не стало... Но нет, где уж там!.. Нечего и мечтать об этом! Лучше о том думать, что у нас перед носом, что мы можем сделать!»

Побратимство рипников, в которое так неожиданно был принят Бенедя в самом начале бориславской жизни, живо захватило все его мысли и придало им определенное, хотя вначале и не очень ясно обозначенное направление. Уже на первой сходке, когда так глубоко поразили его воображение рассказы рипников и их требование выступить, наконец, с каким-нибудь значительным делом, в его голове промелькнула картина такого побратимства, великого и сильного, которое могло бы собрать воедино разрозненные силы рабочих и защитить каждого обиженного и страждущего рабочего гораздо лучше, нежели это может сделать одинокий человек. Среди непрерывной работы мысли, подкрепляемый все новыми, страшными и хватающими за сердце событиями, образ такого побратимства все яснее вырисовывался в голове Бенеди. Ему казалось, что только таким объединением своих собственных сил для самозащиты и самопомощи рабочие смогут добиться теперь хоть какого-нибудь

облегчения своей участи. И он решил, будь, что будет, выступить со своим планом на ближайшем собрании побратимов и стараться изо всех сил увести побратимство Андруса Басараба с опасной дороги — ненависти и мести, которая сейчас, когда они еще очень слабы, могла только всем навредить и никому не могла помочь, обратить внимание и усилия побратимства на эту более широкую и спокойную, вместе с тем, как казалось Бенедю, и более полезную работу.

Сход побратимов был назначен в воскресенье вечером. В полдень возвратились из Дрогобыча Матий, Андрус, Стасюра и другие рипники. Матий был очень весел, разговорчив, но когда Бенедя спросил его, что слышно и что они делали так долго в Дрогобыче, он только причмокнул и ответил:

— Все хорошо, голубок, все хорошо!

Еще не стемнело как следует и Матий только что зажег на шестке ночник, наполненный горным воском, когда в хату вошли гурьбой побратимы. Впереди всех юркнул, словно ящерица, Деркач, молча поздоровался с Матием и Бенедюй и начал, как обычно, шнырять из угла в угол, засучивая рукава и шаря глазами по сторонам. Затем вошли остальные. Братья Басарабы были угрюмы и молчаливы, как всегда; Стасюра очень сердечно пожал руку Бенедю, все прочие также обращались с ним, как с равным, как со своим человеком. Самым последним вошел Прийдеволя. Его молодое лицо было какое-то бледное и испитое, он искоса поглядывал вокруг и все время держался в темном углу возле порога. В кругу побратимов было меньше движения, меньше говору,

чем обычно. Всех как будто давило что-то, хотя никто и не признавался в этом. Все чувствовали, что, желая того или не желая, они приближаются к какому-то важному событию, что им придется выступить открыто и грозно. Недавний случай с убийством кассира был — все это чувствовали — предвестником нового поворота в жизни Борислава. Но что это был за поворот, что за события надвигались и как побратимам следовало встретить их, этого они не знали, хотя каждый надеялся, что, авось, на совместном совете хоть немного все это прояснится. Не удивительно поэтому, что сегодняшнее собрание началось угрюмым, тяжелым, выжидающим молчанием, что побратимы собрались все в полном составе и еще даже ранее обычного часа: каждый знал, что против все более тяжелой жизни в Бориславе, против растущей с каждым днем нужды и наплыва свободных, ищущих работы рук необходимо что-то предпринять, но что именно и какими силами, этого никто не знал, и ответа на этот вопрос каждый ждал от собрания.

Один только Андрусь Басараб словно не чувствовал ничего необычайного. Он сел на свое место возле стола, у окна, и окинул взором побратимов.

— Ну, все в сборе, — сказал он, — можем начинать свое дело. А ну, Деркач, за палками!

Деркач, послушный и шустрый, уже проти-скивался между стоявшими посреди хаты побратимами, как вдруг старый Стасюра поднялся и попросил слова.

— Ну, что там еще, — сказал недовольно Андрусь, — говори, побратим Стасюра, хоть,

я думаю, все-таки лучше было бы, чтобы у Деркача эти палочки были под руками. Не мешает отметить, если есть что-нибудь интересное.

— Нет, — сказал твердым голосом Стасюра, — я не буду говорить ничего такого, что годилось бы для отметки.

— Ну, а в чем же дело? — спросил Андрусь и снова обвел взглядом всех побратимов. Он заметил, что они сидели, либо стояли, опустив головы, и не смотрели на Стасюру, но, казалось, приготовились слушать его. Андрусь заметил, что они сговорились.

— Дело в том, побратим Андрусь, — смело заговорил старый рипник, — что пора бы нам найти себе другую, более подходящую работу, нежели эти зарубки. Или мы дети, что ли? У побратима Деркача целые вязанки палок с зарубками, а какая от них польза? Разве они кому-нибудь помогли?

Андрусь изумленными глазами смотрел на старика. Воистину, так еще никто не говорил здесь, и у него у самого в голове шевельнулся вопрос: «Да и в самом деле, для чего пригодились эти отметки?» Но так как на этот вопрос он не мог сразу найти удовлетворительный ответ, то и решил стоять на своем, чтобы вызвать других на дальнейшее объяснение.

— Кому помогло? — сказал он медленно. — Ну, а разве мы делаем это для какой-нибудь помощи? Разве ты забыл, что мы делаем это для мести?

— Для мести, так, так! Однако как же ты этими палочками будешь мстить? Если уж мстить, то, я думаю, нужно по-иному, а не тратить зря время на ребячью забаву. Для того,

чтобы мстить, нужна сила, а от этих палочек у тебя силы наверняка не прибавится.

— Так, — ответил Андрусь, — но ведь мы хотели, чтобы с чистой совестью, когда настанет время, учинить справедливый суд над своими обидчиками.

— Впустую наша работа, — ответил на это Стасюра. — Чистую совесть мы и теперь можем иметь, потому что каждый из нас и так слишком хорошо знает все, что ему приходится терпеть. А чтобы отомстить, чтобы горю помочь, нужна, кроме чистой совести, еще и сила, а какая у нас сила?

— Так, так, правильно, — загудели вокруг побратимы, — какая у нас сила? Если у нас будет даже три воза палок с отметками, это нам не прибавит и на три пяди силы!

— Га, а где же нам силу взять? — спросил Андрусь.

— Надо допустить в наше братство больше людей, надо собрать всех воедино, указать всем одну цель, — отозвался Бенедя.

Все взглянули на него как-то недоверчиво и опасливо, только один Стасюра радостно поддакнул:

— И я это говорю, и я это говорю!

— Да побойтесь вы бога, побратимы, а подумали ли вы, что из этого выйдет? Первый попавшийся чужак выдаст нас, пожалуется в городе, и нас всех повяжут и засадят в острог, как разбойников, — сказал Андрусь.

Холодом пронизали эти слова побратимов, и все они с тревогой и любопытством взглянули на Бенедю, ожидая, что-то он на это ответит.

— Может быть, это и верно, — сказал Бенедя, — но если верно, то что это значит? Это

значит, что с теми целями, с какими вы до сих пор носились, нельзя показываться людям. Это значит, что, желая собрать их воедино, нужно показать им не одну только месть, ведь местью никто сыт не будет, а нужно показать им какую-то пользу, какую-то помощь, какое-то облегчение!

— Эге-ге, всюду он свою помощь тычет! — отозвался возле двери грубый голос Сеня Басараба, когда у Бенеди от сильного волнения захватило дух и он замолк на минуту. Он чувствовал, что его кровь начинает кипеть, что мысли, которые прежде так упорно не давались ему, теперь, словно каким-то чудом, возникали и развивались в его голове. Слова Сеня Басараба, полугневные, полупрезрительные, были для него словно шпоры для рысисто-го коня.

— Да, я все о помощи говорю и не перестану говорить. Мне кажется, что только мы сами можем помочь себе, а больше никто нас не спасет. Ведь наши хозяева и не подумают о том, чтобы рабочему лучше жилось. Они, если бы могли, еще ухудшили бы его жизнь, потому что им только тогда хорошо, когда рабочий, доведенный до крайности, не знает, за что ухватиться, и вынужден положиться на их милость и немилость. Тогда они заставят его делать, что угодно, и заплатят столько, сколько сами захотят, потому что для него, голодного и голого, нет выбора. Да, мы сами должны помочь себе, если не хотим мучиться так всю жизнь. А мстить, подумайте сами, к чему это приведет? Ни от какой мести нам лучше не будет, разве только, если бы мы захотели поднять по всей стране войну...

Покараете того или другого кровопийцу, на его место новый уже давно нацелился. И даже страху на них не нагоните, потому что вы будете вынуждены делать все тайно, и никто знать не будет, кто это сделал и почему. А если дознаются, — ну, это еще хуже: схватят тогда человека, бросят в яму и сгноят. Я думаю, что нужно нам, пока не поздно, остановиться и найти иной выход.

Снова замолк Бенедя, молчали и все побратимы. Слова Бенеди неудержимой силой врывались в их сознание, но, к несчастью, они разрушали то, что жило там до сих пор: мечту о мести, но взамен не давали ничего. Один только Сень Басараб, сидя у порога с трубкой в зубах, покачивал недоверчиво головой, но не говорил уже ничего. Даже сам Андрусь, хотя, очевидно, этот новый поворот в мыслях некоторых побратимов был для него очень неприятным и нежеланным, — склонил свои могучие плечи и опустил голову: слова Бенеди заставили его задуматься.

— Так было бы хорошо, это верно, — сказал, наконец, он, — но как это сделать, как добиться облегчения, если у каждого из нас нет сил даже для того, чтобы помочь самому себе?

— В том-то и дело, что у одинокого человека нет сил, а когда нас соберется много, тогда и сила будет. Один человек и центнер поднять не может, а несколько человек поднимут его легко. Большое ли дело для рипника, хотя его заработок невелик, вносить по шистке еженедельно, а пусть соберется сто таких, это составит десять ренских в неделю, и мы сможем в случае неотложной нужды помочь не-

скольким несчастным! Правду ли я говорю, побратимы?

— Гм, да оно-то правда, разумеется, так, так! — послышалось со всех сторон.

Только в углу, возле двери, угрюмо молчал Прийдеволя и недовольно ворчал Сень Басараб:

— Хорошо ему, городскому человеку, говорить о взносах! Ну-ка, попробуйте, найдете ли во всем Бориславе десяток таких, которые захотят вам давать эти взносы!

— Ну, — живо ответил на это Бенедя, — это уж ты, побратим, так себе, на ветер говоришь. Вот нас здесь двенадцать человек, и я думаю, что каждый из нас с радостью на это согласится.

— Согласимся, согласимся! — загудели некоторые из побратимов.

— Только нужно хорошенько обсудить, для чего будут собираться эти деньги и что с ними делать! — медленно проговорил Андрусь.

— Ну, конечно, сейчас же и обсудим! — подхватил Стасюра.

— Вот и нет, — сказал Бенедя, — прежде всего нужно знать, будем ли мы вообще собирать складчину или нет. Здесь, вижу, некоторые побратимы недовольны, хотели бы, чтобы все осталось так, как было...

— А ты не крути, — перебил его почти гневно Матий, который до сих пор молча сидел возле Андруся, вначале как будто думая о каких-то посторонних вещах, но чем дальше, тем с большим интересом и вниманием прислушиваясь ко всему, о чем говорилось в хате, — ты не спрашивай, приятно ли кому или неприятно это слышать. Знаешь что-то хорошее, разумное

и для всех полезное, так выезжай с ним на «площадь», да и режь «просто с моста». Если увидим, что твой совет лучше других, то примем его, а если хуже, ну, тогда можешь просить прощения, что глупостями у нас время отнимаешь!

После такого неприятного поощрения Бенедя начал говорить «просто с моста».

— Ведь вы знаете, — начал он, — что если добиваться облегчения путем взаимопомощи, то нужно будет все изменить, чтобы все было не так, как до сих пор. Метки всякие, зарубки — в сторону, убийства — в сторону (при этих словах Бенедю показалось, что лихорадочно пылающие глаза Прийдеволи метнулись на него из темного угла и обжигают ему лицо своим острым, горячим взглядом, и он вспыхнул и опустил голову), совсем с иными словами нужно идти к людям. Не мечь им показывать, а спасение. Разумеется, кривды и злодейства не укрывать, но направлять людей на то, чтобы они объединялись, потому что в одиночку рабочий против богачей и силачей не устоит, а все, если соберутся вместе, скорее смогут устоять.

— Смогут устоять? — снова отозвался недоверчивый Сень. — Хотел бы я знать, как смогут устоять? Заставят богачей, чтобы больше за работу платили, что ли?

— А что же, не могли бы заставить? — подхватил Бенедя. — А ну, если бы все сговорились и сказали: не выйдем на работу, пока нам не увеличат плату? Что тогда богачи сделали бы?

— А! И в самом деле! Вот хорошая мысль! — воскликнули побратимы в один голос. Даже лицо Андруса немного прояснилось.

— Что сделали бы? — ответил Сень. — Собрали бы со всего света рабочих, а нас выгнали бы.

— А если бы мы встали стеной и не пустили этих новых рабочих и просили бы их, чтобы они обождали, пока наше дело не победит? Можно было бы на этот случай послать своих людей по окрестным селам, чтобы они объявили там: до такого-то и такого-то срока не ходите никто в Борислав, пока наша война не окончится!

— Урра! — закричали побратимы. — Вот это совет! Война, война с богачами и обдиралами!

— Ну, и я думаю, что такая война лучше, нежели всякая другая, — продолжал Бенедя, — во-первых, потому, что эта война спокойная, бескровная, а во-вторых, потому, что мы можем поднять ее совсем открыто и смело, и никто нам за это ничего не сможет сделать. Каждый, в случае чего, может сказать: не иду на работу, потому что мало платят. Заплатят вот столько-то, — тогда пойду, и все тут!

Радость побратимов, когда они услышали этот совет, была очень велика, да и сам Бенедя радовался не меньше других, потому что эта мысль пришла ему в голову совсем неожиданно, в пылу спора с Сенем Басарабом.

— Да, хорошо ты говоришь: война, прекратить работу. Но хотя бы и все согласились на это, скажи ты мне, сделай милость, на что они будут жить все это время? Ведь нельзя же думать, что богачи сразу же в первый день размякнут и согласятся добровольно увеличить нам плату. Может быть, придется сидеть без работы неделю, либо и того дольше, — ну, чем же тогда будет жить столько народу?

Возражение было действительно веское, и лица рабочих снова помрачнели. Их только что пробудившаяся надежда на эту новую войну и победу над богачами была еще очень слабая и неясная и сейчас при первом же возражении начала бледнеть.

— Вот для этого и нужны взносы. Когда наберется порядочная сумма, такая, которой хватило бы, скажем, на неделю или на две недели, тогда можно будет начинать. Разумеется, тех, которые не захотели бы присоединиться к нам и вышли бы потом на работу, тех сейчас же, волей или неволей, за шиворот да и вон из Борислава, — пускай не портят нам дело. Во время забастовки наши люди могли бы наниматься на другую работу — в лесу, по плотничьему делу, либо еще где-нибудь, лишь бы только не на нефтяные работы. Таким способом мы быстро сломали бы панскую спесь и добились бы наверняка лучшей оплаты.

— Правильно говорит! Так нужно и сделать! Хороший совет, — слышались голоса. В избе поднялся шум, говор, все похвалялись, что скрутят теперь грабителей по рукам и ногам, каждый давал свои советы и не слушал чужих, каждый дополнял и изменял мысль Бенеди, перекраивая ее на свой лад. Один только Сень Басараб сидел молча на своем месте и с грустью смотрел на эту шумную сходку.

— Что с ними сделаешь, — ворчал он, — если они готовы бежать за каждым, кто скажет им два-три красных словца! Ну, для меня все равно, пускай бегут за этим пряником, попробуют, каков он на вкус. Но я со своей стежки не сойду. А ты, побратим? — обернулся он к Прийдеволе, который все еще стоял в темном углу

и подозрительно посматривал то на Бенедю, то на шумливых, оживленных рипников.

Он вздрогнул, когда Сень заговорил с ним, а затем быстро сказал:

— И я, и я с вами!

— С кем, с нами? — горько спросил Сень. — Ведь мы теперь, как видишь, раздвоились. Или с ними вот, или со мной и с братом?

— Да, с тобой и братом! Ты слышал, что этот про убийство говорил? Словно раскаленным ножом мне в сердце пырнул.

— Э, да ты об этом не очень беспокойся, — увещевал его Сень тихим голосом. — Разве что-нибудь особенное случилось? Ведь этот пес наверняка этого заслужил. Ты забыл про свою?..

— Нет, нет, нет, не забыл! — перебил его Прийдеволя. — Верно, верно, что заслужил! Сто раз заслужил!

— Ну, так чего же здесь мучиться? Или суда боишься? Не бойся! Комиссия уехала в твердой уверенности, что он сам упал в яму; еще хозяина судить будут, почему яму не закрыл!

— Нет, нет, нет, — снова с каким-то лихорадочно-болезненным волнением перебил его Прийдеволя, — не боюсь я комиссии! Что комиссия? Мне сдается даже, что если бы комиссия... того... раскрыла бы, тогда мне легче было бы!

— Тьфу, не дай бог, что это ты плетешь?

— Послушай только, Сеню, — шептал Прийдеволя, наклонившись к нему и судорожно сжимая своей сильной рукой его плечо. — Мне кажется, что тот... панок, знаешь... тот, что в яме погиб, что он был не виноват, что это кто-то другой все сделал!

— Что? Что? Вот те на! Или он не был при этом?

— Да, да, был, и смеялся даже, но разве уж и смерть за то, что смеялся! А может быть, он не делал ничего, а только те, другие?

— И откуда только тебе, хлопче, такие мысли в голову приходят? — спросил изумленный Сень. — Сломал чорт ногу, ну и слава богу! Погиб панок, ну и ладно!

— А если он не виноват? Знаешь, когда я встретил его и схватил и он почувствовал, к чему все это клонится, то как запищит: «Пощади, не губи, пощади!» А когда я в ту же минуту толкнул его... знаешь... он только взвизгнул: «Не виноват я, не виноват!» Потом загудело, затрещало, я бросился прочь. Но этот голос всегда со мной, всегда во мне, так и слышу его! Господи боже, что я сделал! Что я сделал!

Бедный парубок заламывал руки. Сень напрасно старался утешить его. Прийдеволе все казалось, что брошенный в яму кассир не виновен.

— Ну, если этот был не виноват, то ты исправь дело, — сказал, наконец, разозленный Сень, — и виноватых пошли той же самою дорогой! Чтобы невинный не зря потерпел!

Эти слова были словно удар обуха для Прийдеволи. Оглушенный ими, он склонил голову и снова забился в свой угол, не произнося ни слова.

А между тем побратимы кончали совещание.

— Первое дело теперь, — говорил Бенедя, — вербовать людей в нашу компанию. Кто с кем на работе, либо в корчме встретится, или на улице разговорится, сейчас же пусть и толкует об этом! Обо всем говорить надо: какая оплата убогая и какое возможно спасение. И взносы

собирайте. Я думаю, каждый должен собирать среди своих, а собранное каждый вечер отдавать главному кассиру, которого нужно здесь же сегодня выбрать.

— Правильно, правильно, надо выбрать кассира! — кричали все. — А ну, кого бы тут сделать кассиром?

Предлагали то одного, то другого, наконец остановились на том, что нет лучше кассира, чем Сень Басараб.

— Что, — сказал неприязненно Сень, услышав это, — я должен стать вашим кассиром? Никогда! Я с сегодняшнего дня и вовсе не хочу быть с вами! Ни я, ни мой брат.

— Не хочешь быть с нами? Это почему? — вскрикнули все.

— Потому что вы сходите с той дороги, на которую раз встали. Я своей дороги не оставлю!

— Но кто же дорогу меняет? — сказал Андрусь. — Здесь совсем ничего не меняется.

— Как? И ты с ними? — мрачно спросил Сень.

— Да! С ними!

— А присягу забыл?

— Нет, не забыл!

— А ногами топчешь, хоть и не забыл!

— Не топчу! Послушай только и не злись!

И Андрусь подошел к нему и начал шептать ему на ухо что-то такое, что вначале, видно, пришлось ему не по вкусу. Но чем дальше, тем больше прояснялось лицо Сеня, и, наконец, почти радостно он воскликнул:

— А если так, то хорошо. А я, глупый, и не догадался! Привет вам, побратимы, буду вашим кассиром и надеюсь, что вы не пожалеете на меня!

— А теперь вот еще что, — произнес сильным, радостным голосом Бенедя, который сегодня вдруг из рядового побратима стал словно главой и вожатым всех. — Побратимы-товарищи! Вы знаете, я простой рабочий, как и все вы, вырос в горе и нужде, бедный подручный каменщика и больше ничего. Неожиданно и непрошено свалилась на меня панская милость, и меня Гаммершляг сделал мастером, а потом и строителем нового нефтяного завода. Благодарить его мне не за что, я не просил у него милости, да и ему же от этого выгода, не нужно отдельно платить строителю. Мне же он платит по три ренских в день: для меня, бедного рабочего, это очень большая сумма. У меня в Дрогобыче старуха-мать, ей я должен посылать каждую неделю частицу своего заработка, пускай два ренских, еще два ренских в неделю я израсходую на себя; значит, будет оставаться каждую неделю еще четырнадцать ренских. Все это я обещаю отдавать в нашу кассу!

— Урра! — закричали побратимы. — Да здравствует побратим Бенедя!

— Я тоже обещаю давать по ренскому в неделю.

— Я по пять шисток!

— Вот мои три шистки.

— Вот мои!..

Речь Бенеди, а еще больше его пример воодушевили и разохотили всех. Сень Басараб здесь же собрал для начала немного денег, а Прийдеволя, который знал малость грамоту и которого Сень упросил к себе в помощники, отметил плотничьим карандашом на клочке оберточной бумаги от табаку, кто сколько дал.

Весело разошлись побратимы, радостные на-

дежды вспыхивали в их головах среди мрачных сумерек настоящего и озаряли их искренние, чистые сердца, подобно тому, как восходящее солнце розовым блеском озаряет пустынные каменистые и печальные вершины Бескидов¹.

VIII

Осенью, когда цветы уже отцвели, медвяная пыльца осыпалась и пчелиная жатва окончилась, начинается на некоторое время громкая, шумная жизнь в ульях. Пчелы, так же как и крещеный народ, окончив свою нелегкую работу, любят погуторить, собраться кучками перед лазками и возле затворов, поболтать и потрепать крылышками. Вначале совсем нельзя понять, что это такое и к чему. Еще в улье не произошло ничего нового. Еще несколько самых старательных тружениц упорно вылетают каждый день в поле, чтобы после целого дня поисков возвратиться вечером домой с небольшой добычей на лапках. Еще сытые трутни гордо погуживают, прогуливаясь возле наполненных медом кладовых и вылезая каждый божий день в полдень на крышу улья погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, расправить и размять нерабочие крылышки. Еще, кажется, царит полное спокойствие, примерное согласие в улье. А между тем в нем уже иным духом повеяло. Пчелы-работницы как-то таинственно шепчутся между собой, как-то подозрительно покачивают головками, как-то зловеще стригут своими щипчиками и перебирают лапками. Кто знает, к чему это все и что такое готовится в пчелином

¹ Бескиды — отроги Карпатских гор.

царстве? Трутни, наверное, этого не знают и попрежнему, досыта наевшись, гордо погуживают, прогуливаясь возле наполненных медом кладовых и выползая каждый божий день в полдень на крышу улья погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, расправить и размять нерабочие крылышки...

Вот на такой улей начал походить Борислав, спустя несколько дней после описанного совещания. Кто знает, откуда и как, — достаточно того, что новым духом повеяло в Бориславе. И если обычно новая струя свежего воздуха прежде всего и сильнее всего бывает заметна в верхних слоях, то здесь произошло совсем обратное. Нижние, густые и серые слои первые почували новое веяние, первые всколыхнулись от него. И кто его знает, откуда и как оно началось! Ни с того, ни с сего возле корб и шинков, возле складов воска, в шинках за горелкой — всюду начались среди рипников разговоры о том, как тяжело всем жить, какая тяжелая работа в Бориславе и как богачи без суда, без права, самовольно все больше и больше урывают из жалованья, обижают и обманывают, избивают, да еще и высмеивают одураченных рабочих. И никто не смог бы сказать, от кого начались эти разговоры, потому что всё, о чем говорилось, каждый слишком хорошо испытал на собственной шкуре и на собственном опыте. Раз начавшись, разговоры эти уже не утихали, и все более распространялись, становились все сильнее и громче. Все как будто только теперь увидели свое печальное, безвыходное положение, ни о чем ином и говорить не хотели, и каждый разговор оканчивался мучительным, тяжелым вопросом: «Господи, неужто нам вечно так му-

читься? Неужто нет для нас выхода? Неужто нельзя нашему горю пособить?» Но помощи не было ниоткуда. А разговоры об этом не утихали, наоборот — становились все громче и острее. Люди, которые вначале говорили о своем горе равнодушно, как о неизбежном зле, после глубокого раздумья и после долгих разговоров со знакомыми, задушевными друзьями и старшими рипниками или вообще бывалыми людьми убеждались, что здесь что-то не так, что горю можно пособить, но не видя и не зная, как это сделать, начинали проявлять нетерпение, взбудораженные ходили и говорили, словно в лихорадке, жадно ловили каждое слово, которое могло бы им прояснить их беспросветное положение. До самых далеких хаток, до самых темных углов доходили эти разговоры, разбегались во все стороны, словно огонь по сухой соломе. Ребятишки, таскавшие глину, девчата и молодницы, которые выбирали в кошарах воск из глины, и те заговорили о своем бедственном положении, о том, что им непременно нужно как-нибудь договориться между собою и искать для себя спасения.

— И ты о том же поешь? — говорили не раз старшие рипники, усмехаясь и слушая ропот молодых парней.

— Вот тебе на, как будто у нас не та самая беда, что и у вас? — отвечали молодые. — Да нам еще хуже, чем вам! Вас не так скоро прогонят с работы, вас не так скоро обсчитают, а если и обсчитывают, то все-таки вам больше платят, нежели нам. А есть мы хотим так же, как и вы!

— Но кто же вас надоумил, что надо себя как-нибудь спасти?

— А кто мог нас надоумить? Как будто человек и сам не знает, что если припекает, то

нужно холодное прикладывать? Да еще хотя бы не так сильно припекало! А то, видите, дома голод, не уродило ничего, отец и мать где-то там пухнут и умирают с голоду, думали, авось, хоть мы здесь кое-что заработаем, сами прокормимся и хоть немного им поможем, а тут вон оно что! Даже себе на жизнь не можем заработать в этой проклятой яме! Народу набилось много, работа тяжелая, платят мало, и чем дальше — все меньше, а тут еще злодеи-богачи хлеба не подвозят, вон какую дороговизну сделали: к хлебу подступиться нельзя! Ну, скажите сами, можно ли так жить? Уж лучше сразу погибнуть, либо как-нибудь добиться лучшего!

Так толковали обычно между собою рипники, и такие жалобы раздавались со всех сторон. Эти разговоры глубоко западали в сознание каждого, кто вынужден был на своих плечах тащить нелегкое бремя своей собственной нужды. Личная обида, личная нужда и боль каждого рабочего передавалась другим, становилась частью всеобщей обиды и нужды, вливалась, словно капля в бочку, в сумму общих жалоб. Все это, с одной стороны, давило и пугало людей, не привыкших к тяжелой работе мысли, но, с другой стороны, возбуждало и озлобляло их, расшевеливало неподвижных и равнодушных, будило надежды, а чем больше люди надеялись и ожидали, тем больше внимания обращали они на свое положение, на каждое хоть даже мало-важное событие, тем сильнее чувствовали каждую новую несправедливость и обиду. Ссоры между рабочими и надсмотрщиками становились теперь все более частыми. Надсмотрщики издавна привыкли смотреть на рабочего, как на скотину, на вещь, которую можно приткнуть

где угодно, толкнуть ногой, выбросить, если не понравится, по отношению к которой даже смешно говорить о каком-то человеческом обхождении. И сами рабочие, обычно наиболее бедные, с детства забитые и в нужде зачахшие люди из окрестных сел, терпеливо сносили эти надругательства, к которым с малых лет причаляла их тяжелыми ударами убогая жизнь. Правда, иногда попадались и среди них чудесным образом уцелевшие, сильные несломленные натуры, такие, как братья Басарабы, но их было мало, и бориславские богачи крепко их не любили за их непокорность и острый язык. Но теперь вдруг все начало меняться. Самые смиренные рабочие, хлопцы и девчата, которых до сих пор можно было, нисколько не стесняясь, обижать и унижать, и те держались теперь дерзко и грозно, без прежних жалоб и слез. И удивительнее всего было то, что в кошарах, где прежде каждый терпел, работал и горевал сам за себя, каким-то чудом появилась вдруг дружба, солидарность всех с одним и одного со всеми. Неустанный живой обмен мыслей, чувство собственного горя, усиленное и облагороженное чувством горя других, выработали эту солидарность. Стоило только хозяину прицепиться несправедливо к рабочему, начать ни с того, ни с сего ругать и поносить его, как вся кошара обрушивалась на него, заставляя притихнуть его то бранью, то насмешками, то угрозами. Во время недельных выплат начали раздаваться сейчас все более бурные и грозные крики. За одного обиженного вступались десять товарищей, к ним не раз присоединялись еще других десять из других кошар, и все они толпой вваливались в канцелярию, обступали

кассира, кричали, требовали полной выплаты, угрожали и обычно добивались своего. Паньы вначале набрасывались на них, кричали, угрожали, но, видя, что рипники не уступают и не пугаются, а напротив, все больше разъяряются, уступали. Они не признавались даже самим себе в том, что положение изменилось и может стать грозным, они еще — особенно крупные предприниматели — гордо расхаживали по Бориславу, важно посматривали на рабочих и радостно потирали руки, слыша, что голод свирепствует по селам, видя, что с каждым днем в Борислав прибывает все больше и больше людей.

Они еще и не думали ни о чем другом, как только о своих спекуляциях, им еще и не снилось, что рабочие могут каким-нибудь образом опрокинуть их планы и добиться среди этой погони за золотом также и своего куска. Еще они спали спокойно и не слышали все более громкого говора внизу, не чувствовали гнетущей духоты в воздухе, которая обычно бывает перед бурей.

И произошла эта важная перемена среди бориславских рабочих неожиданно быстро. Даже наши знакомые побратимы, которые дали первый толчок к этой перемене, даже сами они удивились, видя, каким громким эхом отдаются во всем Бориславе их слова. Даже самые недоверчивые из них, которые мрачно смотрели на изменения в целях и работе побратимства, даже братья Басарабы, видя, как жадно ловят рипники их слова и как живо развивают их дальше по-своему, начали искренне присоединяться к новому движению. Они видели, что Бенедя и Стасюра говорят правду, требуя выйти за узкие рамки прежнего побратимства и понести

свое слово и свои мысли в народ, и теперь убедились, что в рабочей массе почва хорошо подготовлена для посева такого слова и что это слово, распространяясь в ней, не только не потеряет ничего, но, напротив, наполнится великой силой. Впрочем, братья Басарабы, а с ними и некоторые другие, наиболее непримиримые побратимы, не думали окончательно остановиться на том, что советовал Бенедя, а надеялись, что в случае, если не удастся затея Бенеди (а в ее удачу они и теперь еще мало верили), можно будет повернуть всю огромную силу возмущенного рабочего люда на иное дело, на то дело, ради которого они в самом начале образовали свое побратимство. Поэтому после длительного размышления они не только не сетовали на Бенедю за то, что своими речами он отклонил побратимство от его первоначальной цели и повел за собой по иному пути, а, напротив, были благодарны ему за то, что, сам того не сознавая, он начал необходимое собирание огромной силы и проложил дорогу туда, куда они до сих пор не осмеливались ступить. Они искренне взялись работать для осуществления планов Бенеди, зная, что если бы удалось эти планы полностью осуществить, то попутно свершилось бы и то, чего они желали, а если не удадутся замыслы Бенеди, то осуществление их первоначальной цели будет тогда еще вернее. Стало быть, так или иначе, Бенедя работал для всех рабочих, работал и для них.

Зато какая жизнь, какое движение началось в небольшой избушке на краю Борислава, где жили Матий и Бенедя. Ежедневно по вечерам приходили побратимы, рассказывали, как идет дело, как принимают рипники их слова, как настойчи-

во просят совета, как выступают против панов. Совещания не раз продолжались очень долго, и перед глазами наших знакомцев все яснее вырисовывалась дорога, по которой нужно идти. Еще в самом начале, как только наши побратимы решили вербовать в свое побратимство громаду бориславских рипников, они целых два вечера совещались о том, с чего начать, чтобы добиться своего и не обратить на себя раньше времени внимания. В те времена еще живы были в памяти преследования и аресты поляков — участников восстания 1863 года, кое-кто из побратимов выразил опасение, как бы в случае провала полиция не надела на них и не обвинила в бунте, — а в этом случае и вся их работа пошла бы на смарку.

В конце концов Бенедя дал такой совет: на первых порах высказывать рабочим свои мысли как бы со стороны, случайно, постепенно, но упорно, в каждом разговоре будить у всех ощущение бедственного, жалкого положения и вместе с тем указывать на возможность улучшения в будущем. Таким образом, говорил Бенедя, в народе пробудится беспокойство, волнение, желание добиться улучшения, — одним словом, создастся среди массы рипников возбуждение, которое, будучи ловко поддержано и усилено, может быть использовано в соответствующий момент для осуществления их планов. Этот совет очень понравился всем побратимам, и они решили его принять. Не прошло и двух недель, а их цель была почти полностью достигнута. Рабочие после работы толпами ходили по Бориславу, разговаривая и совещаясь; кабаки пустели все больше и больше, а возбуждение и беспокойство в народе все росли, и нетерпели-

вые побратимы все громче требовали выступить, наконец, открыто и взять на себя руководство широким рабочим движением. Но Бенедя, а за ним и братья Басарабы стояли на том, что надо еще немного обождать, пока выше и грознее ударят волны рабочего гнева.

А эти волны, движимые действительной нуждой и гнетом, подхлестываемые жгуче-правдивыми словами побратимов, становились все выше и грозней. Простой человек — враг долгих рассуждений и размышлений. Правда, собственным умом он не скоро приходит к ясному и окончательному решению, долго томится засевавшей в его голове мыслью, но когда она окончательно сложится и утвердится, примет твердую и ясную форму, тогда уже ему не до забавы, не до рассуждений, тогда он всей силой своего существа рвется претворить свою мысль в дело, тогда неизбежна борьба между ним и противниками его мысли. Вот точно так было и здесь. Казалось бы, и не бог весть как трудно человеку, который ежедневно терпит нужду и неправду, притти к сознанию этой нужды и неправды, и, однако, как поздно пришли к этому сознанию бориславские рабочие! И казалось бы, нет ничего особенного в этом сознании, таком безотрадном и печальном! А между тем какое беспокойство, какую бурю подняло оно в головах всех рабочих! И скоро из безотрадного и тоскливого чувства родилась грозная решимость, невольная спайка и непокорность. От слов начали переходить к делу. Вот однажды пронеслась по Бориславу весть, что рабочие припугнули в каком-то закоулке кассира, который вместо обычных двух центов начал удерживать с рабочих в свою поль-

зу по четыре цента «касси́рного» с каждой шахты, то есть с каждого двенадцатичасового рабочего дня. Эта вестъ была как бы сигналом, за которым вскоре последовало много подобных случаев. После каждой такой весты росли упорство и отвага рипников. Они уже прямо в глаза разным кассирам, надсмотрщикам и контролерам начали грозить, что не будут больше терпеть над собой кривды. Страх начал одолевать кровососов народных. А когда однажды пронеслась по Бориславу вестъ, что один надсмотрщик несправедливо засчитал рипнику какой-то большой штраф, а кассир во время получки хотел вычестъ у него этот штраф из жалованья, рипники подняли возле кассы страшный крик и шум, начали требовать к себе надсмотрщика, чтобы дал ответ, за что такой большой штраф наложил на их товарища. Надсмотрщик спрятался где-то, кассир в шутку, чтобы избавиться от них, сказал рабочим: «Идите ищите его и, если найдете, приведите сюда за ухо». Рипники с оглушительным криком бросились во все стороны и через минуту нашли надсмотрщика, схватили его и силой, в самом деле за уши, притащили к кассиру, — привели, разумеется, избитого, исцарапанного и с надорванными ушами. И хотя нескольких рипников за это арестовали и заперли в мирской избе, но все-таки эта вестъ наделала много шума и вызвала среди рипников много толков, а на панов нагнала немало страха. Рипники в тот же вечер огромной толпой под предводительством братьев Басарабов пошли к бориславскому войту¹ и добились от него ос-

¹ В о й т — староста.

вобождения всех арестованных, — могучим, радостным смехом встретили их рабочие. Песни и угрозы загудели по улицам Борислава, освобожденных водили от шинка к шинку, и поили, и тысячу раз расспрашивали, как это они привели надсмотрщика за уши к кассе. Пока гудела хмельная радость на улицах Борислава, в убогой хате Матия сидели побратимы и решали, что делать. Все сходились на том, что теперь пора, что надо взяться за дело.

— Созвать сходку! Созвать! — говорили все.

И порешили, не открывая своего побратимства, созвать собрание всех рипников за Бориславом, на выгоне. В воскресенье в полдень должны были там все собраться на совет.

Словно грозовая искра, пронеслось на другой день из уст в уста, от шахты к шахте, от кошары к кошаре, от нафтарии к нафтарне неслыханное дотоле слово:

— В воскресенье, в полдень! На выгон возле Борислава! Собрание, собрание, собрание!

Никто не знал, что это будет за собрание, о чем будут совещаться, кто созывает. Да никто и не спрашивал об этом. Но все чувствовали, что это будет великая минута, что от нее многое будет зависеть, — и все возлагали большие, хотя и неясные надежды на эту минуту. Собрание! Собрание! Собрание! Это слово, словно чудом, проясняло увядшие, испытые лица, укрепляло мозолистые руки, выпрямляло издавна согнутые плечи. «Собрание! Наше собрание!» — несло то громко, то шопотом во всех углах, и тысячи сердец с нетерпением бились в ожидании воскресенья и собрания.

С нетерпением ожидали его и наши побратимы, а особенно Бенедя и Андрусь Басараб.

Буря собиралась над Бориславом не с неба на землю, а с земли против неба.

На широкой луговине, на бориславском выгоне, собирались грозные тучи: это рипники сходились на великий рабочий совет.

Все захвачены новым, до сих пор не слыханным явлением, все полны надежд и какого-то таинственного страха, все едины в ярости и ненависти к своим угнетателям,—громко разговаривая и шепчась, толпами или в одиночку, с окраин или из центра Борислава, плыли-наплывали они.

Черные, пропитанные нефтью кафтаны, жилеты, армяки и сермяги, такие же рубахи, подпоясанные ремнями, веревками или лыком, бледные, пожелтевшие и позеленевшие лица, рваные, засаленные шапки, шляпы, солдатские «бескозырки», войлочные шляпы бойков и соломенные подгорян, — все это густой серой тучей покрывало выгон, толпилось, волновалось, шумело, словно прибывающая внешняя вода.

— Что здесь долго судить да рядить!—кричали в одной группе. — Тут суд один: паны весь свет захватили, паны нам жить не дают, паны голод навели на народ!

— Нужно нам соединиться всем вместе, не поддаваться панам! — выкрикивали в другой группе.

— Хорошо вам говорить — не поддаваться. А как голод прижмет, заработка пан не даст, тогда и вы хвост подожмете и поддадитесь сухой вербе, не то что пану.

Голод — великое слово. Словно грозный призрак стоял он у каждого за плечами, и при вос-

поминании о голоде затихали громкие смелые крики.

— В яму каждого, кто над нами издевается! — шумели в другом конце.

— Ну, а что из этого? — увещевал старик Стасюра. — Тот, кто сбросит другого в яму, пойдет гнить в тюрьму, это раз...

— Эге, еще кто знает, пойдет ли, — угрюмо сказал Матий. — А вот злодей Мортко столкнул моего Иванчика, еще и деньги его забрал и доньше ходит по свету и насмехается над рабочим людом.

— Э, так ведь то богач, богач! — закричали некоторые. — Богачу все сойдет. А пускай бы бедный человек сделал что-нибудь такое, ну-ка!

— А второе, — продолжал Стасюра, — сотня издевается над нами, а тысяча обдирает по «закону», так что и сказать ничего нельзя; и вежливо и чинно: мол, на тебе, что полагается, а между прочим человек чувствует, что с него шкуру дерут. В этом наша беда!

— Правда, правда! — шумели рипники.

— Да что из того, что правда, — говорили другие, — этому, видно, ничем помочь нельзя.

— Как нельзя помочь? — сказал Стасюра. — Против каждой болезни средство есть, надо только поискать. Неужто же против нашего горя нет лекарства? Надо поискать. Для того и собрались мы сегодня всем миром, чтобы об этом поговорить. Ведь вы же знаете: громада — великая сила; где один своим умом ничего не придумает, там громада все-таки скорее рассудит.

— Если б мы сегодня до какого-нибудь лада дошли, — говорили рипники. — А время уже настало, а беда до костей изгрызла!

Такие и подобные разговоры велись во всех концах и во всех кучках. Побратимы разделились и готовили рабочих, внушали им мысли о возможности улучшения их тяжелой жизни, укрепляли их веру в коллективный разум и коллективную силу. А тем временем прибывали все новые и новые толпы. Солнце стояло уже посредине неба и жгло немилосердно, тучей поднимая над Бориславом густые, вонючие нефтяные испарения.

Над синеющей вдали высокой стеной Дила¹ колыхались волны раскаленного воздуха. От реки веяло нежной прохладой.

— Ну, что ж, пора начинать совет... начинать совет... уже все собрались! — зашумели рабочие со всех сторон.

— Кто хочет говорить, пусть выходит на середину, вот на этот камень! — сказал своим сильным, звучным голосом Андрусь Басараб.

— Становитесь в круг... подходите сюда к камню, — гудели рабочие.

На камень взобрался Бенедя. Он не привык говорить перед такой огромной толпой и был немного смущен: он вертел в руке свою шапку и озирался по сторонам.

— Это кто такой? — закричали со всех сторон рипники.

— Рабочий человек, каменщик, — ответил Бенедя.

— Ну, так говори, что хочешь сказать.

— Я много не буду говорить, — сказал Бенедя, постепенно становясь смелее. — Я только то хотел сказать, что каждый и без меня знает. Беда нам, рабочим людям... Работать тяжело:

¹ Д и л — гора близ Борислава.

ночей недосыпаем, а днем и передохнуть некогда, мозоли на руках набиваем; старые еще не слезли, а уж новые выросли, и что нам с того? Говорят: горько заработаешь, сладко съешь; а мы очень ли сладко едим? Горько зарабатываем, это верно, но еще более горькая наша жизнь. Мы чаще изнываем от голода, нежели бываем сыты. Да еще хотя бы не издевались над нами, не обижали, не унижали нас на каждом шагу! А то сами видите, какой нам почет. Рабочий человек у них хуже скотины!

— Правду он говорит, правду! Скотину, собаку больше ценят, нежели бедного человека! Гей, гей, неужто бог не видит этого?

— А теперь посудите сами, — продолжал Бенедя, — на кого мы трудимся, кому от нашей работы польза? Панам! Хозяевам! Бедный рипник сидит по шесть, по восемь, по двенадцать часов в шахте, в сырости и смраде, мучается, долбит и копает штольни под землей. Другие рабочие стоят возле корбы, возле млинка и крутят, так что у них мозги в голове крутятся и последние жилы из них вытягивает, а хозяева продают воск и нефть и получают тысячные суммы, и пануют, строят каменные дома, наряжаются и ездят в каретах и забрызгивают грязью бедного человека! И слова доброго от них никогда не услышишь. Вот на кого мы работаем и какую благодарность получаем за это!

— Пускай их бог покарает за нашу работу и нашу нужду! — закричали рабочие со всех сторон.

— Так-то оно так, — продолжал Бенедя после короткой передышки, — пускай их бог покарает. Но это еще неизвестно, захочет ли бог покарать их, или нет, а во-вторых, кто знает, будет ли

нам от этого легче, если их бог покарает. А тут по всему видно, что бог любит больше нас карать, нежели их! Вот и теперь покарал бог наши села голодом, а здесь, в Бориславе, и паны также принялись нас карать; плату уменьшают каждую неделю да еще, если кто-нибудь осмелится слово сказать, — смеются над ним в глаза: «Иди, — говорят, — если тебя обижают, а я десять найду на твое место за эту же плату». Вот и рассудите сами, много ли мы получим, если будем полагаться на божью кару! Я думаю, что уж лучше нам действовать так, как говорят наши люди: на бога надейся, да сам не плошай. Божья кара божьей карой, а нам надо объединиться и подумать, как бы собственными силами из беды выбраться.

— Га, в том-то и вся штука! Как выбраться, если мы бедны и помощи ниоткуда не имеем? — закричали рабочие.

— Ну, я здесь за вас решать не могу, — сказал Бенедя, — но если будет ваша воля послушать, то я скажу вам, что я думаю об этом.

— Говори, говори! Слушаем! — загудели рипники.

— Ну, коли так, то буду говорить. Верно вы говорите, что помощи нам ждать неоткуда. Кто же теперь захочет помочь бедному рабочему, а впрочем, если бы и захотел помочь одному, то не смог бы помочь всем, такой уйме народа. Здесь только мы сами, дружной силой можем себе помочь.

— Мы сами? Как же это? — слышались недоверчивые голоса.

— Это правда, — сказал Бенедя, — пока что мы еще не сможем по-настоящему себе помочь. Разве можно помочь по-настоящему, если чело-

век работает не на себя, трудится, трудится, а его трудом пользуется другой? Пока весь наш труд не будет итти на нас самих, до тех пор нам добра настоящего не будет. Но чуточку облегчить свое положение, пожалуй, сможем. Вот посмотрите, сколько раз случается человеку остаться без работы! Ходит человек, как угорелый, мечется, словно в лихорадке, сюда и туда, а работы не может достать. Томит человека голод, идет он к пану, напрашивается на какую угодно, хотя бы и на самую худшую работу, лишь бы только с голоду не пропасть. Ну, а вот, если бы мы все, сколько нас здесь есть, обязались ежедневно после получки складываться, пусть по центу, пусть по два, то, сосчитайте сами, какая бы получилась сумма. Если бы набралось таких тысяча, то никому этот цент не был бы в тягость и никого не разорил бы, а из этих взносов собралась бы такая сумма, что можно было бы в случае неожиданной нужды помочь десяти человекам.

— Правильно, правильно! — загомонили рабочие.

— Невелика эта помощь, правда, — продолжал Бенедя, но согласитесь, что это и не такая уж малая помощь. Потому что рабочий, который в трудную минуту получит ренский или полтора, уже не будет вынужден итти к хозяину кланяться и напрашиваться на работу за какую угодно нищенскую плату, не будет вынужден сбивать плату другим рабочим. А то, что ему будет дано, он сможет потихоньку да полегоньку выплатить обратно, как только получит лучшую работу. Таким образом наша рабочая касса не только не уменьшилась бы, но, наоборот, все увеличивалась бы.

Рипники стояли молча и раздумывали. Вначале им показалось, что это дело и в самом деле хорошее, и все готовы были сразу же приступить к нему. Но скоро послышались возражения.

— Эх, что из того? — говорили некоторые. — Ну, хотя бы и так: сделаем мы складчину, а кто этим будет пользоваться? Будет так, как в селах, где есть общественные кассы. Богатеи берут деньги взаймы, пользуются ими, а бедняки только вносить должны, а пользы от них никакой не видят. Или вот еще: выберем мы кассира, скажем — такого же рипника, как и все мы, но кто нам поручится, что он не заберет денежки и не удерет?..

Бенедя слушал эти возражения спокойно.

— Думал я и об этом и вот что придумал. Прежде всего нам нечего бояться, что пользоваться нашими деньгами будут богачи, потому что среди нас богачей нет, все мы бедные. И второе: мы не ростовщики, деньги под проценты давать не будем, а будем выдавать только в случае действительной нужды, болезни, безработицы, то есть будем помогать там, где для каждого очевидно, что помочь надо. Кто сможет, тот вернет нам ссуду, а кто не сможет, ну, мы его за это также не повесим. А с кассиром, я думаю, лучше всего будет вот как поступить. Если у нас много таких найдется, которые согласятся участвовать в этой кассе, то при каждой кошаре или в нескольких соседних кошарах вы сами выберете своего кассира из числа тех рабочих, которые работают здесь, в Бориславе, постоянно и которых вы хорошо знаете. Такой кассир мог бы собирать деньги только в тех кошарах, которые его выбрали. А зная,

сколько в этих кошарах работает человек и сколько обязалось платить, каждый очень легко может узнать, сколько денег имеется у кассира. Если один почему-либо не понравится, можно выбрать другого. Те кошары, которые будут иметь своего отдельного кассира, должны поддерживать нуждающихся рабочих из своей среды: они лучше всего будут знать, кто у них действительно нуждается.

— Ну, вот это другое дело, — загудели рабочие. — Такой кассир всегда будет у нас на глазах, а если их будет много, то у каждого сумма будет небольшая, соблазн будет меньше, и, даже если бы вся эта сумма пропала, потеря была бы все же невелика. С этим можно согласиться.

— Дозвольте, это еще не все, — говорил Бенедя. — Кто знает, может иногда случиться такая нужда, что не хватит средств одной кошары. Может случиться сделать что-нибудь такое, что пойдет на пользу всем бориславским рабочим, а для этого потребуется много денег, больше, нежели имеет одна касса. Поэтому, я думаю, надо сделать так: в каждой такой небольшой кассе, которая была бы при одной или нескольких соседних кошарах, все деньги, которые будут поступать, поделить на три части. Две части надо оставлять в кошаре для помощи отдельным рабочим, а одну треть отдавать в главную кассу. Из этой кассы выдавать деньги уже не мог бы ни кассир, ни одна какая-нибудь кошара, а только общий сход всех бориславских рабочих, разумеется, тех, которые платят в кассу. Выдавать из нее нужно как можно меньше, а копить деньги для большого общего дела.

— А какое же это может быть дело? — спрашивали рипники.

— Вот как я это понимаю, — сказал Бенедя. — Как видите, теперь паны уж очень хорошо убедились, что нас много, что голод сгоняет все больше рабочих в Борислав, и они не спрашивают, можно ли нам прокормиться, а все снижают и снижают нам плату. И не перестанут снижать, пока мы не напомним о себе.

— Эге, разве мы не напоминали, чему это поможет?

— Стойте, погодите, я скажу вам, как надо напоминать! Это верно, что говорить с ними — по-хорошему, или с угрозой — бесполезно, не слушают. Тут нужно не угрожать, а сделать так, чтобы они и не опомнились, откуда это на них свалилось. Вот что нужно сделать. Все, сколько нас здесь есть, и те, которых здесь нет, одним словом, все вместе однажды утром, каждый у себя на работе, приходим и говорим: довольно, не будем работать, не можем работать за такую малую плату, лучше будем сидеть дома. Пока не будет увеличена плата, до тех пор и пальцем не шевельнем. И, сказав это, все по домам!

Рипники даже рты пораскрывали от удивления, услышав такой совет.

— Вот те на, да как же это бросить работу?!

— На время, на время, пока хозяева плату не увеличат.

— А не долго ли ждать придется?

— Ну, очень долго не придется. Ведь вы только подумайте: хозяева позаклучали с разными купцами контракты: в такой-то срок доставить столько-то воску, столько-то нефти. Ну, а если в срок не доставят, то им убыток будет в десять раз больше, чем прибавка к плате. А сами они в шахты не полезут, может быть, и продержатся несколько дней, а потом все-таки

вынуждены будут к нам «притти и поклониться».

— Как бы не так! Они наберут новых рабочих!

— Га, нужно так сделать, чтобы не набрали. Разослать людей по всем окрестным селам с таким наказом: чтобы до поры, до времени никто не шел в Борислав, потому что там вот то-то и то-то делается.

— А если мазуров¹ приведут?

— Не пускать! Уговором или силой, но не пускать.

— Гм, да это, пожалуй, можно. Но на что мы будем жить во время этой забастовки?

— Вот для этого я и думал устроить такую главную кассу.

— А хозяева сговорятся и хлеба не подвезут, заставят нас голодать.

— А мы и покупать у них не будем. Когда у нас будут свои деньги, мы сами привезем из города, да еще и подешевле.

— И ты думаешь, что это поможет, что повысят плату?

— Я думаю, что должны, если только мы будем твердо держаться.

— Но для того, чтобы прокормить такую массу народа, нужна огромная сумма денег!

— На время забастовки можно будет часть людей отправить в села или в город куда-нибудь на другие предприятия, чтобы легче было. К тому же не следует приниматься за такое большое дело, пока у нас не будет достаточно денег, чтобы продержаться хотя бы неделю. И прежде чем начинать, нужно все наладить как следует, и своих людей по селам разослать, и хлеба рас-

¹ М а з у р ы — польские крестьяне в Западной Галиции.

стараться, и всего. Ну, да об этом еще будет время поговорить. Теперь скажите — согласны ли вы на то, чтобы у нас были кассы — и участковые, и главная касса?

— Согласны! Согласны!

— А с тем согласны, чтобы две трети оставались в участковых кассах, а одна треть чтобы шла в главную кассу?

— Нет, пускай две трети идут в главную кассу! Хотим давать по два цента, только чтобы нам всем скорей какое-нибудь полегчение пришло!

— А в управление главной кассы, я полагаю, надо выбрать троих человек, таких, которых вы хорошо знаете и которым можете доверять. А главное, чтобы касса хранилась у такого человека, который имеет здесь свое хозяйство.

— Эге, а где же мы здесь такого найдем, если все мы пришлые, бедные?

— Я знаю такого человека — старого Матия, у него здесь своя хата. Я полагаю, что лучше всего кассу у него поместить. И нужно, чтобы каждый сборщик мог в любое время притти и пересчитать, сколько денег есть в кассе и откуда они получены, и оповестить об этом своих людей. Два других могли бы еженедельно ходить по кошарам и собирать деньги. В таком случае можно было бы надеяться, что никто никого не обманет, никто наших денег не присвоит. Согласны вы на это?

— Согласны! Согласны!

— А где он, этот Матий? Хотим поглядеть на него! — закричали те, которые не знали Матия.

Матий влез на камень и поклонился миру.

— Ты кто такой есть? — закричали ему.

— Рипник, люди добрые.

— У тебя есть своя хата?

— Своя, не своя, а так, как бы и своя. Моей невестки хата, да она в прислугах, не живет здесь.

— А согласен ты, чтобы у тебя была наша касса и чтобы ты отвечал нам за нее?

— Как перед своей совестью, так и перед вами. Если ваша воля на то, я готов послужить миру. Ну, да, впрочем, половина из вас знает меня.

— Знаем, знаем! — раздалось множество голосов. — Можно положиться на него!

— Ну, а кого же еще выбрать в кассиры? — спрашивали рипники.

— Выбирайте, кого сами знаете, а главное дело — таких, которые могли бы хорошо бегать, — ответил Бенедя.

— Будь ты!

— Нет, я не могу, здоровьем слабоват, как видите, да и занят слишком на работе, не смогу бегать. А что смогу, то и без вашего избрания буду делать.

Затем Бенедя поблагодарил собравшихся за внимание и слез с камня. Начался шум и говор между рипниками. К Бенедю протискивались рабочие, чтобы пожать ему руку, заглянуть ему в лицо и громким, искренним словом поблагодарить за добрый совет.

Между тем рипники быстро договорились выбрать двумя другими кассирами — Прийдеволю и Сеня Басараба.

— Спасибо за избрание и за доверие! — крикнул Сень собранию. — Постараемся хорошо послужить нашему общему делу! А теперь, кто сколько может, прошу подкинуть по центу, по

два, чтобы наша касса с самого начала не была пустой!

— Урра! По центу в кассу! — кричали рабочие.

— Давайте каждый по центу, каждый, — сказал Матий, — когда подсчитаем, будем знать, сколько здесь нас!

Согласились и на это, и когда собрали деньги, насчитали тридцать пять ренских.

— Три с половиной тысячи нас собралось! — крикнул Сень Басараб. — В нашей кассе тридцать пять ренских! А трудно ли нам было внести такую сумму?!

— Вот что значит громада! — говорили меж собой рипники. — Верно кто-то сказал: громада плюнет по разу, — так одного утопит!

Говор усилился, но это уже не был угрюмый, тревожный говор забитой, беспомощной массы, это был веселый шум пчел, для которых настала весна, и зацвели цветы, и ожила надежда на более счастливую жизнь.

Х

Дела шли очень хорошо. Леон Гаммершлаг земли под собой не чуял от гордости и радости. Все ему удавалось, и хотя это было только начало, но уже оно одно предвещало удачу всего дела. Итак, прежде всего от «Воскового общества» из России Леон получил такое сообщение: «Доставляйте цезезин, если возможно, раньше договорного срока. «Общество» обделало хорошее дельце. При помощи известных здешних способов нам удалось заключить со святейшим синодом контракт на поставку цезезина

православным церквам. 100 000 залога внесено. Ждем от вас сообщения, когда будет готова первая партия».

У Леона, когда он прочитал это известие, словно крылья за плечами выросли. Значит, дело это крепкое, прочное. Он сразу же направился в Борислав посмотреть, как идет постройка завода. По дороге он очень жалел о том, что постройка только через неделю будет готова и что нельзя завтра же начать производство воска. О том, что все это дело было сплошным надувательством, обманом, — Леон нисколько не думал. Чувство справедливости было у него вообще развито слабо, а уж того ощущения, что существующие законы и государственные установления обязывают к чему-то всякого гражданина, этого ощущения у Леона, как и вообще у других предпринимателей, едва ли был хотя бы какой-нибудь след. Занятый улаживанием различных текущих дел в Дрогобыче, в частности хлопотами по закупке сырого воска у разных мелких предпринимателей, Леон уже более недели не заглядывал в Борислав и не знал, что и как там делается. Он во всем положился на Бенедю, убедившись предварительно, что свое дело он делает добросовестно и хорошо. Каково же было удивление Леона, когда, приехав в Борислав, он увидел, что на новой постройке уже нет рабочих, кроме нескольких, которые заканчивали обивку крыши, и когда Бенедя вышел к нему навстречу с заявлением, что свое дело он уже окончил, здание вполне готово и остается только Леону осмотреть все лично и отпустить его. Леон не знал, что и сказать в ответ на эту приятную и неожиданную весть, и если бы Бенедя был «пан» строитель, а не про-

стой рабочий и недавний подручный каменщика, он обнял бы его и расцеловал от радости. Значит, счастье неизменно улыбается ему! Значит, оно подслушивает его тайные мысли и желания и, словно возлюбленная, опережает его, чтобы в тот же миг их исполнить! Радость широко разлилась по лицу Леона. Он начал благодарить Бенедю и пошел вместе с ним осматривать здание. Оно стояло перед ним во всей своей красоте: длинное-длинное, низкое, с небольшими дверцами и оконцами, которые выглядывали то здесь, то там, словно подслеповатые воровские глазки. Две огромные трубы тянулись к небу. Довольно просторный двор был огорожен высоким забором с широкими воротами для въезда и маленькой калиткой сбоку для пешеходов. Двор был гладко утрамбован, ямы для выжигания извести были засыпаны, даже огромный сарай для рабочих и для хранения воска был готов. Стены, не выбеленные, даже не оштукатуренные, были светлокрасного цвета. У Леона сердце радовалось: все было так, как нужно. А внутрь он и не пошел смотреть, — «для этого, говорил он, нужно привести моего мастера-нефтяника, ему лучше знать, все ли сделано так, как надо». Трубы и котлы и все приспособления, заказанные в Вене, были получены и стояли на площади в огромных ящиках. Леон не дал отдохнуть ни себе, ни коням, — немедленно помчался назад в Дрогобыч, чтобы привезти Шеффеля. Бенедя тем временем должен был приготовить рабочих, которые под руководством Шеффеля еще сегодня установили бы и замуровали котлы.

Приехал и Шеффель. Осмотрел внутренность завода, разметил, что, как и где будет установ-

лено, и весьма одобрительно отозвался о постройке. Леон ходил за ним следом и только прищмокивал губами и потирал руки. Бенедя возился с нанятыми рабочими во дворе возле машин, разбивая доски и ящики, разматывая веревки и прилаживая деревянные валы и рычаги, чтобы втащить все это, куда следует внутрь здания.

До позднего вечера слышался на новом заводе стук и ляг: это устанавливали и укрепляли машины. В одном месте нужно было проделать отверстие в каменной стене для трубы, в другом — замуровать котлы, — Шеффель примерял и распоряжался, а Бенедя с рабочими выполнял его распоряжения. Наконец, с наступлением сумерек все было готово.

Леон и Шеффель остались одни внутри завода. Свет небольших восковых плашек мигал, отражаясь сотнями искр в блестящем котле из полированной меди. В углах поднимались густые клубы мрака, свисали с деревянного голого потолка, словно грозя обрушиться и придавить собою эти слабо мерцающие огоньки.

— Значит, завтра начнете? — спросил Леон, мечтательно блуждая глазами по этому чернеющему пространству, по этому гнезду, в котором — он ждал — будут высижены и наконец вылупятся его золотые сны.

— Начнем, — ответил Шеффель. — А рабочие готовы?

— Ах, да, рабочие, — сказал Леон. — Ну, конечно, будут и рабочие. Теперь этого добра в Бориславе хоть отбавляй.

— Гм... только, знаете, — проговорил Шеффель, — наше дело того... не совсем чистое. Поэтому надо вам позаботиться о нескольких, по

крайней мере троих рабочих, таких, на которых можно полностью положиться, которые не разболтают, не наплетут чего-нибудь. Их следует поместить в главном химическом отделении, там, где, знаете, окончательно вырабатывается церезин. Чтобы другие рабочие думали, что это простой парафин. Подумайте об этом!

— Та-ак, — размышлял Леон, — троих рабочих, на которых можно было бы полностью положиться! Правда ваша, надо поискать. Но только это нелегкая штука: среди этого сброда найти таких рабочих!

Тем временем во дворе завода рабочие собрались вокруг Бенеди. Они ждали Леона, чтобы получить окончательный расчет и поблагодарить его за работу.

Луна поднималась на погожем небе, кое-где из-за белой, полупрозрачной дымки поблескивали слабым светом золотые звезды. Рабочие сидели на камнях и обрубках бревен и беседовали; глухой шум их голосов улетал в поле и смешивался с серебряным шопотом речки, которая здесь же рядом журчала по камням.

Известное дело, разговор шел об одном — о недавнем сходе, о рабочей кассе и будущих надеждах.

— Что правда, то правда, — говорил Бенедя, — чудо совершилось со здешним народом. Когда я месяц назад пришел в Борислав и начал расспрашивать людей, пробовали ли они хоть как-нибудь помочь себе, то все либо головами покачивали, либо смеялись надо мной. А теперь, сами видите, как все, старые и молодые, стараются со взносами. Ведь мы имеем уже сто пятьдесят ренских в одной только главной кассе!

— Сто пятьдесят ренских, — медленно повторил один рабочий, — ну, и что же? Для одного это была бы поддержка, но для стольких тысяч... много ли это?

— Правда, что немного, — говорил Бенедя, — однако не забывайте, что недели не прошло с тех пор, как начались наши сборы. За месяц, пожалуй, соберется пятьсот.

— Ну, а с пятьюстами можно начинать то, что вы задумали?

— Гм, надо хорошенько рассчитать и силы и деньги, — сказал Бенедя. — Если считать, что на пропитание одному человеку надо полтора ренских в неделю, если считать далее, что безработица продлится неделю и нам придется содержать в течение этого срока только одну тысячу человек, то в кассе должно быть для этого самое меньшее полторы тысячи ренских. Я говорю, самое меньшее, потому что, кроме затрат на пропитание, будут еще и другие расходы.

— Полторы тысячи ренских! — вскрикнули в один голос рабочие. — Господи милосердный, когда же мы столько соберем?.. Да за это время половина нас с голода помрет, а из деревень десять тысяч новых привалит!

— Что же делать? — сказал грустно Бенедя. — Этому уж, видно, ничем не поможешь. Увеличить взносы нельзя. Хозяева и так урезают нам плату на каждом шагу, а если дознаются про наши взносы, то еще больше начнут урезать. Нужно стоять на своем, собирать и терпеть хотя бы еще три месяца!

— Три месяца! Кто знает, что может произойти за три месяца!

Рабочие замолчали, и печаль охватила собравшихся. Бенедя низко опустил голову. Он чувст-

вовал, что нужно ковать железо, пока горячо, что главная сила этих людей — в их порыве и кратковременном пробуждении и что не воспользоваться этим пробуждением — значит, выпустить из рук основную пружину дела. Но что оставалось делать? Денег не было, чтобы сейчас же начать поднимать рабочих. Приходилось все-таки выжидать.

— А тут еще новое дело, — снова заговорил Бенедя, пробудившись от задумчивости. — Мне придется возвратиться в Дрогобыч.

— В Дрогобыч? Это почему? — раздался голоса.

— Как почему? Здесь моя работа, как видите, окончилась.

— Ищите другую!

— Разве здесь без меня не обойдется? Правда, жалко покидать такое дело, над которым трудился и думал...

— Ну, так и не покидайте!

— Верно, что не следовало бы покидать, если бы только была возможность.

Рабочие хорошо чувствовали, и у самого Бенеди не раз просыпалась мысль, что без него все это дело может легко свернуть на неверный путь и оттого вовсе погибнуть. Он чувствовал, что в каждой только что возникшей для новых и непривычных целей организации многое и очень много зависит от руководителя, от его личного влияния и умения. Правда, с другой стороны, он слишком хорошо чувствовал и свое собственное бессилие и был убежден, что не повстречайся он в Бориславе с побратимами, с такими трезво мыслящими людьми, как Матий и Стасюра, он сам не пришел бы к тому, к чему пришел теперь. Взаимо-

действие всех частей было здесь очень ярко выражено, но именно поэтому чувствовал Бенедя, что вырваться из этого круга взаимного сотрудничества — означало бы повредить каждой части в отдельности и всем в целом. Но опять-таки, что он будет делать здесь, в Бориславе, если не найдется работы для него? Впрочем, судьба готовила ему помощь с той стороны, с какой он ее совсем не ожидал.

Из дверей завода вышел Леон в сопровождении Шеффеля; оба они приблизились к рабочим. Рабочие встали.

— Ну, люди, — громко сказал Леон, — работа наша окончена и хорошо окончена. Благодарю вас за ваше старание!

— И мы благодарим пана за работу! — закричали рабочие. — В добрый час!

— Дай боже, дай боже, — проговорил радостно Леон. — А теперь, сколько кому полагается, чтобы мы расстались по-хорошему?

Началась выплата. Бенедя стоял рядом. Когда выплата окончилась, Леон приблизился к нему.

— А вам, пане мастер, большое, большое спасибо и за работу и за быстрое окончание, за все! Очень бы мне не хотелось с вами расставаться... А пока за то, что вы мне доставили такую радость, примите от меня вот это на память!

И он сунул в руку Бенедю завернутые в бумажку десять ренских серебром.

«Вот теперь в нашей кассе будет сто шестьдесят ренских», — подумал про себя Бенедя, благодаря Леона за подарок.

— И еще прошу вас, — обратился в заключение Леон к Бенедю, — зайдите сейчас же ко

мне на квартиру, я должен с вами кое о чем поговорить.

С этими словами Леон и Шеффель ушли, за ними вышли рабочие. Бенедя остался, чтобы запереть все двери и ворота, а затем заковылял за Леоном, раздумывая, что бы такое тот мог ему сказать. По дороге он зашел домой, застал там Матия и сдал ему для рабочей кассы десять ренских серебром, которые подарил ему Леон.

— Видите, в чем дело, — начал Леон, когда Бенедя пришел к нему на квартиру. — Вы, я вижу, честный человек и хороший работник, и мне, как я уже говорил, не хотелось бы с вами расставаться. А мне здесь для моего нового завода как раз требуется несколько искренних и честных людей для одной, не очень тяжелой работы. Так вот я и хотел вам сказать: не согласитесь ли вы остаться, если вам у меня работать не надоело?

— Но что же это будет за работа? Ведь каменщики уже закончили свое дело?

— Э, нет, дело не в каменщиках, речь идет о нефти, о воске, — ответил Леон.

— Но сумею ли я делать эту работу, если раньше никогда не занимался ею и не знаю, что и как? — спросил Бенедя.

— Э-э-э, что здесь уметь! — сказал Леон. — А простой мужик, рабочий больше умеет? А между тем работает. Здесь нечего уметь: пан директор покажет вам все. Я же говорю вам, здесь дело не в уменьи, а в том, чтобы человек был честный, совестливый и чтобы, понимаете, чтобы...

Леон замялся, словно в нерешительности.

— Чтобы, — кончил он спустя минуту, — не рассказывал нигде, что и как делается на фаб-

рике. Потому что, видите ли, здесь секрет небольшой... мой директор изобрел новый способ производства воска, и я не хотел бы, чтобы это разглашалось.

— Гм, оно действительно... — проговорил Бенедя, не находя ничего лучшего сказать.

— Потому что, видите, — твердил Леон, — у нас такой народ бессовестный, чуть что, — сейчас перенимут, да и все тут: им прибыль, а мне убыток. Вот я поэтому и хотел бы...

— Однако это трудно будет. Ну, положим, я не скажу ничего никому, но ведь на заводе, кроме меня, рабочих много.

— Ну, не всем обязательно знать и видеть все. На моем заводе все будет делаться так, как на других заводах, и только в одной особой камере будет несколько иначе. Там будет директор, ну, и нужно пару рабочих ему в помощь. Что же, могу я на вас надеяться?

— Что касательно меня, — сказал Бенедя, едва скрывая свою радость, — то если только потрафлю, буду работать. Каменщику сейчас все равно нелегко работу найти. Ну что же, попробую еще и ремесло нефтяника. А в том, что через меня ваш секрет не откроется, будьте уверены.

— Так, так, — сказал, улыбаясь, Леон, — я и сам это знаю, что вы не такой человек. Только знаете, вот если бы мне еще несколько, ну, хотя бы два-три таких, как вы!.. Вот вы здесь работали, знаете кое-кого из рабочих, может быть, вы лучше смогли бы подобрать таких людей, каких мне нужно? Я в долгу не останусь. И еще! Первое дело, разумеется, плата. Знаете сами, это уже не работа каменщика, такой платы, какая до сих пор была, не могу вам дать...

— Ну, это конечно, — сказал Бенедя. — Сапожника и пирожника нельзя одной меркой мерять.

— Вот то-то и оно! К тому же, видите, что у нас здесь сейчас делается... Рабочих набилось, плату всюду снижают. Ну, разумеется, кому интересно платить дороже, если он может такого же рабочего иметь за более дешевую плату! Вы, конечно, другое дело, понимаете меня? Вам и тем другим, что будут вместе с вами работать в отдельном помещении, обещаю по ренскому в день и заранее заявляю, что снижения вам не будет и никакого «кассирного» платить не будете. Ну, согласны на это?

Бенедя стоял и раздумывал.

— Хотел бы я, — сказал он спустя минуту, — чтобы вы сами выбрали себе и остальных. А то вот, выберу я, а потом случится что-нибудь такое... Знаете, человек в человеке всегда может ошибиться. Ну, а мне ответ держать придется. А что касемо работы и платы, пускай будет и так, я согласен.

— Ну, нет, — настаивал Леон, — и товарищей себе подберите! На другую работу кого угодно можно, а здесь надо выбрать. Вы лучше знаете, на кого можно положиться, нежели я или директор.

— Га, согласен, — сказал Бенедя, — пускай будет и так. Постараюсь подобрать троих человек, которым можно будет доверить. А когда начинается работа?

— Завтра же. И то, имейте в виду, нужно будет торопиться. Воск уже продан. В отдельном помещении будете и прессовать и упаковывать его.

«Что это за штука такая может быть? — раз-

мышлял Бенедя, возвращаясь в сумерках по бориславской улице от Леона к себе домой. — Придумал новый способ обработки воска и боится, чтобы рабочие не выдали его. Будто рабочий понимает что-нибудь в этом? А впрочем, посмотрим, что это такое будет! А хорошо получилось! Ни с того, ни с сего подвернулась работа, и заработок неплохой. Теперь можно будет остаться в Бориславе, да и в кассу все-таки и от меня перепадет хотя бы четыре ренских в неделю. А еще трое... кого бы здесь выбрать?»

Бенедя долго думал над тем, кого выбрать себе в товарищи, но так и не мог ничего придумать. Он решил поговорить об этом с Матием. Бенедя охотно выбрал бы всех троих из побратимов, но Матий посоветовал не делать этого, боясь, чтобы в случае чего это не навлекло на них какого-нибудь подозрения.

— И без того, — говорил он, — хозяева встревожены теперь нашим собранием. Ясное дело, что среди рабочих найдутся такие, которые донесут хозяевам, что и как мы решили. Ну, а если так, то, ясное дело, хозяева начнут шпионить за нами. И если столько побратимов будут работать вместе, как бы это не навело их на какой-нибудь след.

Бенедя ответил, что это вполне возможная вещь, что хозяева будут теперь выслеживать их, однако он не видит оснований бояться того, что их побратимство откроется, если даже несколько побратимов будет работать вместе. Ведь говорить громко про свои дела при чужих людях у них нет нужды. Впрочем, добавил Бенедя, главное не в том, кого выбрать, а в том, чтобы взять именно тех побратимов, которые сейчас не

имеют работы. А таких как раз было два: Деркач и Прийдеволя. Бенедя отправился искать их, чтобы договориться с ними о работе, а третьим выбрал одного честного рипника, который, хотя и не принадлежал к побратимству, очень живо увлекся только что возникшей идеей рабочих касс и которого побратимы в шутку прозвали Бегунцом за его неутомимость и подвижность, готовность бегать от шахты к шахте для того, чтобы собирать взносы или с целью вовлечения все новых людей в рабочий союз.

А Леон Гаммершляг, договорившись с Бенедей, накинул легкое пальто и вышел прогуляться и поболтать со знакомыми предпринимателями, которые обычно в это время прогуливались по улице. Скоро его окружила целая толпа, пожимая ему руки и поздравляя с только что выстроенным заводом. Затем пошли разговоры о разных текущих делах, наиболее интересовавших капиталистов. Известное дело, прежде всего они начали расспрашивать Леона о курсах различных ценных бумаг, не потребуются ли ему еще воск, сколько он предполагает вырабатывать еженедельно парафина на своем заводе, а когда Леон удовлетворил их любопытство, зашел разговор про бориславские новости.

— Ох-ох-ох, Gott über die Welt¹,—проговорил, тяжело вздыхая, низенький и толстый Ицик Бавх, один из мелких предпринимателей, владелец нескольких шахт. — У нас здесь такое делается, такое делается, что и рассказывать страшно! Вы не слышали, пане Гаммершляг? Ох-ох-ох, бунт, да и только! Разве я не говорил:

¹ Бог над миром; божья воля.

не давать этим паршивцам, этим разбойникам,—фу-у! — не давать им такой высокой платы, а не то зазнаются и будут думать,—ох-ох-ох! — что им еще больше полагается! Теперь вот видите, сами видите, что по-моему вышло!

— Да в чем дело? Что за бунт? — спросил недоверчиво Леон.

— Ох-ох-ох, все под богом ходим! — пыхтел Ицик Бавх. — Придется скоро всем честным гешефтсманам удирать из Борислава. Бунтуют рабочие, все более дерзкими становятся, а в воскресенье, ох-ох-ох, мы уже думали, что это будет наш последний день, — фу-у! — что вот-вот бросятся резать! На выгоне столько их собралось, словно воронья на падали. Мы все от страха чуть не умерли. Никто, конечно, не решился подойти к ним, на куски разорвали бы,—еще бы, сами знаете, дикий народ! Ох-ох, о чем они там говорили между собой, не знаем, и дознаться нельзя. Я спрашивал своих Банюсов; говорят: да мы так себе, в горелки играли! Брешут, бестии! Мы видели хорошо с крыши, как один взобрался на камень и долго что-то говорил, а они слушали-слушали, да потом как закричат: «Виват!..» Ох-ох-ох, страшные дела творятся, страшные дела!

— Однако я во всем этом не вижу ничего страшного, — сказал, улыбаясь, Леон. — Может, и правда, в горелки играли.

— Ох, нет! Ох, нет! — продолжал Ицик Бавх. — Уж я знаю, что нет! И возвращались оттуда такие веселые, с песнями, а теперь у них заговор какой-то, какая-то складчина. Бог над миром, быть беде!

— Я все еще не вижу, — начал было снова Леон, но остальные перебили его, полностью

подтверждая слова Ицика Бавха и добавляя еще от себя множество подробностей. Надо сказать к чести бориславских рабочих, что они с самого начала хорошо поняли свое дело, и в течение всего этого времени никто из них не изменил и не рассказал о цели их собрания и что было решено на нем. Впрочем, может быть, далеко не все рабочие слышали и поняли все то, о чем говорилось, что и для чего было решено; те, которые понимали, не говорили об этом, а те, которые не понимали, мало могли рассказать интересного. Только и дознались хозяева, что среди рабочих делаются какие-то сборы, что они хотят сами помогать себе и что всему этому научил их каменщик Бенедя Синица.

— Бенедя! Тот, что у меня нефтярню строил? — воскликнул изумленный Леон.

— Тот самый.

— Взносы? Взаимопомощь? Гм, я и не думал, чтобы у Бенеди было настолько ума. Помощник каменщика, родился и вырос в Дрогобыче, и как он до всего этого дошел?

— Э, чорт его побери, как ни дошел, а дошел! — снова запыхтел Ицик Бавх. — Но как он смеет нам здесь людей бунтовать? Послать в Дрогобыч за жандармами, пускай в кандалы его да по этапу отсюда!

— Но, позвольте, господа, — сказал, останавливаясь, Леон, — не понимаю, отчего вы так беспокоитесь? Что во всем этом страшного? Я бывал в Германии, там повсюду рабочие собираются, совещаются, собирают взносы, как им захочется, и никто им этого не запрещает, и никого это не пугает. Наоборот, умные капиталисты еще и сами их к тому подбивают. Там у каждого капиталиста, когда он говорит с рабочими,

постоянно на языке Selbsthilfe да Selbsthilfe¹. «Помогайте сами себе, всякая посторонняя помощь вам ни к чему!» И думаете, что-нибудь плохое из этого получается? Наоборот! Когда рабочие сами себе помогают, это значит, что предприниматель может им не помогать. Попадет ли рабочий в машину, заболит ли он, состарится — Selbsthilfe! Пускай себе делают сборы, пускай себе помогают сами, лишь бы только мы не должны были им помогать! А уж мы будем стараться, чтобы рога у них не очень высоко росли: чуть начнут зазнаваться, облагледят, а мы — бац! — плату снизим, и свищи тогда так тонко, как нам хочется!

Леон произнес все это с горячностью глубоко убежденного человека и в значительной мере успокоил и утешил своих слушателей. Один только толстый, красноносый Иццик Бавх недоверчиво качал головой и, когда Леон кончил, тяжело отдуваясь, сказал:

— Ох-ох-ох! Если бы все так было, как вы говорите, пане Гаммершляг! Но я боюсь, что так не будет. Разве можно нашего рабочего дикаря-бойка равнять с немецким! Разве может он думать о какой-нибудь разумной взаимопомощи? Ох-ох-ох, бог над миром! А если они взаимопомощь поймут так, что надо браться за ножи и резать нас? Га?

Все слушатели, в том числе и сам Леон, вздрогнули, услышав эти зловещие слова, мороз пробежал у них по коже. К тому же в эту минуту возле них прошла шумная гурьба рипников, над которыми на целую голову возвышался Сень Басараб. Он свирепо поглядывал на

¹ Взаимопомощь.

предпринимателей, особенно на Бавха, своего хозяина. Бавху от его взгляда сделалось как-то не по себе, и он замолк на минуту, пока гурьба не прошла.

— Вот посмотрите на них, — говорил он, когда рипники исчезли в темном переулке, — дикость и больше ничего! Вон тот, высокий, у меня работает, настоящий медведь, не правда ли? Да вы такому только скажите одно слово «взаимопомощь», так он сейчас же возьмет нож, да и зарежет вас!

Однако Леон, а за ним и остальные предприниматели начали возражать Бавху. Они тем живее возражали ему, чем сильнее был их собственный страх, и, убеждая его, что опасности нет никакой, старались, собственно, убедить в том и самих себя.

Еще не все так плохо, — говорили они. — Народ наш, хотя и малоспособный и неприветливый с виду, не такой уж злой и кровожадный, как это кажется Бавху. И что случаи истинного, добропорядочного товарищества, — говорили они, — и у нас нередки и людям здешним совсем не чужды. И что если бы должны были произойти «беспорядки», то они произошли бы уже сейчас, после первого их сборища. И что Бенедя человек болезненный и характера мягкого. И что Леон завтра же поговорит с ним и расспросит его обо всем, и что Бенедя должен рассказать ему все начисто, потому что некоторым образом он обязан ему, Леону, и что заранее можно быть уверенным, что никакая опасность никому не грозит.

— Ох-ох-ох, где больше языков, там больше и разговоров! — твердил неумолимый Бавх. — Однако я вам советую: не верьте этим разбой-

никам, уничтожьте их кассу, а главное, уменьшите им плату настолько, чтобы этим собакам и прокормиться не на что было, тогда у них и взносы собирать охота пропадет!

— Эге-ге, посмотрим, пропадет или нет! — проворчал сквозь зубы Сень Басараб, который, скрываясь за сараем и забором, подполз к говорившим и подслушал весь этот разговор. — Эге-ге, посмотрим, несчастный, пропадет охота или нет? — ворчал он, поднимаясь на ноги из-за забора, когда предприниматели разошлись. — Смотри, чтобы у тебя к чему-нибудь другому охота не пропала.

И, отмеривая шаги, Сень поспешил к избе Матия, чтобы там рассказать побратимам о том, что говорят предприниматели об их собрании и что они о нем знают.

На другой день рано утром перед началом работы Леон встретился с Бенедеем уже на заводе. Бенедя представил ему Деркача, Прийдеволю и Бегунца, как отобранных для работы в особом помещении. Леон теперь уже слегка жалел о том, что поторопился вчера дать Бенедее это поручение, так как был убежден, что Бенедя подобрал себе в помощь своих единомышленников. Он начинал даже бояться, не подозревает ли Бенедя о его нечистом деле с цезезином, и потому приказал Шеффелю быть и с этими избранными рабочими как можно осторожней. Впрочем, отступать было уже поздно, и Леон, хотя и с заметной тревогой, решил: что должно выплыть, пускай выплывает. Надо только расспросить Бенедю самого обо всем этом деле.

Сказав несколько поощрительных слов только что принятым рабочим, Леон отозвал Бенедю в сторону и прямо спросил его, что это за соб-

вание было у них и что он там говорил рабочим. Он рассчитывал, что если у Бенеди что-нибудь недоброе на уме, то такой прямой вопрос ошарашит и смутит его. Но Бенедя уже со вчерашнего дня был готов к этому и, не проявляя ни малейшего смущения, ответил, что некоторые рабочие подняли вопрос о помощи друг другу взносами, и он посоветовал им учредить у себя особую кассу, как это делают в городах цеховые ремесленники, для взаимопомощи, и в правление этой кассы пригласить выбранных людей из рипников и господ предпринимателей. Леон еще более изумился, услышав эти слова от Бенеди,—он его считал до сих пор самым обыкновенным рядовым рабочим, который ни над чем не задумывается.

— Неужели вы своим умом дошли до всего этого? — спросил Леон.

— Так что, сударь, — сказал Бенедя, — у нас в городе так заведено, вот я и здесь посоветовал. Это не моего ума дело, куда мне!

Леон похвалил Бенедю за этот совет и добавил, что в правление кассы, конечно, надо выбрать кого-нибудь из грамотных предпринимателей, который мог бы вести расчеты, и что нужно выработать устав кассы и подать его на утверждение в наместничество. Прибавил даже, что он сам готов похлопотать для них об утверждении устава, за что Бенедя заранее его поблагодарил. На этом они и расстались. Бенедю неприятно было, что он вынужден был врать Леону, но что делать, если нельзя было иначе. А Леон ушел с завода радостный, чувствуя себя ни-весть каким либералом, который вот, дескать, поощряет стремление рабочих к солидарности и взаимопомощи и так бесконечно выше стоит

всех этих бориславских «халатников», которые в рабочей взаимопомощи видят бунт и опасность и сейчас же готовы, словно цыплята, спрятаться под крылышко жандармерии и полиции. Нет, пора и им узнать, какие дела творятся порой на белом свете, пора и Бориславу иметь свое рабочее движение, — разумеется, легальное, благонамеренное и разумно направляемое рабочее движение!

И затем либеральные мысли Леона быстро и легко устремились вдаль, ему чудилось, что вот уже недалеко это славное «единение капитала и труда», что оно начнется не где-нибудь, а именно здесь, в Бориславе, и что в истории этого единения отправной, а потому первой и наиважнейшей точкой будет его разумный и либеральный разговор с Бенедей и проявленная им благосклонность к новому рабочему движению.

— Так, так, — заключил он, уже качаясь в своей легкой рессорной бричке вдоль бориславской улицы, — мои дела идут очень хорошо!

XI

Эх, Готлиб, Готлиб! Знал ли ты, гадал ли ты, какую сумятицу поднимет твое письмо и твой безумный поступок в голове твоей матери?!

Ривка была больна. Это не была болезнь тела, потому что телом она была здорова и сильна, это было состояние какого-то необычайного душевного возбуждения, какого-то неимоверного напряжения, за которым следовали минуты полной безжизненности и апатии.

Она ходила по комнатам, будто сонная, не видела ничего и не интересовалась ничем, кроме своего сына. Он искалечен, он болен! Может быть, опасно? Может быть, возле него никого нет? Он умирает, мучается! А она, мать, для которой он всего дороже, она не знает даже, где он и что с ним. Ведь он не сообщил ей об этом! Что он думает делать с собой? Долго ли будет скитаться так среди чужих людей, словно сирота, в таком безобразном, ободранном платье? Она плакала, злилась, рвала и метала, швыряла все, что ей попадалось под руку, не будучи в силах найти ответ на все эти вопросы. Она то готова была рассказать обо всем Герману и бежать вместе с ним искать сына по всему Дрогобычу, то вновь с каким-то диким упорством воображение рисовало ей картины страшных мучений и гибели Готлиба, из глаз ее лились слезы, кулаки судорожно сжимались, она останавливалась возле двери, ведущей в кабинет мужа, и губы шептали: «Пусть гибнет, пусть умирает назло этому извергу, этому тирану. Пусть! Пусть!» Она забывала, что этот изверг и тиран не знал и не замечал всего этого и, казалось, совсем не тревожился о Готлибе. Выражение мертвого, безучастного спокойствия на его лице приводило Ривку в несказанную ярость, и она старалась как можно реже показываться ему на глаза. Она все чаще сидела, запершись в своей комнате, перечитывала в сотый раз письма Готлиба, но и они уже не приносили ей успокоения. Все ей опротивело. Она целыми часами глядела из окна то в сад, то на дорогу — не идет ли трубочист с письмом. Но трубочиста с письмом не было, и Ривка изводила себя, сжи-

гаемая множеством противоречивых чувств, не в силах ни на что решиться. Неделя такого беспокойства — и она действительно сделалась больной.

— Что с тобой, Ривка? — спросил ее однажды Герман за обедом. — Ты, я вижу, больна?

— Больна! — ответила она, не глядя на него.

— Вот то-то и оно. Я вижу, что больна. Надо послать за доктором.

— Не надо!

— Как это — не надо? Почему не надо?

— Доктор мне не поможет!

— Не поможет? — удивился Герман. — А кто же поможет?

— Отдай мне моего сына! — отрезала Ривка. — Только это мне поможет.

Герман пожал плечами и вышел из столовой. За доктором он не послал. Лишь спустя десять дней дождалась, наконец, Ривка вести от сына. Маленький трубочист до тех пор ходил по улице, пока она не высунулась из окна; тогда он бросил ей с улицы в комнату записку Готлиба. Вот что писал Готлиб:

«Она должна быть моей! Говорю вам раз навсегда: должна. Хочет она этого или не хочет. А впрочем, как может она не хотеть, — ведь я богат, более богатого жениха не найти во всей округе. Я же чувствую, что без нее не могу жить. Во сне и на яву все она, одна она передо мной. И я не знаю даже, как ее зовут. Но какое это имеет значение, если она мне понравилась! И куда она могла уехать? Кабы я знал, сейчас бы поехал за нею. Да, я забыл вам сказать, что я уже здоров, по крайней мере настолько здоров, что могу ходить. Ковыляю весь день по улице возле ее дома, но не решился еще

никого спросить, чей это дом и чья она дочь. Завтра рано утром придет мой посланец; дайте ему сколько-нибудь денег для меня».

Денег у Ривки было немного. На следующий день трубочист действительно пришел, и как раз в такое время, когда Германа не было дома. Она стала расспрашивать его про сына, но трубочист ничего не знал, а только сказал, что должен принести деньги — и кончено. Ривка дала ему десять ренских, — последние десять ренских, которые у нее были, и осталась одна в комнате, проклиная трубочиста, который не ответил на мучившие ее вопросы.

Весть, что Готлиб здоров и может уже ходить, обрадовала Ривку, но его чрезмерная и слепая любовь начала ее тревожить. Ей вдруг пришла мысль: а что если девушка, о которой пишет Готлиб — христианка, что тогда? Она не захочет выйти замуж за Готлиба, — и хотя бы Готлиб бог знает что сделал, он не сможет на ней жениться. И ее разгоряченный мозг не покидала эта догадка, словно назойливая оса, и снова начала она волноваться, и мучиться, и ночей не спать, и проклинать весь мир, мужа и себя. Ей, неизвестно почему, хотелось, чтобы Готлиб женился на какой-нибудь бедной рабочей девушке из Лана, какой была она сама, когда посватал ее Герман. Ей казалось, что она возненавидела бы его вместе с его женой, если бы эта жена была из богатого дома. А между тем из писем Готлиба с очевидностью вытекало, что девушка, которую он полюбил, была богата, разъезжала в экипажах, имела много нарядных слуг, и в душе у Ривки начинала понемногу зарождаться против нее какая-то слепая и глухая ненависть.

Но больше всего огорчений было у Ривки с деньгами. Спустя несколько дней, снова в отсутствие Германа, пришел трубочист с письмецом. В коротком и незамысловатом письме было написано: «Денег мне надо, много денег. Должен одеться по-человечески. Она завтра придет. Я должен говорить с нею. Уже знаю, чья она. Передайте сейчас же хотя бы сто ренских».

Ривка аж затряслась, прочитав эти слова. Знает—чья, а не напишет, не скажет! Оставляет ее в неизвестности, и есть же сердце у него! А еще сто ренских просит, — откуда она возьмет сто ренских? Герман вот уже несколько дней что-то очень строг был с нею, не давал ей на руки никаких денег, не оставлял, как это прежде бывало, ни цента в ящике своего стола, а все запирает в большой железной кассе на три замка, а ключи брал с собой. Ривка до этой минуты даже и не замечала этого. Но теперь, когда сын потребовал у нее такую сумму, а она не нашла у себя даже цента, она расшвырялась из стороны в сторону, от одной шкатулки к другой, но нигде не могла найти ничего. Она громко проклинала скрягу мужа, но проклятья не могли ничему помочь, и, скрепя сердце, она вынуждена была отпустить трубочиста ни с чем, говоря ему, что денег сейчас нет и что пусть он придет завтра. Трубочист покачал головой и ушел.

После его ухода Ривка, как безумная, бегала по комнатам, стучала мебелью и наполняла весь дом проклятьями и бранью. За этим занятием застал ее Герман.

— Жена, что с тобой? — вскрикнул он, стоя на пороге. — Ты с ума сошла?

— С ума сошла!! — крикнула Ривка.

— Чего тебе надо? Ты что швыряешься?

— Денег надо.

— Денег? Зачем тебе деньги?

— Надо, и все тут.

— И много?

— Много. Двести ренских.

Герман улыбнулся.

— Да ты что, собираешься волов покупать, что ли? — сказал он.

— Не спрашивай, а давай деньги!

— Те-те-те, скажите, какой грозный приказ! Нет у меня денег для раздачи!

— Нет денег! — вскрикнула Ривка и зверем глянула на него. — Кому ты это говоришь? Сейчас же давай, не то беда будет! — И она с поднятыми кулаками начала приближаться к нему. Герман пожал плечами и отступил назад.

— С ума сошла женщина! — проворчал он вполголоса. — Давай ей деньги, а неизвестно — зачем. Ты думаешь, — сказал он ей спокойно и убедительно, — что у меня деньги лежат? У меня деньги в дело идут.

— Но мне нужны деньги сейчас, немедленно! — сказала Ривка.

— Зачем? Если тебе надо что-нибудь купить — скажи мне, я возьму в кредит, потому что наличных денег у меня нет.

— Мне нужен не твой кредит, а только наличные деньги. Слышишь?

— Говори вот этим стенам, — ответил Герман и, не пускаясь с нею в дальнейший разговор, торопливо зашагал в свой кабинет, все оглядываясь, не бежит ли за ним Ривка с поднятыми кулаками. Придя в кабинет, он сначала хотел запереть дверь на ключ, но затем, зная натуру Ривки, раздумал и с тихим, загадочным

смехом уселся за письменный стол и начал писать.

— Я знал, что оно так будет, — говорил он сам себе, все еще с таинственной улыбкой на лице. — Но пусть! Теперь я не уступаю и прижму ее. Посмотрим, кто из нас сильней.

Через минуту, тяжело дыша, вошла Ривка. Ее лицо то наливалось кровью, словно бурак, то снова становилось бледным, словно полотно. Глаза пылали лихорадочным огнем. Она села.

— Скажи, ради бога, чего ты хочешь от меня? — спросил ее Герман как можно спокойнее.

— Денег, — ответила Ривка с упорством сумасшедшей.

— Зачем?

— Для сына, — сказала она с ударением.

— Для какого сына?

— Для Готлиба.

— Для Готлиба? Но ведь Готлиба уже и на свете нету, — сказал Герман с притворным удивлением.

— Пускай лучше тебя не будет на свете!

— Значит, он жив? Ты знаешь, где он? Где он, скажи мне! Почему не идет домой?

— Не скажу!

— Почему же не скажешь? Ведь я все-таки отец, не съем его.

— Он боится тебя и не хочет быть с тобой.

— А денег моих хочет? — сказал задетый за живое Герман.

Ривка ничего не ответила на это.

— Так знай же, — сказал решительно Герман. — Передай ему, если знаешь, где он, пускай возвращается домой. Довольно с меня этой дурацкой комедии. Пока не ворстетися, ни одного цента не получит ни от меня, ни от тебя!

— Но ведь он готов с собой бог знает что сделать! — вскричала Ривка с отчаянием в голосе.

— Не бойся! Так сделает, как во Львове утопился. Он думает, что сломает меня своими угрозами. Нет, однажды я уже поддался, теперь хватит.

— Но он готов убежать, куда глаза глядят, готов беды себе натворить.

— Хе-хе-хе, — сказал насмешливо Герман, — без денег не убежит, а впрочем... Слушай, Ривка: чтобы ты не терзала себя тем, что вот, мол, ты рассказала мне о нем. Я знаю, он запретил тебе говорить, и я не требовал у тебя признания. Но я давно уже знаю об этом, знаю, где он живет и что делает, все знаю. И счастье его, что я это знаю, а иначе жандармы давно бы уже засадили его в каземат и по этапу отправили во Львов. Понимаешь? Счастье его, что тот угольщик, с которым он приехал из Львова и у которого он живет, сразу же, как только я приехал, рассказал мне все дочи́ста. А теперь слушай! Я его трогать не стану, ловить его не пойду, потому что он в конце концов в моих руках. Передай ему, пускай возвращается домой, и все будет хорошо. А если не хочет, его заставят это сделать. Жандармы следят за ним, не дадут ему никуда двинуться из Дрогобыча. Денег он не получит, передай ему это через того вора-трубочиста, который таскает тебе письма от него. Он у меня давно на примете, пускай и это знает. И на этом конец!

Герман поднялся с кресла. Ривка сидела вначале молча, ошеломленная, оглушенная словами своего мужа. Она дрожала всем телом, ей спирало дыхание так, что она еле-еле дышала, а

затем, когда Герман встал, она вдруг разразилась страшным спазматическим хохотом, который, словно грохот грома, эхом прокатился по просторным пустым комнатам. Через минуту смех вдруг оборвался: Ривка грохнулась с кресла и начала в страшных судорогах метаться по полу.

— Господи, избавь меня от нее! — проворчал Герман и побежал на кухню позвать слуг, чтобы привели в чувство барыню. Сам он не возвращался уже в комнату, а взяв пальто и шляпу, пошел в город по своим делам. Не время ему теперь было заниматься домашними дрязгами, когда его новые большие планы приближались к своему осуществлению. Ван-Гехт писал ему из Вены, что оборудование для выработки церезина уже готово и фабрикант ждет только от него извещения, когда и куда его выслать. Герману не хотелось для производства церезина строить новый завод, он предпочитал выделить для этого часть своего старого большого завода возле Дрогобыча. Нужно было осмотреть место и постройки, которые соответствовали бы представленному Ван-Гехтом плану, нужно было перестраивать, доделывать и расчищать, — и Герман сам внимательно следил за работой. Наконец, все было готово, и он написал Ван-Гехту, чтобы тот как можно скорее присылал машины и сам приезжал. Немало также было хлопот и с «Обществом эксплуатации горного воска», с которым Герман в Вене заключил контракт на поставку большой партии сырого горного воска. Правда, «Общество эксплуатации» не дало еще Герману в счет этого контракта ни цента и должно было уплатить за все сразу лишь после того, как будет доставлен весь воск, но все же в

счет этого контракта «Общество» выпустило уже много акций и старалось при помощи рекламы поднимать их курс все выше и выше. Акции шли очень хорошо, и сейчас, в середине лета, «Общество» решило, что надо что-либо предпринять в самом Бориславе. А решило оно сделать вот что: учредить в Дрогобыче большую контору, в которой доверенные лица «Общества» следили бы за контрактами, проверяли расчеты и заботились о новых связях и новых источниках дохода для «Общества». Известное дело, организация конторы, жалованье уполномоченным и разным служащим, — все это обходилось не дешево и по крайней мере втрое дороже, нежели могло бы обойтись при разумном ведении дела. Но какое это могло иметь значение?! «Общество эксплуатации» принялось трубить по всему свету об этом своем деле, словно это был нивесть какой подвиг, и снова акции «Общества» подскочили вверх. Герман усердно крутился около «Общества», внимательно приглядывался ко всему, что делали уполномоченные, и втайне только покачивал головой, наблюдая их работу. «Нет, нет, — говорил он себе, — долго они не выдержат! Пусть себе их акции поднимаются как угодно высоко, я их покупать не стану, даже связываться с ними не хочу! Вот глупость сделал, что заключил с ними такой огромный контракт, а в задаток ничего не взял. Правда, если этот мыльный пузырь и лопнет, прежде чем мой контракт реализуется, убытка для меня не будет, потому что воск все-таки у меня останется. Однако, разумеется, было бы лучше, если бы они прежде заплатили мне, а потом лопнули. Да и в этом случае нужно точно условиться, чтобы платили они налич-

ными деньгами, а не своими акциями!» Герман, стало быть, заранее считал «Общество эксплуатации» предприятием «дутым», мошенническим, хотя нельзя сказать, чтобы именно он задумал обмануть это предприятие. Его контракт был вполне чистым и реальным, и, возвращаясь из Вены, он все усилия направил к тому, чтобы доставить всю огромную массу воска как можно скорее, раньше договорного срока, боясь, как бы предприятие не лопнуло еще до этого времени из-за глупости и мошенничества своих основателей и управляющих. Он нанял почти в три раза больше рабочих, нежели нанимал до сих пор, возобновил работу в восьмидесяти шахтах, которые в течение нескольких лет не разрабатывались из-за различных недостатков почвы, — и действительно, многие из этих возобновленных шахт оправдали теперь все прежние надежды. Работа кипела, и труд рабочих стоил теперь гораздо дешевле, нежели в прошлые годы, потому что голод согнал больше людей на барщину в Борислав, голод же и подгонял их немилосердно, заставляя работать быстрее, а Герман старательно и непрерывно снижал и снижал плату рабочим, не обращая внимания на крики, слезы и проклятия. Работа кипела, склады Германа наполнялись громадными глыбами воска, и Герман дрожал от нетерпения, скоро ли будет готово все обусловленное контрактом количество. Тогда «Общество» должно принять воск, сразу же выплатить ему полностью все деньги, а затем, думал Герман, пускай себе и шею свернет!

А между тем, пока Герман строил свои планы и хлопотал о налаживании производства цезина, пока служанки в его доме приводили в

сознание Ривку, которая билась и металась по полу в страшных судорогах, Готлиб, в грязной рубашке угольщика, весь измазанный, нетерпеливо ждал в маленькой грязной каморке прихода трубочиста с деньгами. С этим трубочистом он жил по соседству и, познакомившись, уговорился с ним, чтобы он за хорошее вознаграждение передавал для него письма к матери и от нее. Вот он вошел в избу, и Готлиб торопливо обернулся к нему.

— Ну, как? — спросил он.

— Никак, — ответил трубочист.

— Как это никак? Не дали?

— Не дали, сказали: завтра.

— Проклятое завтра! — пробормотал гневно Готлиб. — Мне сегодня нужно!

— Что же делать? Сказали: нету.

Трубочист ушел. Готлиб, словно бесноватый, начал бегать по избе, размахивая руками и бормоча про себя отрывистые слова:

— Я завтра должен встретиться с нею и не могу не встретиться, а тут — на тебе! Нету! Как смеет не быть? Неужто и мать пошла против меня, не хочет дать? О, в таком случае, в таком случае... — и он сжатыми кулаками погрозил в сторону двери. Его страсть, слепая и бурная, как и вся его натура, неожиданно и внезапно достигла необычайной силы, и, руководимый ею, он готов был сделать все, что ему подсказывал минутный порыв, без размышления и колебания.

— Или, может быть, — продолжал он, — может быть, он дознался? Может быть, это его рук дело... нарочно не дал маме денег, чтобы она мне не передала? О, это может быть, я знаю, какой он жадный... Но нет, нет, это невозможно!

Он думает, что меня нет в живых; если бы он знал, то постарался бы поскорей, не медля, загнать меня домой, как заблудившуюся скотину! Но обожди немного! Тогда вернусь, когда мне захочется, помучься немножко!

Бедный Готлиб! Он и в самом деле воображал, что Германа нивесть как мучит его отсутствие!

Однако, как ни злился и ни грозил Готлиб, это не могло наполнить его карманы деньгами. Мысли его волей-неволей должны были успокоиться и перенестись на другие предметы, а именно — на предмет его любви. Только вчера узнал он от слуги ее отца, которого выследил в ближайшем шинке и с которым за чаркой горелки завязал знакомство, что отец ее очень важная птица, один из первых богачей в Бориславе и Дрогобыче, что два года тому назад он приехал сюда из Вены, строит громадный и шикарный дом, зовут его Леон Гаммершляг, вдовец и имеет только одну дочку, Фанни. Дочка сейчас поехала зачем-то во Львов, но завтра должна вернуться. Девушка очень добрая, ласковая и красивая, и отец тоже обходительный барин. Рассказ этот очень обрадовал Готлиба. «Значит, она мне ровня, может быть моей — должна быть моей!» — это было все, что пришло ему на ум, но и этого было достаточно, чтобы сделать его счастливым. С нетерпением дожидаясь он этого завтра, чтобы увидеть ее. Вначале он думал купить себе платье, соответствующее его положению, чтобы показаться ей в наиболее выгодном свете. Но тут вдруг возникло неожиданное препятствие — мать не дала денег. Приходилось встречать ее в безобразных лохмотьях угольщика, которые никогда не были так ненавистны Готлибу, как в этот день.

Лишь только рассвело, Готлиб положил в карман немного хлеба и побежал за город, в самый конец далекого Задворья, на Стрыйскую дорогу, по которой должна была проехать Фанни. (Железной дороги тогда еще не было.) Усевшись здесь у края дороги, в тени густой рябины, он устремил взор на пыльную дорогу, которая прямою серой лентой протянулась перед его глазами далеко-далеко и терялась в небольшом лесу на взгорьи. По дороге тащились, поднимая облака пыли, неуклюжие фургоны, покрытые рогожей и набитые пассажирами, крестьянские мажары, скот, который гнали на базар в Стрый, но не видно было блестящего экипажа, запряженного парой горячих гнедых коней, в котором должна была проехать Фанни. Готлиб с упорством истязающего себя факира сидел под рябиной, устремив свой взор на дорогу. Солнце уже поднялось высоко-высоко и начало немилосердно жечь косыми лучами его лицо и руки, — он не замечал этого. Люди шли и ехали мимо по широкой дороге, разговаривали, погоняли коней, смеялись и поглядывали на угольщика, который устался в одну точку, словно безумный. Жандарм с блестящим штыком на конце винтовки, с плащом, свернутым в баранку, на плечах, весь облитый потом и покрытый пылью, прошел также мимо него, ведя перед собой закованного в кандалы какого-то полуголого, окровавленного человека; он пристально посмотрел на Готлиба, пожал плечами, сплюнул и пошел дальше. Готлиб ничего этого не замечал.

Но вот вдруг из далекого леса, как черная стрела, вылетел экипаж и быстро покатился к Дрогобычу. По мере его приближения лицо Гот-

либа все более прояснялось. Да, он узнал ее! Это была она, Фанни! Он вскочил со своего места и прыгнул на дорогу, чтобы поспешить за экипажем в город, когда она с ним поравняется. Когда он ясно увидел Фанни в бричке, лицо его вспыхнуло румянцем, и сердце начало биться так быстро, что у него дыхание сперло в груди. Фанни, увидя его, узнала в нем того молодого угольщика, который, как безумный, бросился недавно к ее экипажу и так напугал ее. Безрассудно смелая, слепая страсть иногда — а может быть, и всегда — нравится женщинам, наводит их на мысль о слепой, безграничной преданности и обожании. И если раньше Фанни не могла объяснить себе причины этого безумного поступка какого-то грязного угольщика, то теперь, увидев, что он ждал ее за городом на солнцепеке и в пыли, увидев, как он покраснел, как вежливо и робко поклонился ей, словно прося прощения за свое прежнее безумство, увидев все это, она подумала про себя: «Уж не влюбился ли этот полоумный в меня?» Она мысленно назвала его именно так, «полоумный», потому что какой же смысл какому-то оборванному угольщику влюбляться в единственную дочь такого богача, бросаться под ее экипаж, калечить себя, высматривать ее на дороге?.. Но при всем том ей не была неприятна такая безрассудная, страстная любовь, и хотя она далека была от того, чтобы полюбить его за это, но все-таки почувствовала к нему какую-то симпатию, такую, какую можно чувствовать к полоумному, к собачонке. «Ну-ка, — подумала она, — заговорю с ним, чего он хочет. До города еще далеко, на дороге пусто, никто не увидит». И она приказала вознице ехать медленней. Гот-

либ, услышав это приказание, даже задрожал весь: он почувствовал, что это сделано для него, и в ту же минуту поравнялся с экипажем. Фанни, увидя его, отодвинула оконце и высунула голову.

— Что тебе нужно? — спросила она несмело, видя, что Готлиб снял шапку и с выражением немого изумления на лице приближается к ней. Она заговорила по-польски, думая, что он христианин.

— Хочу на тебя посмотреть! — ответил смело по-еврейски Готлиб.

— А кто тебе сказал, что я еврейка? — улыбнувшись, спросила Фанни тоже по-еврейски.

— Я знаю это.

— Так, может быть, ты знаешь, и кто я такая?

— Знаю.

— Тогда, верно, знаешь, что тебе не подобает на меня заглядываться, — сказала она гордо.

— А почему ты не спрашиваешь, кто я такой? — ответил гордо Готлиб.

— Об этом не надо и спрашивать, — одежда сама говорит!

— Нет, не говорит! Лжет одежда! А ты спроси!

— Ну, кто же ты такой?

— Я такой, что мне не вредно и засмотреться на тебя.

— Хотела бы я верить, да как-то не могу.

— Я тебе докажу. Где можно тебя увидеть?

— Если знаешь, кто я такая, то, верно, знаешь, и где я живу. Там меня увидишь.

С этими словами она снова закрыла оконце, сделала знак кучеру, кони понеслись, экипаж за-

стучал по мостовой предместья, и облако пыли скрыло от глаз Готлиба чудное видение. «Забавный малый, — думала Фанни, — но сумасшедший! Что он понимает под словами «лжет одежда»? Разве он не угольщик? Ну, а если нет, то кто же он? Сумасшедший, сумасшедший, и больше ничего!»

«Чудная девушка, — думал Готлиб, — а какая пригожая, а какая вежливая! И с простым угольщиком заговорила! Но что она понимает под словами «дома меня увидишь»? Значит ли это: приходи? Эх, если бы мне одеться по-человечески! Ну, а впрочем, нужно постараться!» С такими мыслями Готлиб поплелся в свою грязную, темную нору.

XII

Прошло несколько недель после рабочего собрания. Полная тишина неожиданно наступила в Бориславе. Предприниматели, которых недавнее грозное движение рабочих порядком напугало, теперь совсем были сбиты с толку, не знали, что делать и что обо всем этом подумать. Правда, были среди них и такие, которые смеялись над этим внезапным порывом и внезапным затишьем, твердили, что рабочие, — по всему видно, — словно пустой ветер: пошумят, пошумят, а дождя не нагонят, и что сейчас, когда они снова стали мягкими и податливыми, пора нажать на них твердой рукой, пора выгнать из них охоту ко всякой невоздержанности. Рабочий только жареный хорош! — говорили они. Ты ему дай поблажку, а он подумает, что так и полагается, и начнет еще больше привередни-

чать и зазнаваться. Только постоянный страх и постоянный нажим могут приучить его к послушанию, покорности, к усердию и точности, сделать его, как любил говорить Леон Гаммершляг, человеком, способным к восприятию высшей культуры.

И все бориславские предприниматели сошлись на том, что теперь, когда разбушевавшаяся волна рабочего движения вдруг притихла, нужно с удвоенной силой нажать на непокорных, хотя и не все предприниматели разделяли тот взгляд, что волна эта полностью и окончательно утихла, улеглась, успокоилась. Нет, некоторые из них, в частности Ицик Бавх, упорно стояли на том, что это обманчивое, лишь внешнее спокойствие, затишье перед страшной бурей, что именно этой тишины и этой притворной покорности нужно им больше всего бояться. Рабочие хорошо организованы и, несомненно, готовятся к чему-то; таинственность и бесшумность их приготовлений свидетельствуют о том, что делают они это систематически, обстоятельно и непрерывно и что у них что-то недоброе на уме. И всюду, где бы только ни собрались предприниматели, случайно на улице, или в горнице на каком-либо совещании, — всюду Ицик Бавх не переставал предостерегать товарищей от грозившей им всем опасности и уговаривал их обратиться к властям в Дрогобыче, просить о снаряжении строгого следствия или хотя бы о присылке сильного отряда жандармов на постой в Борислав. И хотя никто ничего не имел против этого, хотя каждый из них, вероятно, и рад был бы иметь в любую минуту к своим услугам жандармерию для охраны от своих собственных рабочих и для закрепления казенной печатью всех содеянных

ими несправедливостей, однако подать совместное прошение так и не собрались. То ли время жаркое да обессиливавшее было тому причиной, то ли обычный недостаток инициативы в общественных делах, в делах, выходящих за рамки единичных, частных интересов, или, может быть, убеждение, громко высказанное Леоном, что правительство само должно заботиться о безопасности предпринимателей в Бориславе, ведь для того оно и поставлено, — бориславские предприниматели на этот раз так и не решились обратиться к властям или хотя бы донести им о том, что сами знали о недавно зародившемся рабочем движении. К тому же, конечно, и наступившее неожиданное затишье отняло у них прямой повод к такому шагу. О чем доносить властям? Что должны были эти власти расследовать? То, что несколько недель тому назад появились было тревожные признаки какого-то рабочего движения, которые быстро исчезли? Почему же о них не было сообщено во-время? Так все это дело и замялось, пока неожиданный и довольно таинственный случай не пробудил предпринимателей от их беспечной спячки, словно внезапный грохот грома из небольшого темного облачка.

Нужно ли говорить, что этот внезапный поворот от шума к спокойствию и покорности был делом наших побратимов, и осуществлен он был именно для того, чтобы обмануть и ослабить бдительность и подозрения предпринимателей. Слова Ицрика Бавха, подслушанные Басарабом, убедили побратимов в том, что предприниматели могут им сильно навредить, а то и вовсе погубить с помощью начальства все их дело, если оно будет вестись так, как прежде,

открыто и шумно. Вот они и начали уговаривать всех уgomониться до поры, до времени, смириться, подавить в себе бурные чувства гнева и радости, пока не настанет пора. Большого труда стоило побратимам искусственно утишить бурю и держать ее, словно на привязи, чтобы она от первого же толчка не разразилась вдруг раньше времени. Большого труда стоило это, и все они испытывали постоянный страх, что вот-вот может вспыхнуть что-нибудь такое, что предпринимателям не повредит, а рабочим принесет поражение и гибель. Только одна возможность была сдерживать людей: побратимы обещали им, что так скорее придет «пора». Однако побратимы хорошо знали, какими опасными и обоюдоострыми были эти обещания. Ведь такими обещаниями они сами готовили неудачу своему делу, потому что, откуда же они могли взять средства, чтобы выступить так скоро, как того хотелось пострадавшим людям? Денег в главной кассе собралось свыше восьмисот ренских, — взносы пока что поступали аккуратно, но предприниматели стали снова и еще сильнее, нежели прежде, нажимать на рабочих, и следовало ожидать, что взносы скоро сократятся и что в местных кассах будет оставаться бóльшая часть денег для помощи нуждающимся, больным и безработным. И тогда, кто знает, сколько еще месяцев пройдет, прежде чем наберется нужная сумма? Но если так, то и задуманная борьба не сможет скоро начаться, и рабочие начнут сомневаться в своих силах, и пыл их остынет, и все погибнет. Или, быть может, возмущенный народ поднимется преждевременно, поднимется неорганизованно и без определенной цели, потратит силы зря, а задуманное дело все-таки погибнет?

А уж если кого всех больше мучили и терзали такие мысли, так это, наверное, Бенедю. Ведь дело это было его кровное дело, стоившее ему столько мучений и трудов, повитое блестящими лучами надежды. Ведь в это дело,—он чувствовал это ясно,—было вложено все его сердце, все его силы, вся его жизнь. Он ничего не знал, не видел, кроме него, и неудача казалась ему равносильной его собственной смерти. Поэтому неудивительно, что когда сейчас, при исполнении его замыслов, начали возникать все новые трудности, Бенедя дни и ночи только о том и думал, как бы их преодолеть или обойти, позеленел и похудел и не раз долго-долго по ночам, словно лунатик, бродил по Бориславу, печальный, угрюмый, молчаливый, и только время от времени тяжело вздыхал, глядя на темное неприветливое небо. А трудности нагромождались все выше, и Бенедя чувствовал, что у него нехватает сил, что его голова словно обухом пришиблена, мозг как бы омертвел и уже не в состоянии работать с прежней силой, не может придумать ничего хорошего.

С трудом дождался Бенедя вечера, когда в хате Матия снова сошлись побратимы на совет. Что делать? Народу не терпится. Почему не дают сигнала, почему не начинают, почему ничего не делают? Люди опускают руки. Взносы поступают слабее, предприниматели снова снизили плату. Голод по селам немного уменьшился, но жатва была такая убогая, какой не знали люди в самые худшие годы; редко кому хватит своего хлеба до великого поста, большинство едва дотянет и до Покрова. Скоро народ еще сильнее повалит в Борислав. Если уж что-нибудь начинать, то лучше сейчас, потому

что сейчас легче всего задержать людей по селам, чтобы они не шли в Борислав, и даже можно половину рабочих отправить из Борислава в деревни на какие-нибудь две-три недели, чтобы оставшимся легче было продержаться без работы. А тут денег нет,—вот беда! Дойдя до этого «пункта», побратимы замолчали и опустили головы, не зная, как быть, чем помочь горю. Только неровное, тревожное дыхание двенадцати рипников нарушало мертвую тишину, заполнившую хату с низкими, покосившимися стенами.

Долго длилось молчание.

— Га, да будет божья воля, — воскликнул вдруг Сень Басараб, — не тужите, я этому горю пособлю!

Этот голос, эта внезапная решимость среди всеобщего молчания и бессилия поразили всех побратимов, словно неожиданный выстрел из ружья. Все вскочили и повернулись к Сению, который сидел, как обычно, на табурете возле порога с трубкой в зубах.

— Ты пособишь? — спросили все в один голос.

— Я пособлю.

— Но как?

— Это мое дело. Не спрашивайте ни о чем, а расходитесь. А завтра в это время будьте здесь, сами увидите!

Больше он не сказал ни слова, и никто не спрашивал его ни о чем, хотя у всех, а у Бенеди особенно, на сердце залегла какая-то тревога, какая-то холодная боль. Но никто не сказал ничего, и побратимы разошлись.

Сень Басараб, выйдя на улицу, взял за руку Прийдеволю и шепнул ему:

— Пойдешь со мною?

— Пойду, — ответил парубок, хотя его рука неизвестно почему дрожала.

— Будешь делать, что я скажу?

— Буду, — снова ответил парубок, но как-то неуверенно и словно бы нехотя.

— Нет, ты не пугайся, — счел нужным успокоить его Сень, — страшного ничего нет в том, что я задумал. Надо только действовать смело и быстро, и все будет хорошо!

— Не болтай, а говори, что делать, — перебил его Прийдеволя. — Ведь ты знаешь, что мне все равно!

Была уж поздняя ночь. Почти во всех хатах, кроме шинков, огни не горели, и бориславская улица была погружена в темноту. Оба наши побратимы шли молча вверх по улице. Сень внимательно вглядывался в окна. Достигли уже середины Борислава. Здесь дома были лучше, солидней, выкрашенные то желтой, то синей, то зеленой краской, с занавесками на широких окнах и с бронзовыми ручками на дубовых дверях. Перед некоторыми из них были крошечные за решетчатой оградой цветники с жалкими, чахлыми цветами. Здесь жили бориславские «заправилы» и «тузы» — наиболее богатые предприниматели. В центре стоял домик Германа Гольдкремера, самый лучший и красивый из всех, крытый железом и сегодня совершенно пустой. Герман редко ночевал в Бориславе. Рядом с ним, немного в стороне от остальных, стоял другой, не такой красивый и далеко не такой солидный, домик Ицика Бавха. Одно из его окон было освещено, — очевидно, Ицик еще не спал, — это было как раз окно его кабинета.

Сень Басараб знал этот домик. Он долгое

время работал в шахтах у Ицика и не раз приходил сюда за получкой. Он знал, что, кроме старой служанки и самого Ицика, в этом доме не было никого и что служанка, наверно, уже спит на кухне. Этому ему только и надо было. Он дернул Прийдеволю за рукав, и возле ближайшей шахты они вымазали себе лица черной нефтью так, что их совсем невозможно было узнать.

— Иди за мной, не говори ни слова и делай, что я скажу, — шепнул Сень, и они пошли. Осторожно подползли к одним, затем к другим дверям дома, но двери были заперты. Это не обескуражило Сеня, и он начал осматривать окна. Тихий лязг дал знать Прийдеволе, что Сень нашел то, чего искал. Действительно, одна форточка в кухонном окне не была защелкнута и легко открылась. Сень просунул в нее руку, отодвинул задвижки и открыл окно. Влезли в кухню. Кругом было тихо, как в могиле, только сонное дыхание прислуги доносилось из-за печки. Побратимы на цыпочках подошли к двери. Кухонная дверь была не заперта, и они вышли в коридор. Сень нащупал дверь, ведущую в кабинет Ицика и хотел заглянуть в замочную скважину, но в ней был ключ. Попробовал потихоньку повернуть щеколду и убедился, что дверь заперта.

Но Сень и здесь недолго раздумывал. Шепнув несколько слов Прийдеволе, он громко задержал дверную ручку и закричал хриплым бабьим голосом, похожим на голос старой служанки:

— Herr, Herr, öffnen Sie! ¹

¹ Господин, господин, откройте!

— Wus is ¹, — слышался грубый голос Ицника, затем тяжелый скрип башмаков и, наконец, лязг ключа в замке. Дверь тихо открылась, полоса света упала из кабинета в темные сени, и в ту же минуту два рипника, черные, как черти, бросились на Ицника и заткнули ему рот, прежде чем он успел крикнуть. Впрочем, кто знает, может быть, в этом и нужды не было. Неожиданное нападение так напугало Ицника, что он, как стоял с протянутыми руками и недоумевающим, глупым выражением лица, так и застыл в таком положении, и только по тому, как моргал он выпученными серыми глазами, можно было заключить, что это не бездушная глыба мяса и жира, а нечто живое.

— Wie geht's, Herr, wie geht's? ² — пищал Сень все еще бабьим голосом. — Не бойся, голубчик, мы тебе ничего плохого не хотим сделать, нет! Мы еще не настоящие черти, которые должны притти по твою душу, мы только пришли одолжить у тебя немного денег!

Ицник не сопротивлялся, не кричал, не стонал, а все еще стоял, как и в первую минуту, одеревяневший, ничего не сознавая, с заткнутым тряпкою ртом, тяжело дыша. Рипники взяли его за плечи, подвели к креслу и усадили.

— Держи его хорошенько и не давай кричать, — прошептал Сень своему товарищу. — А чуть что, задуши! А я тем временем осмотрю его квартиру!

Впрочем, угроза Сеня была излишня. Ицник не двигался и, словно беспомощный труп, дал Прийдеволе связать себе платком руки за спи-

¹ Что такое?

² Как вы себя чувствуете, сударь, как чувствуете?

ной. А Сень между тем, все еще искоса поглядывая на Ицика, стал осматривать комнату. Повидимому, Ицик делал какой-то подсчет. На письменном столе перед ним лежала большая книга, а возле стола стояла открытая небольшая железная касса. Сень торопливо шагнул к ней и начал вынимать аккуратно сложенные пачки банкнот. В эту минуту из груди Ицика впервые за все время вырвался какой-то глухой глубокий звук, словно последний стон вола, которому перерезали горло.

— Молчи, или смерть тебе! — крикнул Сень, продолжая возиться возле кассы. Он делал это совершенно спокойно и шопотом считал перевязанные узкими бумажными ленточками пачки банкнот, которые вынимал из кассы и клал себе за пазуху. Банкноты были достоинством в один ренский, а по толщине пачек Сень догадался, что в каждой из них должно быть по сто штук. Он насчитал уже тридцать пачек.

— Довольно, пора нам итти! — шепнул он Прийдеволе. Оба взглянули на Ицика. Он все еще тяжело дышал, его толстое, обрюзгшее лицо налилось кровью, а вылезшие из орбит глаза были неподвижны и сохраняли все то же глупое вопросительное выражение.

— Молчи, не то смерть тебе! — шепнул ему на ухо Сень, в то время как Прийдеволя развязывал ему руки. Руки были холодные и свесились, словно неживые; Прийдеволя поднял их и положил на стол. Затем Сень шепнул Прийдеволе:

— Я пойду вперед, а ты, когда услышишь свист на улице, вытащи у него изо рта тряпку и удирай!

Затем Сень осторожно вышел. Прийдеволя

думал, что Ицик начнет вырываться и кричать, и готов был в крайнем случае задушить его. Он стоял над ним бледный, дрожащий, взволнованный до глубины души, но Ицик, как бы не видя и не сознавая ничего, сидел в своем кресле с вытаращенными глазами и дышал, посвистывая носом. Уже и веками не моргал.

Но вот послышался тихий свист под окном. Дрожащей рукой вынул Прийдеволя у Ицика тряпку изо рта, уверенный, что в ту же минуту раздастся страшный крик и разбудит весь Борислав, уверенный, что в ту же минуту прибегут толпы народа к этому тихому дому, поймают его, и свяжут, и побьют, и поведут по улицам, и бросят бог знает в какое подземелье и что это последняя минута его свободной жизни. Но нет, Ицик и глазом не моргнул. Он начал дышать свободней, но зато и медленней, и только.

Прийдеволя постоял еще минуту над ним, не понимая, что происходит, и если бы не отчетливое громкое сопенье, он подумал бы, что Ицик мертв. Но когда снова послышался свист под окном, Прийдеволя оставил Ицика и тихо вышел из комнаты. «Ах, да,—подумал он,—надо погасить свет!» И еще раз вернулся, запер кассу, из которой Сень набрал денег, поднял тряпку, которой был заткнут рот Ицика, погасил свет и, выходя, запер двери, затворил кухонное окно, через которое вылез во двор, и тихонько свистнул.

— Ну что? — спросил Сень.

— Ничего, — ответил Прийдеволя. — Сидит не шевелится.

— Может, задохнулся?

— Нет, дышит.

— Гм, должно быть, здорово перепугался.

Ну, и то не плохо, пускай его завтра водой отливают. А нам пора идти спать! Тридцать пачек имеем, теперь должно хватить! А лицо сейчас теплой водой и мылом, — и никаких следов не будет. Ну, что скажет завтра Ицик, когда опамятуется! Теперь уж, наверное, бежит за жандармами!

Но Ицику было не до жандармов. Густой мрак и мертвая тишина заполнили его кабинет. Он все сидел в кресле, поддерживаемый руками, лежавшими на столе, с выпученными глазами, однако уже давно не было слышно его тяжелого дыхания. Так застало его и утреннее солнце, выглянувшее из-за черных бориславских крыш и через окно заглянувшее ему в мертвые, стеклянные глаза. Так застала его и служанка, так застал его и цырюльник и другие знакомые, сбегавшиеся на ее крик, и никто не знал, что с ним произошло. Цырюльник заявил, что его «кондрашка хватил», потому что на теле Ицика не было ни малейших следов насилия, одежда была в порядке, и ничто не свидетельствовало о каком-нибудь нападении. Правда, служанка рассказывала о каком-то шорохе и скрипе, о том, что она слышала, как пан отпирал ночью дверь, но обо всем этом она говорила очень неуверенно и сбивчиво, не зная, было ли все это во сне или наяву. Затем пришли и должностные лица, обыскали весь дом и все вокруг, но ничего подозрительного не нашли. Открыли кассу: в кассе были деньги и ценные бумаги. Правда, когда сложили вместе цифры, над которыми вчера еще сидел покойный, то оказалось, что в кассе нехватает трех тысяч ренских. Однако и здесь нашлись объяснения. Подсчет, очевидно, был не закончен, последняя цифра была

написана только до половины: возможно, что покойный еще сам кому-нибудь выдал эти деньги. И во-вторых, если бы здесь был грабеж, то грабители, наверное, забрали бы и остальные деньги, которых было более двух тысяч. К тому же часы и кошелек с мелкими деньгами в карманах покойника остались нетронутыми, так что нельзя было поверить в правдоподобность убийства с целью грабежа. Только два или три пятна нефти на лице и белой сорочке покойника будили у всех какое-то неясное подозрение. Раздавались голоса среди предпринимателей, что возможно, это дело рук рипников, которые ненавидели Ицика, и догадка эта, несомненно, не одного предпринимателя пронизывала тайной дрожью, но вслух никто не признавался в этом, тем более, что судебное вскрытие трупа и в самом деле показало, что Ицик умер от апоплексии, к которой давно имел органическую склонность.

Захолонуло сердце у Бенеди и у других побратимов, когда на следующий день услышали они о скоропостижной смерти Ицика. Они ни на минуту не сомневались в том, что эта неожиданная смерть стоит в непосредственной связи со вчерашними словами Сеня Басараба. А когда вечером снова сошлись побратимы в хате Матия, то долгое время сидели молча, опустив головы, словно чувствуя общую вину в каком-то нехорошем деле. Первым прервал молчание Сень Басараб.

— Ну, что же вы сели и сидите так, словно воды в рот набрали? — сказал он, сердито сплюнув. — За упокой Ициковой души молитесь, что ли? Или мне клясться надо перед вами, что я ничего плохого ему не сделал и что если его конд-

рашка хватил, то я здесь ни при чем? А, впрочем, если бы и так, то что из этого? То, что я сделал, я сделал на свой страх и риск, а вы принимайте от меня взнос и делайте свое дело. Вот вам три тысячи ренских! Что Ицика кондрашка хватил, это даже лучше для нас, не будет рассказывать, а другие не додумаются, потому что я нарочно остальные деньги оставил и ничего больше не трогал! А, впрочем, беда невелика, что одним кровососом на свете меньше стало! Где лес рубят, там щепки летят! Ведь не выбросите же вы эти деньги только потому, что они не слишком чистым способом вам достались! Не бойтесь, это не его труд, это наш труд, наша кровь, и бог не накажет нас, если мы ими воспользуемся. И, наконец, разве мы берем их для себя? Нет, не для себя, а для общества! Берите!

Никто не ответил на эти слова Сеня, только Бенедя, словно сдавливаемый какой-то тяжелой рукой, простонал:

— Для чистого дела нужны чистые руки!

— Это верно, — живо подхватил Андрусь Басараб, — но попробуй тут сделай что-нибудь чистыми руками, когда, кроме рук, нужен еще и рычаг, крепкий рычаг. По-моему, если хочешь бревно поднять, то бери рычаг, какой ни на есть — чистый или нечистый, лишь бы крепкий!

— Навоз ведь не шелком выгребают, а навозными вилами! — добавил из угла Прийдеволя.

И пришлось Бенеде волей-неволей уступить. Впрочем, и выхода другого не было.

После этого тяжелого испытания, побратимство заметно оживилось.

Всем словно легче стало, словно камень кто снял с плеч. Начали держать совет, что теперь

делать. Ясное дело, общее собрание рабочих созывать не время, это снова привлекло бы внимание предпринимателей,— война должна вспыхнуть внезапно, неожиданно, должна ошеломить и привести их в смятение, и только в этом случае можно надеяться на победу. Нужно, следовательно, передавать рабочей громаде разные известия без шума, без крика, лучше всего через особых посланцев и кассиров участковых касс. С ними же нужно совещаться о доставке продовольствия и о том, кого из рабочих на это время нужно и можно будет отправить из Борислава. Отправка, понятно, должна быть добровольной: каждый, уходящий из Борислава, получит кое-что на дорогу, и уходить они должны не сразу, а день за днем, небольшими группами и будто бы по разным причинам. Для хранения продовольствия решено было снять амбары в соседних селах: в Лепелях, Бане, Губичах и Тустановичах, где также должны стоять рабочие посты. И еще порешили выслать немедленно двадцать уполномоченных в разные стороны, чтобы они шли по селам и призывали людей не ходить в течение двух недель в Борислав, пока бориславские рабочие не добьются для себя и для всех лучшей оплаты. Спешно, а если можно, то и немедленно, завтра же, должны отправиться Матий и Сень Басараб в Дрогобыч для закупки хлеба. У Матия жил там знакомый пекарь, и он надеялся, что через него можно будет, без шума и не навлекая на себя подозрений, закупить необходимое количество муки и хлеба, а перевезти добрую половину заготовленных запасов муки и хлеба можно будет еще до выступления в течение недели в бочках и ящиках, в каких обычно возят большие

партии воска и нефти. Таким образом все приготовления можно сделать быстро и незаметно, а это именно и явилось бы лучшим залогом успеха рабочих, потому что предприниматели убедились бы в их силе и в хорошей организации всего дела, да и сами рабочие, видя, что им не грозит голод и нужда, чувствовали бы себя смелей и уверенней.

Андрусю Басарабу и Деркачу следовало пойти по соседним селам и у знакомых хозяев (братья Басарабы были родом из Бани, в самом близком соседстве с Бориславом, и знали многих хозяев в окрестных селлах) подыскать соответствующие помещения для своих складов. Остальные побратимы должны были остаться в Бориславе и следить за тем, чтобы все шло по порядку и чтобы предприниматели раньше времени не дознались о том, что задумали рабочие.

А так как в этот день было воскресенье и совещание окончилось довольно рано, то побратимы быстро разошлись, чтобы сразу же созвать участковых кассиров и рассказать им, как обстоит дело. До поздней ночи кипела жизнь в хате Матия: старые и молодые, пожелтевшие и румяные лица мелькали в слабо освещенных окнах, пока, наконец, уже далеко за полночь не разошлись все по домам. Борислав под покровом темноты давно уже спал глубоким сном, только где-то далеко в Новом Свете¹ из одного шинка доносилось хриплое пение какой-то подвыпившей рабочей компании.

Ой, не жалуй, моя мила, що я п'ю,
Тоді будеш жалувати, як я вмру!

¹ Новый Свет — название одного из предместий Борислава.

Еще неделю царила тишина в Бориславе. Еще неделю беззаботно шныряли по улицам предприниматели, устраивали свои дела, торговали, обманывали, получали и выдавали деньги, поглощенные только текущими планами и текущими расчетами. Рабочие также попрежнему ходили измученные, согбенные, вымазанные нефтью; они попрежнему спускались в шахты, вертели корбы¹, ели сухой хлеб и лук, редко пробуя горячую пищу, зато больше потребляя водки. Правда, шумного, разгульного, бесшабашного пьянства теперь не видно было, в шинках не засиживались сборища людей, однако шинкари, которые одновременно были и владельцами шахт, не очень об этом горевали: время было горячее, работа спешная, со всех сторон поступали требования на воск, а с трезвым рабочим все-таки больше можно было сделать, нежели с пьяным. Жизнь текла, словно речка тинистая и спокойная, и казалось, что так она будет течь вечно. А между тем это была последняя неделя!

И в хате Матия, которая в последнее время сделалась настоящим центром рабочего движения, куда каждую ночь, в дождь и непогоду, то улицей, то тайными тропинками пробирались рабочие со всего Борислава на совет, для проверки кассы, для сдачи взносов, либо просто для того, чтобы побеседовать и подбодрить себя,—и здесь было тихо. Бенедя попрежнему ра-

¹ Корба — рукоять колеса, соединенного с валом ворота. Навивая канат на ворот, поднимали бадью из шахты.

ботал на новом заводе церезина у Леона, а Матий, после двухдневной отлучки, возвратясь с Сенем Басарабом из Дрогобыча и рассказав побратимам, что и как они сделали, ходил на работу в одну из шахт, которая также принадлежала Леону. Старик в эти дни словно возродился. Таким живым и веселым еще не видел его Бенедя. Он обо всем заботился, всем интересовался, не ходил, а бегал и, казалось, все силы прилагал к тому, чтобы и самому чем-нибудь способствовать наиболее полному успеху начатого дела. Бенедя, хотя и был занят другим, не мог не заметить этой перемены и в душе порадовался ей. А когда он разговорился как-то с Матием и спросил его в шутку о причине, лицо Матия вдруг сделалось очень важным, серьезным.

— Имею известие, верное известие, — сказал он таинственно.

— Какое, о чем? — спросил Бенедя.

— О моем процессе.

— Ну, и что же?

— Все хорошо. Скоро самборский суд отдаст приказ арестовать Мортка.

— И то не плохо, — сказал Бенедя, но в душе он ощутил какое-то странное, неясное чувство, — он словно жалел Матия, которого в такие важные для всех рабочих минуты может радовать такое мелкое в конечном счете событие. Но скоро его мысль, которая во всем и всюду искала пользы для общества, для задуманного дела, уцепилась и за этот ничтожный факт. «А что, — подумал он, — если придать этому делу как можно большую огласку, если заинтересовать всю рабочую массу этой тяжбой бедного рипника с богатым предпринимателем

(то, что за плечами Мортка стоял Герман, казалось ему совершенно естественным и очевидным для всякого) и если потом в самый разгар борьбы рабочих придут жандармы, закуют Мортка, посадят на телегу и торжественно повезут по Бориславу, — это должно подбодрить рипников, придать им силы и уверенности, укрепить у них убеждение: «И мы что-то можем! И мы хоть иногда можем кое-что сделать, если правда на нашей стороне!» Он высказал свою мысль Матию, и Матий тотчас же согласился с ним. И действительно, в течение нескольких дней от Деркача и Бегунца, от братьев Басарабов и от самого Бенеди почти все рабочие Борислава узнали о процессе Матия, во всех кошарах говорили о нем, высказывали самые разнообразные догадки, как и чем он окончится. Все удивлялись смелости Матия, который отважился снова поднять это дело на свой страх и риск, после того как прокурор от него отказался, и это в значительной мере обостряло интерес к нему. Правда, скоро новые и гораздо более важные события привлекли к себе внимание рабочих, но все же и от этого посева какое-то зерно упало и должно было со временем дать всходы.

Между тем приготовления к рабочей войне быстро окончились. Братья Басарабы наблюдали за перевозкой закупленного в Дрогобыче хлеба, пшена и других продуктов в свои потайные склады в Губичах, в Бане и Тустановичах, где к этому времени были наняты крестьяне, которые должны были ежедневно подвозить определенное, условленное количество продуктов в Борислав. Были куплены три огромных котла, в которых должны были варить кашу для рабо-

чих; даже о полотне для шатров не забыли побратимы, чтобы было где поместить бесприютных, если хозяева, сговорившись, повыбрасывают их из жилищ. К субботе все было готово, и по всем кошарам пронесся радостный и вместе с тем тревожный шопот:

— Настает пора! Пора! Пора!

Так, когда над полем спелой ржи пронесется легкий летний ветерок, кроткие, склоненные стебли еще сильнее наклонятся, потом поднимутся кверху, снова наклонятся, мерно покачиваясь, а полные ожидания колоски шепчут вначале тихо, а затем все смелее: «Пора! Пора! Пора!» А ветер мчится, дальше и дальше, поднимая все новые волны, все шире разбегаясь, а с ним вместе, все дальше, все шире, все громче несется благодатный шопот: «Пора! Пора! Пора!» Двадцатью дорогами из Борислава спешили рабочие посланцы по селам и местечкам, разнося весть о новой войне. Их видели в Уровом и в Подбужье, в Гаях и Добровлянах, возле Стрыя и в Медыничках, в Самборе и Турке, в Старой Соли и Двиняче, в Доброгосотове и Корчине. Их весть бедняки встречали с радостью, богачи с насмешкой и недоверием: кое-где угощали их водкой и хлебом, кое-где спрашивали паспорта и грозили арестовать, но они без страха шли все дальше, не пропуская ни одного поселка, просили и наказывали не итти на работу в Борислав в продолжение нескольких недель, пока они не окончат своей войны с хозяевами. Бесчисленные слухи поползли по селам об этой войне, путанные, страшные, какие обычно порождает великая нужда и безвыходное положение. То говорили, что бориславские рабочие задумали вырезать всех хозяев, то, что они хотят выгнать их из

Борислава. Эти слухи дошли и до жандармов, и они начали рыскать по селам, грозя и заставляя молчать и разузнавая, откуда взялись эти слухи. Двадцать одинаковых донесений поступило в управление начальника уезда в Дрогобыче о каких-то таинственных людях, которые разносят по селам коммунистические идеи. Управление забеспокоилось и велело ловить их, но пока эта казенная переписка дошла по назначению, все наши рипники были уже в Бориславе, взбудоражив три или четыре уезда своими вестями. Долго еще рыскали жандармы по селам, ловили отпущенных на каникулы студентов и захожих городских рабочих, — им и в голову не приходило, что «коммунистическими эмиссарами» могут быть вот эти люди, в грязных, пропитанных нефтью кафтанах и что «эмиссары», которых они ловили, не раз, ссутулившись и сгорбившись, спокойно проходили мимо них.

Наконец, все приготовления были окончены, и в воскресенье началась война. Первым важным военным мероприятием было то, что более половины рабочих, в том числе все менее смелые, много женщин и малолетних в это воскресенье толпой выступили из Борислава. Некоторые из побратимов хотели, чтобы этот уход, необходимый для полного успеха дела и для полного поражения хозяев, происходил постепенно, без шума, небольшими группами, чтобы предприниматели не сразу догадались, в чем тут дело. И сам Бенедя был вначале того же мнения, но затем, непрерывно размышляя, он пришел к мысли, что если уж воевать, то в открытую, и что первый их шаг, резкий и решительный, может сразу нагнать на предпринимателей страх и ослабить их упорство. И он настоял на том,

чтобы «исход из плена египетского» совершился среди бела дня огромной, шумной толпой. Ведь недаром завтра утром должно начаться «празднество», — почему же не дать предпринимателям почувствовать, откуда дует ветер?

В воскресенье, в полдень, улицы Борислава заполнились рабочими и работницами.

Гомон стоял, словно на ярмарке, — рабочие все прибывали и прибывали. Половина из них пришла с сумками за плечами, со свертками в руках, надев на себя всю свою одежду.

— Что такое? Куда вы собрались? — спрашивали предприниматели то одного, то другого рипника.

— Домой, в деревню, — был обычный ответ.

— Зачем домой?

— А чего же? Надо итти, пока еще в поле работа есть, а здесь все равно ничего не зарабатываем.

— Как не заработаете? Вот же зарабатываете.

— Э-э, да разве это заработок! И на прожитие нехватает, не то чтобы какая подмога для хозяйства была. Довольно с нас! Пускай другие зарабатывают.

Рекой поплыл народ вниз по улице, спокойно, печально. За Бориславом на выгоне уже стояли новые толпы. Начали прощаться.

— Будьте здоровы, товарищи! Дай вам боже счастливо закончить то, что задумали! Давайте знать, что здесь слышно будет!

— Будьте здоровы! Авось, скоро в более счастливое время встретимся!

Медленно во все стороны, в горы и долины, по лесам и полям, расходились толпы рабочих, время от времени оглядываясь на покинутый ими Борислав, который спокойно грелся на солн-

це. Так беспечный кот греется и вытягивается и мурлычет вблизи железного зубастого капкана, который вот-вот щелкнет и схватит его своей железной пастью и раздробит ему ребра и лапки.

Правда, бориславские предприниматели не совсем были похожи на этого кота. Уход такой массы рабочих встревожил их не на шутку. Они не могли понять, что произошло с рабочими и чего они хотят. И все же хоть отчасти они успокоились, рассуждая про себя: что же, половина ушла, а половина все-таки осталась, а если этих будет недостаточно, то скоро придут новые, даже больше, нежели нужно. С этой надеждой предприниматели спокойно переспали ночь. Но их расчеты, хотя и казались вполне правдоподобными, на этот раз не оправдались.

На следующий день большая часть кошар пустовала. То есть, собственно, не совсем: надсмотрщики пришли, отперли двери и удивились тому, что рабочие не приходят. Некоторые пришли в бешенство и проклинали рабочих; другие, более спокойные, сели возле дверей на свои скамеечки, обещая как следует набить морды мерзким бездельникам за такое неслыханное опоздание. Но и то и другое было напрасно. Уже солнце высоко-высоко поднялось на небе, а рабочих все не было. Надсмотрщики, быть может, еще долго ждали бы и сгорали от нетерпения, если бы говор, а затем крики и брань в соседних кошарах не дали им знать, что и там, хотя рабочие и сновали взад и вперед, словно осы, произошло что-то неладное, необычное и неслыханное. А произошло там следующее: к некоторым кошарам пришли рабочие и, выстроившись в ряд перед дверью, молча поджи-

дали надсмотрщика. Приходит надсмотрщик, отпирает дверь, рабочие молчат — и ни с места: не идут в кошару.

— Ну, за работу! — кричит надсмотрщик.

— Э, еще время есть у нас, — отвечает холодно тот или иной рипник.

— Как это есть время? — кричит надсмотрщик. — Но я не имею времени!

— Ну, так полезай и работай сам, если тебе так спешно надо! — кричат рабочие и хохочут.

Надсмотрщик синееет от злости, сжимает кулаки, готов первому попавшемуся заехать в зубы.

— Не злись, голубчик! — успокаивают его рабочие. — Мы пришли сюда, чтобы сказать тебе, что больше работать не будем.

— Не будете работать? — лепечет ошеломленный надсмотрщик. — Это почему?

— Потому что не хотим иметь такого пса, как ты, надсмотрщиком — это раз, и потому, что нам мало платят — два. Будь здоров! Передай своему хозяину, что если даст нам лучшего надсмотрщика и по двенадцати шисток в день, то вернемся назад на работу.

И это произошло сразу, одновременно во всех кошарах, во всем Бориславе. Один огромный вопль удивления, гнева и беспомощности вырвался из уст предпринимателей и эхом прокатился по городу от края до края.

Одни надсмотрщики стояли, остолбенев, с разинутыми ртами, услышав эти неслыханные, безбожные слова. Другие вспыхивали безмерным гневом, приходили в ярость, бросались на рабочих с кулаками, угрожая, что они палками и кулаками заставят их работать. Некоторые же недоверчиво усмехались, принимали это за шутку, а когда рабочие и в самом деле расходились

по домам, они махали рукой, ворча: «Тыфу, что за народ! Важничает нивесть как. Словно, кроме них, никого нет в Бориславе. Найдем, братец мой, найдем, кроме вас, рабочих, еще лучших, более покорных, да и более дешевых!» Снова и снова некоторые надсмотрщики, словно белены объевшись, бегали по улицам к своим хозяевам, рассказывали им о происшедшем и просили дальнейших распоряжений, что делать, как быть. Но и на хозяев этот удар свалился так же неожиданно-негадано, как и на их верных приказчиков.

До самого полдня в тот понедельник они не знали даже толком, действительно ли все это произошло, действительно ли во всех шахтах, кошарах и складах и на нефтяных заводах рабочие не вышли на работу. Они долго бегали по улицам, как гончие псы, хватали дрожащими руками первого встречного рипника за плечо, и, хотя пальцы их готовы были, как железные крючья, крепко впиться в рабочее тело, они спрашивали с притворной кротостью:

— Ну, Грицю, почему не идешь на работу?

— Нет работы.

— Как нет? У меня есть.

— А много заплатишь?

— Ну, не спрашивай, а иди работай. Сколько люди, столько и я.

— Не пойду. Мало.

— Не пойдешь? Как это не пойдешь? А что же будешь делать?

— Это мое дело. Не спрашивай!

Словно бешеные, бегали предприниматели по улицам, охотясь за рабочими, но скоро убедились, что напрасны их старания и что рабочие,

повидимому, сговорились. Правда, многим не хотелось верить в возможность рабочего сговора в Бориславе, а иные, хотя и верили, были так поражены этим событием, что и сами не знали, что делать и как помочь беде. Чувствуя свое бессилие, они бегали, твердили о грозящих им убытках, о неслыханной наглости рабочих, об упадке дел в Бориславе, но никому и в голову не пришло подумать о каком-нибудь другом выходе, кроме жандармов.

Предприниматели даже не старались узнать, чего собственно хотят рабочие. Первый день войны прошел довольно спокойно. Обе воюющие стороны, взволнованные и встревоженные новизной и необычностью событий, старались передохнуть, успокоиться, собраться с мыслями, присмотреться к новой обстановке. Бастующие рабочие держались как-то робко, неуверенно, на улицах не видно было больших толп, маленькими группами собирались рипники где-нибудь в сторонке и толковали, что делать дальше. Только за Бориславом, на выгоне, было много народу: там варили кашу и, соблюдая полнейший порядок, наделяли ею нуждающихся; там же находился центр рабочего совета, были все побратимы, был Бенедя.

Бенедя с виду был спокоен, говорил ровным, звонким голосом. Только глаза, необычно горевшие, лицо, необычайно бледное, и новые глубокие морщины на лбу свидетельствовали о том, что его мысль работала с огромным напряжением. Совещались о том, какие выставить требования предпринимателям на случай соглашения. Почти все советовали требовать немного, чтобы тем вернее получить требуемое. Бенедя возразил на это:

— Правда ваша. Кто меньше требует, тот скорее получит. Однако в нашем деле хуже всего было бы требовать мало. Ведь если мы подняли войну, то уже надо добиться, чтобы нам была от нее польза. А главное, как я думаю, надо выставить такие требования, которые не только бы облегчили нашу повседневную жизнь, но вместе с тем помогли бы нам усилиться, крепче стать на ноги. Потому что, видите ли, может случиться и такое, что предприниматели теперь, под нашим натиском, согласятся на все, особенно когда увидят, что мы не только сами не работаем, но и других не допускаем к работе. Но потом, как только мы согласимся на их обещания и прекратим войну, они — бац! — и снова прижмут нас еще пуще прежнего. Вот я и говорю: надо нам такие требования выставить, чтобы обеспечить себя на тот случай, если хозяева не сдержат обещаний, чтобы мы имели возможность в любую минуту снова начать точно такую же войну, если это понадобится.

Все признали справедливость этих слов. Бенедя продолжал:

— Вероятно, вы все уже убедились, что наша сила в единении, в том, чтобы всем держаться заодно. Пока мы жили каждый для себя, не заботясь о других, до тех пор не могло у нас и речи быть о каком-нибудь облегчении, а теперь, как сами видите, общими силами мы дошли до того, что смогли начать такое большое дело: войну с богачами. И мне кажется, что пока мы будем держаться все вместе, до тех пор богачам не удастся взять верх над нами. Поэтому нужно прежде всего поставить им такие требования, чтобы впоследствии наше общество

не только не распалось и не было разбито, но, наоборот, все более укреплялось. Чтобы наша рабочая касса не опорожнялась, а все увеличивалась. Верно кто-то сказал: где хорошо миру, там хорошо и бабкину сыну; если будет сила нашей громады расти и крепнуть, то и каждому рабочему в отдельности будет лучше, — громада сможет поддержать его в любой беде, и предприниматели вынуждены будут бояться нас и не посмеют нарушить свое слово, не посмеют обращаться с рабочим, как со скотиной, а то и того хуже.

— Правильно, правильно! — зашумели рабочие. — Ну, а что же для этого нужно требовать?

— Я так думаю: во-первых, разумеется, чтобы плату нам повысили: тем, которые в шахтах работают, — не менее двенадцати шисток; тем, что на-гора, — ренский, а самое меньшее — восемь шисток; во-вторых, чтобы никто не смел делать никаких кассирных поборов; в-третьих, чтобы в рабочую кассу вспомоществования, кроме рабочих, делали взносы также и предприниматели, каждый не менее ренского в месяц; затем, чтобы в случае несчастья какого — смерти, увечья — они обязаны были платить за больницу и лекарства, а также оказывать помощь осиротевшей рабочей семье хотя бы в продолжение полугода. Я думаю, что эти требования не слишком велики, а для нас от них получилось бы заметное облегчение.

— Верно, правильно! — крикнули в один голос рабочие. — На том и стоять будем! А если у нас и дальше будет своя касса, то и потом мы сможем добиваться уступок.

Предприниматели ничего не знали об этом

совещании. Чем ближе к ночи, тем сильнее охватывал их страх перед рабочими. Дома были заперты. На улицах редко кто показывался. Только глухой говор и шопот и тревожная дрожь проносились по Бориславу, словно поражающая тысячи людей зараза, словно осенний стонущий ветер по роще.

XIV

Фанни, единственная дочь Леона, сидела одинокая, задумчивая на мягкой софе в роскошной комнате. Время от времени она посматривала на часы, которые тикали возле нее под хрустальным колпаком на мраморном столике.

— Третий час! — сказала она тоскливо. — Как медленно тянется время! Отец вернется только в пять, а ты, Фанни, сиди одна!

Как много часов, как много дней просидела она вот так, одна, на этой мягкой софе, возле мраморного столика с часами под стеклянным колпаком! Как много раз сетовала она на это ленивое движение времени! Была ли у нее в руках какая-нибудь работа, которая — она это знала — никому не нужна и никому ни на что не пригодится, или книжка, которая ее никогда не могла занять, — все та же нестерпимая скука и одиночество давили ее, проникали во все поры ее тела, словно едкая липкая грязь. Ее живая, полнокровная натура изнывала и сохла в этом холодном праздном одиночестве. В жилах кипела молодая кровь, фантазия еще сильнее распалая ее, а между тем вокруг — одиночество, холод, однообразие. Ей хотелось любви с чудесными романтическими приключениями, горячих объятий какого-нибудь героя, верности до гро-

ба, безграничного обожания. А между тем дрогобычское общество, в особенности общество дрогобычских «эмансипированных барынь», глупых, бестолковых, было для нее словно ледяная вода для огня. Она ненавидела их с их вечными, заимствованными из книжек комплиментами, с их обезьяньим прислуживанием, в котором,—это явственно чувствовалось,—преобладало почтение к богатству отца, нежели к ее качествам.

— Как медленно идет время! — повторила она задумчиво, тише, нежнее как-то, и несмело выглянула через окно на улицу. Ждала ли она кого? Да, ждала, ждала его, своего героя, этого удивительного юношу, который несколько недель тому назад, словно яркий метеор, неожиданно, таинственно появился на ее горизонте. И появился в полном соответствии с ее романтическими мечтами: королевич в нищенском платье! Бедный угольщик, большие черные глаза которого так и пожирали ее, который так напугал ее, уцепившись когда-то за экипаж и упав на мостовую, который так быстро, так страстно открыл ей свою любовь, который потом немало удивил ее, действительно появившись в ее доме в элегантной одежде, неузнаваемый, блестящий. Как он прям в своих высказываниях, как пылок и энергичен, — не знающий ни преград, ни препятствий, словно и в самом деле какой-то всемогущий королевич! Как он совсем не похож на этих бледных, жалких, трусливых и смешных кавалеров, которых она видела до сих пор! Сколько силы в его мускулах, сколько огня в его взоре, сколько пылкой страсти в его сердце! И как он любит ее! Но кто он такой? Что за человек? Назвался Готлибом, но какого он роду? Может ли она принадлежать ему?

Эти мысли, словно золотисто-розовые нити, мелькали и переплетались в голове одинокой Фанни, и она все нетерпеливее поглядывала на часы.

— В три он обещал притти, — прошептала она, — почему же не приходит? Сегодня должна открыться тайна, почему же его нет? Или, может быть, все это сон, видение моей разгоряченной фантазии? Но нет, он держал мою руку в своей, он целовал мои губы, ох, как горячо, как страстно!.. Он должен притти!

— И он пришел уже, — сказал Готлиб, бесшумно входя и кланяясь.

— Ах, это... ты! — проговорила, зарумянившись, Фанни. Это было первое «ты», которое она ему сказала. — Я как раз думала о тебе.

— А я о тебе и не переставал думать, с тех пор как увидел тебя.

— Правда?

Дальше беседа продолжалась без слов, но для обоих она была очень хорошо понятна. Наконец, Фанни прошептала:

— Но ты обещал мне сегодня открыть свою тайну: кто ты?

— И ты до сих пор не догадалась? Не узнала о том, о чем мог тебе сказать любой из твоих слуг?

— Нет. Я ни с кем о тебе не говорила.

— Я сын Германа Гольдкремера, знаешь его?

— Что? Ты сын Германа, тот самый, за которого отец сватал меня?

— Что? Твой отец сватал тебя за меня? Когда?

— Недавно, два месяца тому назад. Как я боялась тебя тогда!

— Но что же сказали мои родители?

— Я не знаю. Кажется, отец твой был согласен, но мать была против, и я догадываюсь, что она чем-то очень оскорбила моего отца, потому что он пришел от вас сильно взволнованный и разгневанный и проклинал твою мать.

— Что ты говоришь! — вскрикнул Готлиб. — Моя мать! И она могла быть против!.. Но нет, — добавил он спустя минуту, — это возможно, таков уж ее характер. Но она сама должна исправить зло, сама должна упросить твоего отца еще сегодня!

Лицо Готлиба горело дикой решимостью.

— Когда вернется твой отец?

— В пять.

— Ну, тогда прощай. Я пойду и пришлю сюда свою мать, чтобы она уладила это дело. Она должна сделать это для нашего счастья. Прощай, сердце мое!

И он пошел.

— Какая сила, какая решимость, какое горячее чувство! — шептала пьяная от счастья Фанни. — Нет, нет, он не такой, как другие, бледные, ничтожные кавалеры. Как я люблю его, как бесконечно я люблю его!

Между тем Готлиб поспешно направился домой. Он уже был осведомлен о том, что отец знает о его жизни в Дрогобыче. Мать рассказала ему все, когда, заложив тайком от мужа кое-что из своих нарядов, вручила ему желанные деньги. Готлиб ничего не сказал, услышав эту весть; новая горячая любовь к Фанни прогнала его гнев на отца, он теперь гораздо охотнее послушался бы его приказа и вернулся жить домой, если бы только Герман отдал такой приказ. Но нет, Герман ничего не приказывал, словно совсем не заботился о сыне, — очевидно,

ждал, пока тот сам раскается и возвратится к нему. Готлиб же не хотел этого. Сколько раз они встречались на улице, но Герман все делал вид, будто не знает этого молодого нарядного барчука, а Готлиб не хотел первый уступить. Домой к матери Готлиб забегал редко, да и то все в такое время, когда отца не было. Но теперь дело было спешное, и он вошел, хотя служанка сказала ему, что барыня в спальне, а барин в своем кабинете. Пускай, ему до этого барина нет никакого дела.

Ривка сидела в комнате, уставившись глазами в потолок. Болезненное саморазрушение ее духа подходило к концу, было теперь в той стадии, когда после огромного возбуждения наступает омертвление, тяжелое бездумье, одурманивающая меланхолия. Она целыми днями сидела на одном месте, говорила мало и каким-то вялым, разбитым голосом. Казалось, что ее недавняя неукротимо дикая энергия теперь совсем исчезла, рассыпалась на куски.

В таком состоянии оцепенения каждый мог сделать с нею все, что хотел. Только одно продолжало жить в ней: любовь к сыну и ненависть к мужу. Германа очень беспокоила эта перемена, в которой он видел признак какой-то тяжелой болезни, но доктора уверили его, что это признак чрезмерного нервного возбуждения и переутомления и что нужен только покой. Целый день никто к ней не обращался, за исключением разве только слуг, которые приглашали ее к столу или ко сну. Но было несомненно, что и этот покой, мертвящий, пустой, убийственный, также не был для нее хорошим лекарством.

Готлиб, поглощенный своей любовью, совершенно не обратил внимания на ее состояние и,

лишь только вошел в комнату, сейчас же приступил к делу.

— Мама! — сказал он, подходя и садясь рядом с нею.

В ее мутных потухших глазах загорелась живая искорка.

— Что, сынок?

— Правда, что Леон Гаммершляг хотел сватать за меня свою дочь?

— Леон? Ага, правда, этот паршивец хотел.

— И что вы сказали ему?

— Я? Скорее умру, нежели соглашусь принять ее к себе!

Готлиб гневно, почти свирепо взглянул на мать.

— Глупая вы, мама!

— Почему, сынок?

— Потому что я именно Леонову дочку люблю и скорее умру, нежели соглашусь, чтобы она не была моей.

Ривка вскочила с места. Слова Готлиба были для нее словно могучий, пробуждающий удар.

— Это невозможно! — сказала она с силой.

— Это должно быть! — сказал Готлиб, повышая голос.

— Но как ты можешь ее любить!

— Но как вы можете ее ненавидеть?

— О, как я их всех ненавижу, — смертельно ненавижу: и этого Леона, и твоего отца, и ее, всех, всех тех, кто ради денег отрекается от жизни и совести да еще и других топит вместе с собой в этом проклятом золотом болоте!

— Но в чем же она виновата перед вами? А, впрочем, мама, вы любите меня, своего единственного сына?

— Ты еще можешь спрашивать?

— И желаете мне счастья?

— Больше, чем самой себе.

— Ну, так сделайте то, о чем я вас буду просить.

— Что сделать, сынок?

Минутная вспышка былой энергии быстро погасла в душе Ривки, и она снова села, безвольная и подавленная, какой была минуту назад.

— Пойдите сами к Леону, поговорите с ним, уладьте, условьтесь, чтобы мы как можно скорее обручились, устройте мое счастье!

— Твое счастье, сынок? Добре, добре,—сказала Ривка, мало что поняв из его слов.

— Да, мама, мое счастье! Вставайте, расшевеливайтесь, идите!

— Куда, сынок?

— Ведь я же говорю — к Леону.

— К Леону? Нет, никогда!

Готлиб, не понимая болезненного состояния матери, начал злиться, грозить, что руки на себя наложит — и Ривка еще больше перепугалась.

— Ну, добре, сынок, добре! Пойду с тобой, куда хочешь, только не делай с собой ничего! Прошу тебя, будь спокоен! Все сделаю для тебя, только будь спокоен!

И дрожащими руками она начала одеваться, но так неловко и нескладно, так долго примеряла, снимала и снова прилаживала платье, что Готлиб, который сгорал от нетерпения, вынужден был позвать служанку, чтобы та помогла ей одеться. Наконец, они вышли.

Леон Гаммершляг в очень хорошем расположении духа сидел в своем кабинете за письменным столом. Работа на новом заводе шла очень хорошо, и первая партия резины не позднее, чем через неделю, будет готова к отправке за

границу. Тогда будут деньги, можно будет продолжать производство церезина и закончить постройку дома, заброшенную в это горячее время. Счастье улыбалось Леону, — он чувствовал себя сильным и гордым, как никогда. В эту минуту послышался стук в дверь, и вошла Ривка, бледная, с погасшими, неподвижными глазами, медленной, почти сонной походкой. Леон никогда еще не видел ее такою. Необычайное это посещение и странный вид Ривки сильно удивили и немного смутили его.

— Прошу садиться, — сказал он в ответ на ее приветствие, произнесенное каким-то глухим, беззвучным голосом. Ривка села и долгое время молчала. Молчал и Леон.

— Я к вам по одному делу, — сказала медленно Ривка, — хотя и не по своему, но все-таки...

— Очень рад буду служить, — ответил Леон.

— Вы очень гневаетесь на меня, пане Леон? — спросила она вдруг.

— Но... Но, милостивая пани... Как пани могут...

— Нет, нет, я только спросила, чтобы вы — бывает в гневе — не захотели отказать мне в этом деле, смею сказать очень важном, хотя и не для меня...

— О, прошу, прошу!.. — буркнул Леон.

— Дело вот в чем. Вы, пане Леон, еще не покинули свою давнюю мысль соединить наших детей?

— Га, что же делать, должен был покинуть, хотя мне очень жаль, но как же иначе, если ваш сын где-то пропал?

— А если бы мой сын не пропал?

Леон пристально взглянул на нее и увидел

нескрываемую тревогу ожидания на ее лице. «Ага, — подумал он про себя, — вот оно как дело обернулось! У них, должно быть, что-то плохое случилось, и они теперь добиваются моей милости. Но погоди, я тебе отплачу за прежние!» — и добавил вслух:

— Мне очень жаль, что и в этом случае я не мог бы... Имею уже другие виды на мою дочь.

— Ну, если так, то, конечно... Я только думала... Разумеется, не для своей выгоды.

Ривка путалась. Очевидно, отказ Леона глубоко уколол ее.

— Но если бы... ваша дочь любила моего сына?

— Моя дочь вашего сына? Это невозможно!

— Ну, ну, я не говорю, что это так, но, к примеру, если бы так было?

— Э, сказки, фантазия! Я имею другие виды и прошу не отнимать у меня время подобными предположениями!

Леон отвернулся. Он радовался, что может отплатить Ривке за обиду и совсем не думал о возможности того, о чем она сказала.

В эту минуту послышался тяжелый стук шагов в коридоре, и в кабинет влетел запыхавшийся, разгоряченный, распаренный надсмотрщик Леона из Борислава. Леон, увидя его, вскочил.

— Это еще что? Вы зачем?

— Пане, несчастье!

— Какое?

— Рабочие сговорились и не хотят работать.

— Не хотят работать? Это почему?

— Говорят, мало им платим.

— Этого не может быть! Ты пьян, что ли?

— Нет, пане, это так! Я пришел к вам за советом, что делать?

— В шахтах только не работают или и на заводе?

— И на заводе.

— Gott über die Welt! ¹

— Вот несчастье! Что делать? Работа на заводе должна продолжаться, конечно! Слушай, дружок, беги на базар, созови там рабочих и веди в Борислав, я сам тоже иду.

И они выбежали, не обращая внимания на Ривку. Она слышала их разговор и усмехнулась после их ухода.

— Га, вот это хорошо, вот это хорошо! — шептала она. — Так вам и надо! Кабы не дураки были да взбунтовались и побросали бы вас всех до одного в эти шахты! Смотрите, какой! Не хочет теперь, отказывает! Мой бедный Готлиб! Что он на это скажет? Он готов наделать себе беды. Впрочем, так ему и надо: пускай бы не водился с такою, пускай бы искал себе бедную, добрую... Но что я ему скажу? Он такой быстрый, как искра! Нет, я не скажу ему правды, пускай будет, что будет!

И она вышла на улицу, где Готлиб нетерпеливо поджидал ее.

— Ну, что? — спросил он, глядя ей в глаза.

— Хорошо, сынок, хорошо, все хорошо.

— Согласен, обещал?

— А как же, а как же! Через месяц обручение.

— Через месяц? Почему так поздно?

— Нельзя, сынок, скорее. Да и зачем торопиться? Успеет она отравить твой век молодой.

И Ривка начала всхлипывать, словно ребенок.

¹ Бог над миром.

— Мама, не говорите так, вы ее не знаете! — гневно воскликнул Готлиб.

— Не буду, сынок, не буду!..

Однако эта весть не очень обрадовала Готлиба. То ли потому, что еще долго нужно было ждать этой счастливой минуты, то ли потому, что мать сообщила ему эту весть как-то холодно, зловеще, нерадостно, — так или иначе Готлиб не почувствовал той радости, какую он ожидал. Он шел молча с матерью до самого дома. Здесь они разошлись: Ривка — к себе в комнату, а Готлиб — в гостиницу, где он жил, покинув убогую лачугу угольщика.

Дома Ривка уже не застала Германа. Та же самая весть и в то же время, что и к Леону, пришла и к нему, и он, вскочив, велел немедленно запрягать и вместе с Мортком, который принес ему печальную весть о рабочем сговоре, помчался в Борислав. После пережитых волнений Ривка, как была одетая, бросилась на кушетку и потонула в своей бездумной меланхолии. Готлиб в гостинице ходил по своей горнице взад и вперед, размышляя о своем счастье и сиюминутно внушив себе, что он счастлив. Только бедная Фанни, которая за дверью в соседней комнате слышала разговор Ривки и Леона, бросившись на свою софу и закрыв лицо платком, горько-горько плакала.

XV

Герман Гольдкремер впервые в жизни не знал, как ему поступить. Новое, неслыханное доселе в Бориславе событие задало ему загадку. Приехав вчера вечером в Борислав, он долго

ночью не мог уснуть, раздумывая над тем, что слышал и видел. Как же изменился Борислав с того времени, когда он последний раз выехал из него! словно какая-то волшебная сила перевернула в нем все вверх дном. Если раньше бывало предприниматели гордо расхаживали по улицам и сверху вниз посматривали на рабочих, то теперь предпринимателя на улице не увидишь, но зато толпы рабочих, словно шмелиные рои, ходят, шумят, хохочут, грозят и поют. Если раньше, куда ни глянешь, всюду корбы вертятся, сотни рук двигаются, работа кипит, — теперь возле шахт и кошар мертво, пусто, корбы торчат, словно грязные кости, с которых опало тело, а млинки¹ заглядывают в шахты, как бы спрашивая, не хочет ли там кто свежего воздуха. Зато на выгоне, в конце Борислава — там теперь жизнь, там движение! Из окна кабинета Германа виден дым от костра, разложенного под огромным котлом, в котором рабочие варят себе кашу. Из окна слышен шум сходов, слышны оклики часовых, расставленных на всех дорогах, на всех тропинках, которые ведут в Борислав.

— Чорт бы их побрал! Что они себе думают? — вертелось в голове у Германа, и он нетерпеливо ждал восьми часов, — в этот час должны были собраться у него на совещание предприниматели.

— Нет, так продолжаться не может! — говорил он сам себе, шагая по комнате. — Мы должны сломить их сопротивление. Я должен во что бы то ни стало иметь рабочих, много рабочих,

¹ Приспособления для накачивания воздуха в шахты (буквально «мельницы»).

еще на этой неделе. Я непременно должен еще на этой неделе сдать пятьдесят тысяч центнеров воска «Обществу эксплуатации» и получить от него деньги. Пускай потом чорт с ним знается. И «Общество» вот-вот в трубу вылетит, и эти проклятые разбойники готовы какую-нибудь гадость наделать. Но я не дурак рисковать. Если бы еще две тысячи центнеров добыть, сейчас же сдал бы этим господам из «Общества», а они пускай себе делают, что знают, только пускай мне деньги платят. А хорошо я сделал, что поделил законтрактованную массу воска на две части, теперь еще два дня — и первая партия будет готова. Нужно ли будет еще и вторую поставлять, это один бог знает, — впрочем, если нужно будет, тем лучше для меня.

Так рассуждал Герман, шагая по комнате, и все его рассуждения приводили к одному выводу, что все было бы очень хорошо, если бы только рабочие не бунтовали, а принялись за работу, — все было бы хорошо!

— Но они должны! Так продолжаться не может!.. — шептал он. — Хотя бы и пришлось переплатить, все-таки я столько им не переплачу, сколько потом получу прибыли.

Он вспомнил, что вчера послал Мортка, чтобы тот собирал в Дрогобыче всякую голытьбу, всех, кто не имеет работы и не умеет работать — водоносов, мусорщиков, старьевщиков, чтобы пообещал им хорошую плату и направил всех их в Борислав. Герман хорошо знал, что проку от этой голытьбы не будет, он хотел только при помощи этой уловки сломить сопротивление бориславских рабочих. «Это лучшее лекарство от их болезни, — думал он, потирая руки от радости. — Как увидят, что я могу без них обойтись,

что у меня есть свои рабочие, так сами придут, еще и напрашиваться будут. Ну-ка, посмотрим, чья возьмет?»

Какой-то странный шум, который шел от выгона и становился все сильнее, привлек Германа к окну. Но увидеть он не смог ничего, кроме вереницы испуганных предпринимателей, которые спешили по улице к его дому.

— Что это там такое? — спросил их Герман через окно.

— Драка какая-то! Дерутся! — ответили хором предприниматели.

— Кто с кем дерется?

— Здешние рабочие дерутся, но неизвестно, с кем. Какая-то толпа подошла со стороны Губич, они не хотят их пустить в Борислав, ну и началась драка.

Шум длился еще минуту, а потом начал стихать.

— Урра! Урра! — раздалось затем в воздухе. Все предприниматели, в том числе и сам Герман, побледнели и вздрогнули, но никто не произнес ни слова. Молчаливо и тревожно слушали дальше.

— Урра! Урра! — продолжали раздаваться радостные крики, но, кроме этого «урра», ничего больше нельзя было разобрать.

— Прошу, господа, войдите в комнату, посоветуемся, — сказал после долгого молчания Герман.

Едва вошли предприниматели, едва улегся шум приветствий, как вдруг открылась дверь и вбежал бледный и испуганный Леон Гаммершляг. Одежда его была запылена, а местами и порвана, он тяжело дышал и, влетев в комнату, бросился в кресло и долгое время сопел и пыхтел, ничего не говоря. Предприниматели окру-

жили его и глядели на него с выражением такой тревоги, словно это был вестник их неизбежной гибели.

— Что случилось, господи боже, что случилось? — спрашивали они, но Леон нескоро обрел дар речи.

— Gott soll sie strafen!¹ — крикнул он, наконец, вскакивая с кресла. — Они нас всех вырезать хотят, вот что! Разбойники, сговорились на нашу голову!

— Как? Что? Неужели? Кто сказал? Откуда вы знаете? — шумели предприниматели, дрожа от страха.

— И говорить никому не нужно было! — ответил Леон. — Сам вижу своими глазами. Видите, на кого я похож! Слышали крик? Это все они! Ох, что это будет с нами, что-то будет!

— Я давно говорил: послать за жандармами, пускай прикладами гонят их на работу! — крикнул один предприниматель.

— Что жандармы! — возразил другой. — Разве тут помогут жандармы? Тут целое войско надо, чтобы перестрелять их половину.

— Но что случилось? — допытывались предприниматели у Леона. — Рассказывайте все, как было!

— Скверное дело, да и все тут. Рано утром вышел я на выгон, жду этих рабочих, которых велел нанять в Дрогобыче. На выгоне уж полно рипников, словно воронья. Завтрак! И откуда они столько муки и каши достают? И то ведь — две тысячи человек, весь день варят да варят, едят да едят! Видно, уж не без того, что им кто-то помогает!

¹ Чтобы их бог покарал!

Леон замолчал на минуту, чтобы придать тем самым больше веса своим последним словам, а взгляд его, скользя по комнате, остановился на Германе, который задумчиво стоял у окна и пальцами барабанил по стеклу.

Многие предприниматели также взглянули в ту сторону, а некоторые даже вскрикнули, словно осененные неожиданной догадкой:

— Неужели? Не может быть!

— Разве я знаю, — ответил будто бы безразлично Леон, пожимая плечами. — Знать не знаю, но говорю то, что думаю! — Его нечистая совесть велела ему видеть в Германе своего заклятого врага, и он доволен был сейчас тем, что в сердца своих слушателей бросил искру подозрения, будто бы весь этот рабочий бунт — дело Германа, затеянное им для того, чтобы всех более мелких предпринимателей и даже самого Леона припереть к стене.

— Но слушайте же, что было дальше. Иду я себе дорогой, а навстречу мне целая гурьба этих голодранцев. «Куда?» — спрашивают. Я набрался храбрости. «А вам какое дело?» — говорю. «Нам такое дело, — отвечают, — что мы здесь сторожа, следить должны, чтобы никто из Борислава не выходил!» — «Что вы вздор мелете! — вскрикнул я. — Не задевайте людей посреди дороги. Я вас не трогаю, оставьте меня в покое». — «Ну, так оставьте же и вы нас в покое, — отвечают, — возвращайтесь себе подобру-поздорову в Борислав, а туда ходить нельзя!» И, не вдаваясь со мной в дальнейший разговор, взяли меня за плечи да назад. Я начал вырываться, кричать, а они смеются. Сжали меня, словно клещами, проводили до самого Борислава и пустили. «Вот беда!» — подумал я, —

а сам, измученный, еле дышу. Остановился я, оглядываюсь, ан вижу, идут мои рабочие из Дрогобыча. «Га, — думаю, — слава тебе, господи, идет подмога! Из Борислава не пускают, но в Борислав, может быть, пустят». Да и шагаю навстречу им, радуюсь, что их так много, больше ста человек! Однако немного я успел пройти, как эта проклятая стража к ним: «Эй! Кто идет?» — крикнули. — «Добрые люди, рабочие», — отвечают те. «А куда идете?» — «Вот идем на работу, сюда, в Борислав». — «Нельзя!» — «Как это нельзя?» — «Так что нельзя. Вы разве не знаете, что мы посылали повсюду своих людей и просили, чтобы несколько дней никто не шел сюда на работу, пока мы для всех лучшей платы не добьемся?» — «Нет, не знаем», — говорят дрогобычские. «Ну, так знайте теперь, и просим вас по-хорошему, поворачивайте назад, откуда пришли!» Рабочие начали колебаться, некоторые, очевидно, хотели вернуться назад и начали перешептываться с забастовщиками, другие же, хотя, возможно, и не верили этим словам, но боялись забастовщиков, видя какое множество их собралось. Достаточно того, что пришедшие из Дрогобыча стояли, не зная, что делать и с чего начать. Это вывело меня из терпения. Я бросился в середину толпы и крикнул: «Не слушайте их! Они разбойники, лодыри! Тюрьма им будет, а не лучшая плата! Идите на работу, не обращайтесь на них внимания! Восемь шисток в день каждому, что вам еще нужно?» Эти слова как бы ошеломили всех. Пришлые начали двигаться, чтобы податься вперед. Но эти встали стеной! «Стойте! Не пустим никого!» Я снова кричу: «Вперед, за мной!» Шум, гам поднялся, тумачи посыпались, пинки, а по-

том и камни... На крик сбежалось их много, началась драка такая, что и света не видно стало. Я и сам не помню, что со мной было. Несколько кулаков угодили мне и в лицо, и в ухо, и в затылок, и между плеч, так что я и опомниться не успел, как попал в самую сильную давку, а оттуда вытолкнули меня снова на бориславскую улицу. Я оглянулся, — борьба уже окончилась, пришлые бросились врассыпную и побежали в Губичи. Рев, крики «урра!», «урра!» Даже оглушило меня, и я, видя, что ничем помочь не могу, вернулся сюда. Вот так-то!

И Леон, окончив свой рассказ, сплюнул и послал еще одно проклятье «этим разбойникам», которые ни с того, ни с сего наделали им столько хлопот и готовы еще большей беды натворить. Все предприниматели умолкли на минуту, все они раздумывали над тем, что слышали, но никто не мог ничего придумать, кроме одного: жандармов и войско! Только один Герман до сих пор не вмешивался в их разговор, а все еще стоял возле окна и думал. По его наморщенному лбу и устремленным в одну точку глазам видно было, что его мысль работает с необычайным напряжением. И действительно, дело стоило того, чтобы о нем хорошенько подумать, наступало решающее время, когда нельзя было ручаться за завтрашний день, когда нужно было как следует напрячь внимание, чтобы пройти целым и невредимым через все лабиринты враждебной судьбы.

— И еще, проклятые, смеялись надо мной, — выкрикивал раскрасневшийся от возбуждения Леон, — когда увидели, какой я изодраный и запыленный. Но погодите, посмотрим еще, кто будет смеяться последним, — мы или вы!

«Мы или вы, — думалось и Герману, — а лучше сказать: я или вы! Га, что за мысль?!—и он взмахнул рукой, словно желая поймать счастливую мысль, мелькнувшую в эту минуту у него в голове. — Так, так, вот она, настоящая дорога, по ней нужно идти. Удастся может очень легко, а если удастся, ну, тогда и вопроса нет, кто из нас будет смеяться, — я или вы!»

План военных действий быстро сложился в голове Германа, он вышел на середину комнаты и попросил у собравшихся минуты внимания.

— Слушаю вас и удивляюсь, — начал он своим обычным резким тоном. — Жандармы! Разве жандармы заставят рабочих лезть в шахты? Нет, арестуют одних, а остальных разгонят, но нам не станет от этого легче, потому что нам не порядок нужен, а рабочие, дешевые рабочие! Так или не так?

— Разумеется, так! — заговорили предприниматели.

— Войско?.. — продолжал Герман. — Это то же, что и жандармы, только нам, вдобавок ко всему, пришлось бы кормить его, а пользы от него никакой. Я думаю, что оба эти способа ни к чему не приведут.

— Но что же делать, что делать?

— Вот в этом-то и весь вопрос, что делать? Я думаю, что рабочий бунт — это такая заразная болезнь, от которой всеобщих рецептов нет, еще не придумали, а возможно, их и придумать нельзя. Один раз поможет это, другой раз то,—в зависимости от обстоятельств. Нужно учитывать, с чего болезнь началась, как проявляется, ну, и после действовать. В данном случае несомненно одно: платили мы им до сих пор, по нынешним голодным временам, маловато.

— Что? Как? Маловато? — зашумели предприниматели.

— Молчим, — крикнул насмешливо Леон, — господин Гольдкремер желает поиграть в адвоката этих разбойников. Он, верно, предложит нам согласиться на все их требования и отдать им все, что имеем!

— Я ни в какого адвоката играть не хочу, — ответил резко, но спокойно Герман, — я даже не хочу играть в либерала, как это делал до вчерашнего дня господин Гаммершляг, и не буду этим разбойникам рекомендовать никакой «взаимопомощи»: я буду говорить только как гешефтман, *als ein praktischer Geschäftsmann*¹, и больше ничего.

Леон прикусил губу при этих словах, — резкая отповедь Германа сильно уколола его, но он почувствовал, что не может на нее ничего ответить, и молчал.

— Я еще раз говорю, — продолжал, повышая голос, Герман, — платим им мало! Мы здесь все свои люди, и мы можем в этом признаться, если речь идет о том, чтобы узнать причину этого бунта. Волю не режут, если ясли полны! Разумеется, одно дело признаться в этом здесь, среди своих, а другое дело говорить что-нибудь подобное перед ними! Это бы нас зарезало!

— О, верно, верно! — вскричали предприниматели, радуясь такому обороту речи Германа.

— Я это для того говорю, — продолжал Герман, — чтобы убедить вас, что здесь нет никаких посторонних бунтарей и что дело это очень серьезное и важное, которое необходимо как

¹ Как практичный делец.

можно скорее уладить, чтобы из него не выросло еще большее несчастье.

— Куда уж больше, чем то, которое теперь вот на нас свалилось!

— Э, это еще пустяки, — ответил Герман, — не то еще может быть, если мы не сумеем вовремя справиться с бурей... Следовательно, здесь, как я вижу, есть два средства. Очевидно, они к этому заговору заранее подготовились, и подготовились хорошо. Многие из них — взвесьте это! — покинули Борислав, по селам их посланцы уговаривали народ не итти сюда на работу, продукты заготовили. Одним словом, обеспечили себя. Но будьте любезны, учтите и то, что для всего этого нужны деньги, много денег. А откуда они у них возьмутся? Правда, мы слышали о том, что они собирают взносы, но сколько они могли собрать? Ясно, что немного. Значит, первый мой совет был бы такой: сидеть нам спокойно, не обращать на них внимания, не хныкать, а ждать, пока все их запасы будут исчерпаны. Тогда они наверняка придут сами к нам и станут на работу за такую плату, какую мы им предложим.

Говоря это, Герман внимательно следил за лицами окружающих, чтобы прочитать на них, какое впечатление произведут его слова. Впечатление, повидимому, было не очень хорошее, потому что многие лица так перекосились, словно от горькой редьки.

— Да оно хорошо было бы, — сказал, наконец, Леон, — ждать! Если бы мы знали, что у них не сегодня-завтра припасов не станет. Но что, если они обеспечили себя на неделю, либо на две?!

— А откуда бы у них могло столько денег взяться? — спросил Герман.

— Кто знает? — ответили некоторые из предпринимателей, переглянувшись с Леоном.

— А долго ждать мы не можем, — продолжал Леон. — Сами знаете, у нас контракты. Сроки близятся к концу, работа должна быть как можно скорее окончена, ждать нам нельзя!

— Га, если так, то остается только одно средство: удовлетворить их требования.

— Их требования! — вскрикнули предприниматели почти все в один голос. — Нет, никогда! Лучше войско и жандармы!

— Но, господа, — успокаивал их Герман, — вы пугаетесь этих требований, словно они ни-
весть чего требуют!

Предприниматели застыли в недоумении, словно теленок перед новыми воротами. И в самом деле — им и в голову не приходило задать себе такой вопрос. Рабочие представлялись им до сих пор только врагами, которых во что бы то ни стало нужно одолеть, но вот постараться узнать их требования, вступить с ними в какой-то торг, об этом они до сих пор и не думали.

Первым пришел в себя Леон.

— Как это не знаем? Одного хотят: большей платы.

— Ну, еще никто не знает, что это за бóльшая плата, — ответил Герман. — Хотят ли они, чтобы им увеличили плату на пять центов или вдвое против прежнего. Если только так, вообще «повышения», то в этом еще ничего страшного нет, можно и поторговаться. Но, я говорю, нужно прежде всего узнать точно, чего они хотят. Может быть, они и вовсе не этого хотят, или, может быть, кроме этого, еще что-нибудь

хотят? Ведь никто их об этом не спрашивал.

— Правда ваша, надо спросить их самих, узнать, чего им надо! — заговорили предприниматели.

— Но кого же мы пошлем к ним для этого? — спросил Герман.

— Пускай идет, кто хочет, я не пойду, — сказал Леон. — Эти разбойники готовы разорвать человека.

— Если будет ваша воля поручить это дело мне, — говорил Герман, — то я с радостью приму на себя труд.

— Хорошо, хорошо! — раздались голоса.

— А если так, то прошу выслушать еще вот что. Пришла мне на ум еще одна вещь, которая может сделать их более податливыми. Как мы видим, ко всему они подготовились, продуктов накупили, сторожей порасставили, но о жилищах, верно, не позаботились. Ведь все они живут в ваших домах! А что, если бы вы немедленно, сегодня же, всем отказали в жилье? Время уже довольно холодное, — как нарочно, этой ночью поднялся восточный, холодный ветер; если они вынуждены будут мерзнуть под открытым небом, то сразу почувствуют, что плохо с нами вести войну.

— Оно-то правда, — сказали несмело некоторые предприниматели, — но кто знает, захотят ли они уступить? Не разозлит ли их это еще больше?

— Га, посмотрим, — сказал Герман, — но попробовать, я думаю, можно! Ведь в этом нет ничего особенного! Каждый имеет право отказаться постояльцу в жилье когда ему заблагорассудится.

— Ну, попробуем, — ответили предприниматели.

— А если так, то идемте! Пойду к ним, узнаю, чего они хотят. А после полудня, так около трех, прошу вас всех снова ко мне, узнаете, в чем дело, и мы сможем окончательно решить, что нам делать.

На этом предприниматели разошлись.

XVI

Надев шляпу и взяв в руки легонькую тросточку, пошел Герман по улицам Борислава к самому выгону, где было становище рабочих. Он шел так, словно ничего не замечал и ни на что не обращал внимания, пока не дошел до рабочего патруля, который стоял на дороге.

— Эй, — крикнули ему караульные, — куда идете?

— Я? К вам иду, — ответил Герман.

— К кому, к нам?

— Хотел бы поговорить с вами по-хорошему?

— О чем?

— О том, что пора вам за работу приниматься, времени жалко, а здесь стоя, да карауля, ничего хорошего не выстоите.

— Мы сами знаем, что не выстоим, — ответили некоторые из рабочих, — но что делать, если с вами иначе нельзя.

— Ну, ну, еще неизвестно, можно или нельзя. Вы нас не знаете. Вы думаете, если предприниматель, так уже не человек. А мы тоже люди и знаем, что кому полагается. Ну, что с вами долго говорить, скажу вам попросту, — вы, конечно, знаете, кто я такой?

— Как не знать, знаем!

— Ну, так скажу вам прямо: здешние предприниматели, видя, что силой с вами не справиться, послали меня к вам, чтобы заключить мир, велели прежде всего спросить: чего вы хотите, чего требуете?

— Ну, это другое дело, коли так... мы это понимаем! — обрадовались рабочие. — Ступайте вон в ту хату, там сейчас соберется наш совет, вот вы и сможете поговорить.

Один из рабочих проводил Германа в хату Матия, а другой побежал созывать побратимов и других рипников, чтобы шли заключать соглашение. Недолго пришлось ждать Герману. Пришли побратимы, а следом за ними целая гурьба бастующих рабочих, которые не только наполнили тесную хату Матия, но густо обступили ее кругом, любопытствуя, каково-то будет это соглашение.

В хате посадили Германа на скамейку, а побратимы и еще кое-кто из старых рабочих уселись вокруг стола, на топчане и на лежанке. Стасюра, самый старый из присутствующих, сел на почетное место — в конце стола, а Сень Басараб, как обычно, сидел на пороге у дверей.

— Скажите же, пане Гольдкремер, всему обществу, зачем вы пришли, — сказал с достоинством Стасюра.

— Зачем я пришел? — повторил Герман, вставая со скамейки и оглядывая рабочих. — Меня прислали предприниматели узнать, что вы думаете. Почему не хотите сами работать и другим не даете?

— Нельзя работать за такую плату, пане Гольдкремер, — ответил Стасюра. — Мало нам платите. Люди с голоду мрут.

— Платим, сколько можем! — ответил Герман. — Как бы мы стали платить вам больше, если больше нельзя? Дела идут плохо, откуда взять денег? Мы сами скоро нищими станем, по-миру пойдем.

— Ну, этого уж вы нам не говорите! А, впрочем, пане Гольдкремер, скажите откровенно: может ли нас касаться то, что у вас плохо идут дела, как вы говорите? Разве потому, что вы за центнер воска берете не пятьдесят, а только сорок девять ренских, я должен умереть с голоду? Если у вас концы с концами не сходятся и ваше предприятие терпит крах, то вы бросьте его, может быть, на ваше место придет кто-нибудь другой, такой, у которого концы с концами сойдутся. А если нет, то это будет означать, что все это дело совсем не окупает себя и его надо оставить, а взяться за что-нибудь другое. Но это уж ваше дело. Рабочего это никак не касается. Вы ему велите хоть лед пахать, воля ваша, а только платите ему так, чтобы он мог жить по-человечески!

— Дельно и умно вы говорите, — ответил Герман, — ну, и пускай будет по-вашему. Не будем об этом спорить. Предприниматели и сами видят, что так дальше продолжаться не может, что всем нужно как-то жить, предприниматели тоже люди! Скажите, чего вы требуете, чтобы снова начать работу?

— Мы тоже люди, пане Гольдкремер, — ответил Стасюра, — а не какие-нибудь разбойники, как вам, может быть, кажется. Мы не потому взбунтовались, что хотим вас ограбить или что, а потому, что нам так уж туго пришлось, что больше нельзя было терпеть. Поэтому и требования наши невелики. Так вот, послушай-

те, пане Гольдкремер, чего мы хотим. Прежде всего, чтобы рабочим больше платили: тем, что в шахтах работают, — по двенадцать шисток в день, тем, что на-горá, — по ренскому, а детям — по восемь шисток.

— Ну, — сказал Герман, — на это можно было бы согласиться. Что еще?

— Во-вторых, чтобы кассирного у рабочих никто никакого не брал.

— И это небольшое дело: кассирам будет запрещено, вот и не будут брать.

— В-третьих, в случае, если с кем-либо из рабочих на работе произойдет несчастье: смерть, увечье или что, так чтобы хозяин обязан был платить за больницу и лекарства, а также помогать семье пострадавшего, хотя бы в продолжение полугода.

— Гм, и это еще, может быть, удастся как-нибудь сделать. Ну, и все?

— Да словно бы и все, а словно бы и нет, — сказал Стасюра. — Собственно, еще самое главное осталось: нам нужна от вас порука, что после того, как мы заключим соглашение, вы на другой день не нарушите его.

— Порука? — повторил удивленный Герман. — Что же должно быть нашей порукой?

— И это тоже не такая страшная вещь, как может на первый взгляд показаться. Мы хотим основать у себя кассу, для того чтобы иметь поддержку в случае какой-нибудь нужды. Так вот, мы требуем, чтобы сейчас, прежде чем мы станем на работу, каждый хозяин от каждой кошары внес в эту кассу десять ренских и обязался в дальнейшем точно так же от каждой кошары вносить еженедельно по ренскому. На этом и конец.

Герман стоял, вытаращив глаза, и не видел ничего. Это последнее требование было для него, словно удар обуха по голове. До сих пор, выслушивая скромные и мелкие требования, он в душе начинал уже смеяться над рабочими, которые ради таких пустяков поднимали целый бунт. Но теперь для него все стало ясно. Он сразу увидел, к чему ведет это требование.

— Но какая же это вам порука? — спросил он, делая вид, что не понимает всего значения рабочего требования.

— Это уже наше дело, — ответил Стасюра. — Впрочем, как сами видите, порука небольшая, но что же делать: такая уж, видно, наша несчастная доля, что и поруки лучшей иметь не можем.

«Еще и насмехается, бестия!» — думал про себя Герман, не зная, как быть с этим требованием: торговаться или прямо отказать наотрез. Однако и то и другое казалось ему одинаково опасным.

— Нет, это невозможно, — сказал он решительно, — такого требования и не выставляйте, все равно ничего не выйдет! Придумайте для себя какую-нибудь другую поруку!

— Какую же еще придумать? Довольно нам этой одной. Если вы думаете, что это невозможно, то придумайте сами что-нибудь другое, но такое, что нам действительно было бы порукой.

— Я полагал бы, что для вас должно быть достаточной порукой наше честное слово.

— Эге-ге, честное слово! Знаем мы эти честные слова! Нет, пусть уж честное слово в другой раз, а теперь сделайте так, как мы требуем. Честное слово разве только впридачу, так будет лучше всего.

— Но, добрые люди, — начал уговаривать Герман, — на что вы надеетесь, выставляя эти требования? Вы думаете, что вы здесь какие-то цари или самодержцы! Не выставляйте себя насмех! Требуете много, а ничего не получите, так весь Борислав над вами будет смеяться!

— Весь Борислав над нами будет смеяться? А кто же это, пане, весь Борислав? Борислав, пане, это — мы! И для нас пришло теперь время посмеяться над вами! Получим ли мы что, или не получим, это уж потом видно будет, но теперь от своих требований не отступим, будь, что будет!

— Если ваша воля, — сказал Герман, — я скажу хозяевам о ваших требованиях и принесу вам ответ. До свидания!

И, гордо кивнув им головою, он вышел.

— Ну, теперь, небось, сами видите, — сказал после его ухода Бенедя, — что мы в точку попали, требуя от хозяев взносов в нашу кассу. Все они дадут нам сейчас, когда им туго пришлось, но это для них самое тяжелое. Отсюда для нас урок: что именно на этом мы должны тверже всего стоять. Будь, что будет, долго они не могут сопротивляться; нужно только нам крепко стоять на своем! Они хорошо знают, что если дадут нам с каждой кошары по десятке, то мы немедленно на следующей неделе сможем снова такую же забастовку начать!

Между тем Герман в тяжелой задумчивости шел бориславской улицей. «И что случилось такое, чорт, что ли, надоумил этих людей? Ведь если им сразу столько денег отвалить, то это составит несколько тысяч, и они на эту сумму в любую минуту смогут нам выкинуть штучку

еще почище. А забить им голову, чтобы они от-
казались от этого требования, тоже не удастся.
Чорт бы побрал все это!»

Придя домой, долго еще раздумывал Герман над этим делом и никак не мог додуматься до чего-нибудь хорошего. Уже и полдень минул, наступил третий час. Гурьбой валят предприниматели к дому Германа, чтобы узнать от него требования рабочих. Но, узнав их, и свету не рады стали.

— Нет, невозможно, невозможно! — закричали в один голос. — Это нас разорит, это нас с сумой по-миру пустит!

— Га, тогда нам остается одно: ждать, пока их средства иссякнут.

— И этого нельзя делать!

— Да вы словно дети! — вскрикнул гневно Герман. — Ни дома меня не оставляй, ни в поле не бери! Так что же делать? Думайте сами, есть ли какой лучший выход.

Предприниматели притихли.

— Может быть, можно кое-что выторговать?

— Нет, нельзя. Я уже пробовал, и слушать ничего не хотят.

— Га, так пускай их черти заберут, если так! — кричали предприниматели.

— И я это говорю, — добавил Герман, — однако нам от этого не легче.

В эту минуту Леон, который молчал во время всей этой перепалки, придвинулся к Герману и шепнул ему что-то на ухо. Герман встрепелся и отчасти радостно, отчасти насмешливо взглянул на него.

— Только вы снова не проезжайтесь насчет моего вчерашнего либерализма, — прошептал он,

усмехаясь. Что делать! Not bricht Eisen¹, а либерализм не железо!

«Такие-то вы все либералы, пока дело до кармана не дошло!» — подумал про себя Герман, но вслух сказал:

— Что же, ваш совет неплох! У нас теперь одна забота: сломить их сопротивление, а это, верно, их немного охладит. Если бы только вышло.

— Как не выйдет? Должно выйти! Нужно только взяться как следует.

— Что, что такое? — допытывались предприниматели. Леон начал шептать некоторым из них на ухо свой проект, который мгновенно шепотком разнесся по комнате, никто не решался высказать его громко, хотя все знали, что они здесь «все свои».

— Урра, вот это проект! — воскликнули радостно предприниматели. — Теперь мы им покажем, кто над кем будет смеяться. Ха-ха-ха! Проведем! Как кошку за куделькой проведем!

— Так, значит, согласны? — спросил Герман, когда улегся веселый гомон.

— Согласны, разумеется, согласны.

— Если так, собирайтесь, и все вместе пойдем к ним. Все требуемые деньги надо выложить им сейчас же, и пускай они завтра приступают к работе!

С шумом двинулись предприниматели из горницы Германа. Только Герман задержался на минутку, подозвал к себе Мортка и долго с ним о чем-то говорил. Лицо Мортка, рябое и некрасивое, осветилось какой-то злодейской улыбкой.

— Добре, пане, сделаю это для вас, но про-

¹ Нужда ломает железо.

шу вас помочь мне в моем деле. Нехорошие вести доходят до меня.

— Не бойся, я за все отвечаю; все, что могу, я сделаю для тебя.

И затем они вышли к толпе предпринимателей, которые, шумно разговаривая, стояли на улице. Но этот гомон не был уже таким беспечным и веселым, каким он был минуту назад. Холодный ветер улицы остудил немного радость собственников.

— Кто знает, удастся ли это? Риск, риск!— слышалось в толпе, словно шелест увядшей листвы.

— Га, что же делать?—сказал Герман.—Риск есть, но у нашего брата каждый шаг—риск, так уж рискнем, делая и этот шаг. Удастся—хорошо, а не удастся, то на этом еще свет не кончится, и они из наших рук не уйдут.

Толпа шла улицей медленно, словно это было торжественное церковное шествие. Герман первым вошел в хату Матия, чтобы раньше всех принести рабочим радостную для них весть. Слух о процессии предпринимателей прошел уже по Бориславу. Гурьба рабочих валила следом за хозяевами, а другая гурьба ждала перед Матиевой хатой. Но никто еще не знал, что это все значит.

— Ну, что, — спросил Герман, когда рабочие уселись попрежнему, — надумались вы?

— А что нам думать? — ответил Стасюра. — Наша думка одна. Вот, может быть, вам бог послал иные думки на душу.

— Это плохо, что вы такие упрямые, — сказал Герман. — Но, видно, ничего не поделаешь. Такая наша доля, несчастных собственников. Если кто с нами правдой не может совладать,

тот прибегает к силе, зная, что мы против силы не устоим. Так и у нас с вами. Уперлись вы на своем слове, и нам приходится уступить. Не пришла гора к пророку, — пришел пророк к горе.

— Вы согласны? — спросил Стасюра.

— Ну, конечно, что же делать? Согласны! И за это вы должны меня благодарить, слышите, люди? Были среди нас такие, что советовали напустить на вас жандармов, войско, но я сказал: «Успокойтесь!» — и в конце концов все увидели, что я прав, и согласились на ваши условия.

— На все?

— Ну, конечно, на все. Коня без хвоста не покупают. Вон они идут сюда все, чтобы вам из рук в руки, здесь же на месте, передать деньги для вашей кассы. Только вот наше условие: если мы должны платить в эту кассу, то мы должны и присматривать за нею.

— А это зачем?

— Как зачем? Ведь мы платим. А вдруг кто-нибудь раскрадет деньги?

— Ну, это мы еще должны обсудить на совете, это еще мы посмотрим.

— Пусть будет так, — сказал добродушно Герман, — должны на вас положиться, потому что... Ну, потому что должны! Однако сейчас по крайней мере мы хотим знать: сколько денег сегодня поступит в кассу и где эта касса будет находиться?

Стасюра не мог на это ничего ответить. Он вылез из-за стола и начал шептаться с Сенем Басарабом, с Матием и Бенедей. Все они не знали, что и подумать об этой неожиданной податливости предпринимателей; а Сень Басараб сразу же заявил, что боится, не кроется ли за

этим какая-нибудь хитрость. Но Бенедя, искренний и добродушный, рассеял их подозрения. В конце концов, все это не было похоже на подвох. Если бы хозяева хотели отделаться от них обещаниями, то придумали бы что-нибудь другое, но они, однако, хотят давать деньги, а деньги дело верное: возьми деньги в руки, запри в сундук, и кончено. Побратимы поддались на эти уговоры и решили, что справедливость требует, чтобы и предприниматели знали, сколько от них поступило денег в кассу и где эта касса находится.

— Пускай будет по-вашему, — сказал Стасюра. — Выберите двух среди своих, которые присутствовали бы при складчине: у них на глазах деньги будут положены в сундук, вместе со списком — кто сколько дал, на их глазах сундук и запрем, и так будет продолжаться каждую неделю, пока что-нибудь получше не придумаем, как нам быть с нашей кассой.

Нескрываемая радость лучом промелькнула на лице у Германа при этих словах. Громкий говор возле избы дал знать о приходе предпринимателей. Вот они уже начали входить в избу, дотрагиваясь рукой до шляпы, приветствуя рабочих отрывистыми «дай бог». Герман в нескольких словах рассказал им об условиях, и они быстро договорились, чтобы при складчине присутствовали Герман и Леон. Началась складчина. Прийдеволя записывал, кто сколько дает. Сначала подходили мелкие хозяева; они платили с кислым выражением лица, с оханьем, некоторые торговались, другие попросту недодавали по ренскому или по два. Более крупные предприниматели платили с шутками, стараясь уколоть, задеть рабочих; неко-

торые давали по одиннадцать и по двенадцать ренских, наконец, Леон дал двадцать, а Герман целых пятьдесят ренских. Рабочие только поглядывали друг на друга, за окном то и дело раздавались радостные крики, — это рабочие приветствовали свою первую победу в трудной борьбе за лучшую долю. Первую — и последнюю на этот раз!

Складчина окончилась. Пересчитали деньги — их оказалось более трех тысяч. Сень Басараб с порога прокричал эту сумму всем собравшимся рабочим. Радости не было конца. Германа и Леона чуть не на руках несли, они только усмехались, красные и потные от духоты, которая стояла в тесной, набитой людьми хате. Деньги положили в окованный железом ящик, который должен был стоять в хате у Матия. Среди всеобщей шумной радости предприниматели удалились.

— Урра! Наша взяла! Урра! — долго еще кричали рабочие, расхаживая толпами по Бориславу. Веселые песни неслись из конца в конец.

— А завтра — на работу, — говорили некоторые, вздыхая.

— Ну, и что же! Не вечно же нам праздновать! И так праздновали три дня, словно на пасху, разве недостаточно? Это было наше настоящее светлое воскресение!

— А вы, — говорили некоторые на радостях Матию и Сению, — берегите нам нашу кассу, словно зеницу ока. Три тысячи серебром, да ведь это же сумма!

— А ну, панове рипники, нефтяники, дегтяри, чьей милости угодно, вставайте на работу! — кричали на улицах надсмотрщики. — До вечера полсмены! А ну, а ну!

Толпа рабочих валила за ними. На заводе Леона через несколько минут после того, как было заключено соглашение, кипела работа. Леону не терпелось. Он хотел завтра окончить всю партию церезина, чтобы до конца недели упаковать и выслать в Россию. Он сгорал от нетерпения в эти дни вынужденного праздника, а Шеффелю и вовсе было не по себе. Едва дождавшись соглашения, он немедленно, здесь же, позвал Бенедю и других рабочих, которые раньше работали на заводе, и послал их на работу.

Поздно ночью возвратился Бенедя домой. В избе не было никого. Матий также был на работе, — сам Герман просил его, чтобы он работал непременно у него в шахте, по пятнадцать шисток обещал, и старый Матий на радостях поддался. Шахта была глубокая, однако большая ее часть была забита — нефти не было. Зато на глубине двадцати саженей шел первый ряд штолен, пятью саженями ниже — другой этаж, затем третий, в котором сейчас шла работа. Шахта была богатая, — штольни давали ежедневно около десяти центнеров воска, а таких богатых шахт было у Германа более семидесяти. И Матий пришел с работы поздно ночью, измученный, еле живой, и, лишь только вошел в избу, бросился на постель и уснул, как колода. Он не видел, как вдалеке за ним на цыпочках крался улицами Мортко, как он, когда Матий вошел в хату, не заперев дверь, прошмыгнул в сени и притаился в уголке, как, наконец, когда Матий, заперев дверь, разделся и уснул, — тихонько вполз в хату, вытащил из-под печки ящик с деньгами, взял его подмышку и пополз из хаты. Никто не видел этого, разве только

бледнолицый месяц, который время от времени боязливо выглядывал из-за тучи. И никто не слышал, как стукнул деревянный запор в сенях, как скрипнула дверь, как пробирался Мортко улицей, — никто не слышал этого, разве только холодный резкий ветер, который налетел с востока на Борислав и стонал и завывал невдалеке в крутых берегах реки.

На другой день крик и шум поднялся в хате Матия — ящик с деньгами, рабочая касса — исчез бесследно.

На другой день все рабочие узнали, что они рано смеялись! Хозяева встретили их насмешками, а то и бранью, угрозами. Плату сразу же назначили еще ниже прежней, а на бессильные проклятья и угрозы обманутых рабочих отвечали только смехом.

— Это, чтобы вы знали, дурни, как с нами воевать! А где ваша касса, га? Вы думали, что мы ни с того, ни с сего в вашу кассу будем деньги класть? Погодите немного, успокойтесь! Борислав — это мы! И мы теперь смеемся над вами!

XVII

С каким-то странным предчувствием собирался Ван-Гехт в дорогу из Вены в Галицию. Что-то словно подсказывало ему, что в этом новом, незнакомом ему мире ждут его немалые бури и беды, ждет его немало тревог и огорчений. Однако рассудок и официальный письменный контракт говорили ему, что в этом новом мире ждет его довольство и богатство, и у него не было причин не верить этому второму, отчетливому и ясному голосу.

Собираясь в далекий и неведомый путь, он подумал, что ему пригодился бы помощник, и мысль его сразу же остановилась на Шеффеле. Где он и что с ним? Он побежал в полицию, — там указали ему квартиру его бывшего ассистента. Но на квартире Ван-Гехт ассистента своего не застал — несколько месяцев тому назад он выехал. Куда выехал? Этого не знали наверное, знали только, что выехал куда-то nach Polen¹. Хотя Ван-Гехт и не очень был склонен к подозрениям, все же он был в недоумении, куда это nach Polen мог выехать Шеффель. «А жалко, что его нет, — думал он, — мог бы хорошие деньги заработать!»

Как вдруг перед самым отъездом из Вены получил Ван-Гехт письмо из России, от одного высокопоставленного священнослужителя, чуть ли не члена святейшего синода. Священнослужитель спрашивал его, что случилось с его проектом доставки церезина и почему планы его разстроились, или, быть может, он продал свой патент «Обществу горного воска», которое давно уже заключило со святейшим синодом контракт на эту доставку, внесло сто тысяч рублей залога и скоро должно доставить первую партию — пятьдесят тысяч центнеров. Гром с ясного неба не напугал бы так бедного Ван-Гехта, как это дружеское письмо. «Что это? — вскрикнул он. — Откуда эта кара господня на меня? Кто смел, кто мог это сделать?» Словно ошпаренный, бросался он туда и сюда, не зная, что делать. Телеграфно запросил своего знакомого священнослужителя, чтобы тот любезно сообщил ему, с кем имеет контракты это «Общество горного воска»

¹ В Польшу.

и откуда ждет присылки церезина, но священнослужитель не отвечал, возможно, он и сам не знал. Тогда Ван-Гехт побежал с его первым письмом и со своим патентом в государственную прокуратуру, чтобы сообщить там о мошенничестве, могущем причинить ему огромный убыток. В прокуратуре сказали ему: «Хорошо, разыщите мошенника, и можете быть уверены, что он будет наказан». Вот те на, разыщите мошенника! Если бы он знал его, если бы знал, где он! Словно сжигаемый лихорадкой, побежал Ван-Гехт в таможенное управление и добился распоряжения о том, чтобы, в связи с заподозренным мошенничеством, все грузы горного воска, которые отправляются из Галиции в Россию и Румынию, подлежали обстоятельной ревизии. И если бы среди них оказался церезин, то чтобы он был задержан и как *coactus delicti*¹ отправлен в государственную прокуратуру. Сам, за свой счет, не полагаясь на бюрократическую машину, Ван-Гехт разослал по телеграфу это распоряжение во все пограничные таможни, добавляя от себя обещание щедрого вознаграждения тому чиновнику, который обнаружит мошеннический груз. Так, закончив дела, Ван-Гехт облегченно вздохнул и, быстро собравшись, двинулся в путь.

Однако мысль его, глубоко взволнованная, не переставала вертеться вокруг одного вопроса: кто мог это сделать? Дело ясное, только две возможности представлялись ему: либо кто-нибудь случайно, не зная о его патенте, открыл церезин независимо от него, либо Шеффель, которому известен был его секрет, выдал его.

¹ Вещественное доказательство.

И если первая возможность, по мере того как он вдумывался в нее, казалась ему все более далекой, то подозрение относительно Шеффеля с каждой минутой крепло и казалось все более правдоподобным. Неожданным и сильным подтверждением этого подозрения послужило и то, что он услышал об отъезде Шеффеля nach Ro-len. И Ван-Гехт решил, как только приедет в Дрогобыч, начать разведывать потихоньку, не узнает ли что-нибудь о Шеффеле. Счастье благоприятствовало Ван-Гехту.

Приехав в Дрогобыч, он не застал Германа дома, а застал лишь записку от него, с просьбой съездить на завод и осмотреть цезезиновый отдел, устроенный по его плану. Он поехал на завод. Там застал строителя, который наблюдал за установкой котла. Осмотрев цезезиновый отдел, Ван-Гехт высказал строителю свое полное удовлетворение, а так как строитель, окончив работу, должен был также возвращаться в Дрогобыч, Ван-Гехт пригласил его в экипаж, на котором он сам приехал. Сели. Разговорились. Строитель рассказывал Ван-Гехту о Бориславе и о том, что там вчера вспыхнули какие-то беспорядки, о которых до сих пор еще никто ничего определенного не знает.

— Вероятно, обычная мужичья непокорность, ничего серьезного! — добавил он высокомерно.

Затем разговор перешел на другие бориславские темы, о положении восковой промышленности и воскового рынка. Из разговора видно было, что о новом цезезине строитель ничего еще не знает, и Ван-Гехт начал думать, что вряд ли от него можно будет что-нибудь узнать о том, что его интересует.

Но строитель разговорился и говорил уже

обо всем, что только слюна ему на язык принесет.

— Я вам говорю, что вся эта штука недолго продлится, — болтал он, — чуть что, все пеплом развеется, вылетит в трубу. Мелкие хозяева только каким-то чудом держатся, и достаточно какой-нибудь случайности, чтобы все они пошли с сумой. Но и среди более крупных предпринимателей, разумеется, за исключением одного только Германа Гольдкремера, нет ни одного солидного гешефтмана. Все шаромыжники, все обманщики. Вот, пожалуйста, один из богатеев здешних начал строить новый завод, какой-то новомодный завод, и, желая замаскироваться, говорит мне, что это будет паровая мельница. Дает мне план, я уж и забыл, чьей работы был этот план. Ну, ничего, глянул я, вижу, что это нефтяной завод, а не мельница, но, думаю про себя, если тебе хочется, чтобы это была мельница, пускай будет мельница. А он, дурень, еще во время закладки взял да и проговорился, да еще и меня скомпрометировал. Ну, скажите же, разве можно с такими людьми солидное дело иметь?

Ван-Гехта не очень заинтересовал этот рассказ. Но, чтобы не показаться невежливым и хоть как-нибудь поддержать разговор, он спросил строителя:

— Говорите новомодный какой-то завод? А не можете мне сказать, что в нем новомодного?

— Не могу вам этого сказать, потому что, видите ли, строительство это я не вел. Но если вы с этим делом ближе знакомы, то я вам скажу, какой системы этот завод. Позвольте, позвольте, теперь припоминаю: завод строился

по плану какого-то Шеффеля, вероятно, вы знакомы с его системой производства?

Ван-Гехт даже привскочил с сиденья, словно пораженный внезапным ударом электрического тока.

— Шеффеля, говорите? Ну и что же, завод этот уже готов?

— О, давно готов. Говорят, работает день и ночь.

— А имя владельца этого завода?

— Леон Гаммершляг.

Ван-Гехт записал это имя себе в записную книжку.

— Не можете ли вы мне сказать, — простите, что так надоедаю вам, — где находится этот завод?

— В конце Борислава. Как поедете вот этой дорогой вниз, вдоль реки, через вон то село, — называется Губичи, — и не доезжая Борислава, налево, над речкою.

— Благодарю вас. Меня очень интересует эта новая система производства, я должен сегодня же поехать и осмотреть этот завод. До свидания!

Коляска остановилась как раз перед домом строителя, который с ловкостью элегантного человека старого склада пожал Ван-Гехту руку, выпрыгнул из коляски и пошел в свой дом.

Ван-Гехт добрую минуту раздумывал, что ему делать, а затем велел везти себя к Герману обедать.

«Пускай будет и так, — думал он дорогой, — теперь я держу его в руках, теперь он не уйдет от меня!»

Счастливей, радостней и разодетей, как на праздник, вошел Готлиб в светелку, в которой сидела Фанни. Он впервые должен был встретиться с нею после того, как их дело было счастливо улажено между его матерью и ее отцом. Он шел, земли под собой не чуя: голова его полна была картин будущей счастливой жизни, сердце полно было невыразимого чувства, неугасимого огня. Какой-то он застанет ее? Как она радостно улыбнется ему навстречу, как, чудесно зарумянившись, упадет в его объятия, склонит прекрасную головку на его плечо, как он будет целовать, ласкать, голубить ее! Все это, подобно розовым зарницам, вспыхивало в его воображении, и он не шел, а летел, земли под собой не чуя, чтобы как можно скорее увидеться с нею.

Но что это? Вот она стоит у окна, спиной к двери, прислонившись головой к стеклу, и либо не слышит, что он пришел, либо не хочет обернуться. Ее платье, из какого-то серого шелка, хоть дорогое, но все же как-то буднично выглядит: ни одной ленточки, ни одной блестящей металлической безделушки, которые она так любит, — ничто не свидетельствует о том, что она ждет чего-то хорошего, радостного, праздничного. Тихохонько он приблизился к ней, взял ее за плечо и наклонился, чтобы поцеловать в лицо, как вдруг отскочил, словно ошпаренный, увидя обильные слезы на ее глазах и услышав одновременно заглушенные, прерываемые рыданиями слова:

— Уйди от меня!

— Что это? Фанни, что с тобой? Фанни, сердце мое, отчего ты плачешь?

— Уйди, не говори мне ничего!

— Как это не говорить? Что же это такое? Или я уж тебе так ненавистен, так противен стал, что и взглянуть на меня не хочешь, Фанни?

И он снова положил свои руки на ее плечи, слегка пожимая их. Фанни еще сильнее заплакала, но не оборачивалась.

— Уйди прочь! Разве ты не знаешь, что нам нужно расстаться, что нам вместе не быть?

— Нам? Расстаться? Что ты говоришь, Фанни? Ты нездорова, или что? Нам не быть вместе? Кто смеет это говорить?

— Мой отец.

— Твой отец? Это когда же? Ведь недавно, третьего дня, он дал слово моей матери, разве мог он взять назад свое слово?

Фанни невольно обернулась, услышав эти слова, — она и сама не знала, что это значит.

— Наоборот, Готлиб, мой отец сказал твоей матери, что не отдаст меня за тебя, что имеет в отношении меня какие-то другие виды.

— Но мать совсем иное говорила мне!

— А я тебе говорю правду, я все слышала!

— Так, значит, моя мать обманула меня?

— Она, может быть, так только... Чтобы ты не волновался..

— Господи, так это правда! Нет, не может быть! Чем я виноват перед твоим отцом, чем ты перед ним виновата, Фанни, что он хочет нас живыми зарыть в могилу?

— Я не знаю, Готлиб!

— Но нет, нет, нет, — он при этом от ярости топнул ногой, — этого не может быть!

Я не дам играть с собой, как с котенком! Я не котенок, Фанни, я волк, я умею кусаться!

Он сделался красным, как бурак, его глаза начали наливаться кровью, ярость перехватила ему дыхание. Фанни смотрела на него, словно на святого. Никогда он не казался ей таким привлекательным, как в эту минуту дикой ярости.

После минутной передышки Готлиб продолжал уже несколько спокойней:

— Но скажи ты мне, бога ради, Фанни, почему твой отец не хочет выдать тебя за меня замуж?

— Не знаю, — ответила Фанни. — Мне кажется, что он зол за что-то на твоих родителей.

— А ты, Фанни, ты, — и он с диким жаром всматривался в ее глаза, — ты вышла бы за другого, если бы твой отец приказал тебе?

— Готлиб, как ты можешь спрашивать это? Ты же знаешь, я выплакала бы свои глаза с тоски по тебе, я умерла бы с горя, но против воли отца не пошла бы.

— Значит, ты меня не любишь?

— Готлиб! — и она упала в его объятия. Печаль и грозящая разлука придавали силы их ласкам, слезы делали более горячими их поцелуи.

— Но какие виды может иметь твой отец в отношении тебя, Фанни?

— Разве я знаю? Ведь ты же знаешь, мой отец богатый, имеет связи с разными купцами и банкирами, может быть, захочет выдать меня за кого-нибудь из них.

— Проклятое богатство! — буркнул сквозь зубы Готлиб.

— Я бы хотела, чтобы мой отец был бед-

ным, — сказала печально Фанни, — тогда он нуждался бы в милости твоего отца и с радостью выдал бы меня за тебя.

Глаза Готлиба загорелись при этих словах девушки. Он крепко сжал ее руку, так что она даже вскрикнула.

— Хорошо говоришь, Фанни, — сказал он решительно, — и я так говорю. Прощай!

— Куда ты?

— Не спрашивай! Я постараюсь устранить все препятствия, которые стоят на пути к нашему счастью. Ты должна быть моей, хотя бы для этого...

Она не слыхала конца его слов. Словно грозовая туча, выбежал он из дома Леона, и у бедной Фанни тревожно сжалось сердце.

— Что он хочет сделать? — прошептала она. — Он такой быстрый и пылкий, он так горячо и безрассудно любит меня, что готов наделать какой-нибудь беды. Господи, храни его!

А Готлиб, выйдя на улицу, остановился на минуту, словно раздумывая, куда идти. Затем очнулся и помчался домой.

— Мама! — вскричал он, вбегая в комнату матери. — Зачем вы обманули меня?

— Как? Когда?

— Зачем вы сказали, что Леон обещал выдать свою дочь за меня?

— А что, разве не хочет?

— Ведь он и вам сказал, что не хочет! Разве нет?

— Да, сказал. Паршивец он, сынок, я тебе давно говорила, чтобы ты с ними не знался!

Все это Ривка говорила словно сквозь сон, словно это были какие-то смутные, столетней давности воспоминания. Но Готлиба эта сонли-

вость вывела из терпения. Он топнул ногой так, что окна зазвенели.

— Мама! Я вам раз и навсегда сказал, чтобы вы говорили со мной толком! Я вам раз навсегда сказал, что люблю дочку Леона и что она должна быть моей, поэтому не смейте дурно говорить о ней! Понимаете или нет?

Ривка дрожала всем телом от этих грозных слов, значение которых она понимала лишь наполовину, и, словно зачарованная, не сводила глаз с его лица.

— Хорошо, сынок, хорошо! Но чего же ты хочешь от меня?

— Я хочу, чтобы Фанни была моей.

— Но что же делать, если этот мерзавец не хочет выдать ее за тебя?

— Должен, мама!

— Должен? Но как же ты его заставишь?

— Вот об этом я и хотел с вами посоветоваться, мама.

— Со мной? Что же я тебе могу посоветовать? У тебя, сынок, ума больше, нежели у меня, делай, как сам знаешь.

— А так вот вы как! Разгневали Леона, оттолкнули его, а теперь «делай, как знаешь!» Вижу, как вы меня любите!

Ривка начала всхлипывать, как малое дитя.

— Сынок мой, сыночек, только этого мне не говори! Все, что хочешь, только не говори мне, что я тебя не люблю.

— Га, как же мне не говорить, если вы всему моему горю виной, а теперь и посоветовать не хотите, как этому горю пособить.

Бедная Ривка билась, словно рыба в сетях. Она так рада была бы подумать и придумать что-нибудь очень-очень хорошее, умное для сво-

его сына, но ее больные, непослушные и нескладные мысли путались и расползались в беспорядке, — она перебирала тысячи советов, один за другим, и, не сказав ни слова, отбрасывала их, видя, что они совсем не ведут к цели.

— Ты, ты, сыночек, пойди к нему и попроси его... или нет, лучше подговори кого-нибудь из рипников, чтобы хорошенько его поколотили... или еще вот, лучше всего было бы столкнуть этого мерзавца где-нибудь с моста в воду... или нет... ох, что это я хотела сказать...

— Глупая вы, мама!

Ривку обрадовало это слово, оно сняло с нее страшное бремя — необходимость думать.

— Вот видишь, сынок, я тебе говорила, что я ничего путного не придумаю, потому что я глупая, сынок, очень глупая, как пень, как бревно дубовое! Ох, моя голова, моя бедная, глупая, бестолковая головушка!

И Ривка горько зарыдала, сама не зная, отчего.

Вдруг она встрепенулась, взгляд ее оживился.

— Слушай, сынок, что я придумала!

— Что такое?

— Он говорил, что у него есть другие виды на дочь: верно за богача какого-нибудь хочет ее выдать.

— Ну, верно.

— Если бы он был бедный, то отдал бы дочь за тебя.

— Ну, верно.

— Ну, а разве же это большое дело — из богача сделать бедного?

— Небольшое.

— И я так думаю. Поди, ночью подложи огонь под его проклятый завод, все его богат-

ство за один час с дымом улетит, и дочка будет твоей!

Глаза Готлиба загорелись.

— Хорошо говорите, мама! И я тоже так думаю! Спасибо вам!

И он выбежал из комнаты, оставив Ривку наедине с ее мыслями.

Она вначале сидела обессиленная, утомленная необычной работой мысли и улыбалась тому, что вот, мол, какой мудрый совет дала она сыну. Ее лицо в эту минуту напоминало лицо идиота, который хохочет, отрубив голову своей любимой кошке.

Но недолго продолжалось это идиотское спокойствие. Откуда ни возьмись, налетела минута просветления. Ривке вдруг ясно стало, в какую бездонную пропасть толкнула она своего сына; ей вдруг представилось, как ее сын подкрадывается с горящей паклей к высокому, темному зданию, которое он поджигает, убегает, его ловят, бьют, заковывают в кандалы, бросают в какое-то глубокое-глубокое сырое подземелье, — и она в страшном отчаянии схватилась руками за голову и, начав рвать на себе волосы, вскрикнула:

— Сын мой! Сын мой! Вернись!

Но Готлиб был уже далеко и не вернулся.

XIX

И снова побратимы собрались на совет в избе Матия.

Словно с креста снятые, сходились они, словно разбитые, сидели они на скамейках с опущенными глазами, не смея взглянуть друг на

друга, будто это они были виновны в несчастьи, постигшем рабочую массу. А всех больше поддался горю Бенедя. По его впалым, помутившимся глазам, по его пожелтевшему, почти зеленому лицу, по его согбенной, надломленной фигуре, по бессильно повисшим рукам видно было, что вся его жизненная сила подорвана, что улыбка больше не появится на этих увядших устах, что он живет уже чужой, кем-то одолженной ему жизнью, что рабочее горе убило, раздавило его. Сколько он пережил за эти два дня! С какой болью вырывал он из своего сердца одну за другой золотые надежды! Первая минута, когда они с Матием увидели, что дверь не заперта, и затем, словно влекомые какой-то зловещей рукой, убедились, что ящика нет, — эта первая минута была самой тяжелой, самой страшной минутой в его жизни. Все силы разом покинули его, тело застыло, память погасла, он стоял, скрючившись, и не мог пошевелиться. Лишь понемногу вернулось к нему сознание, чтобы принести еще более тяжелые мучения. Что скажут рабочие? Что скажут побратимы? Не возникнет ли у них мысль, что они, подкупленные предпринимателями, отдали им кассу? Эта страшная мысль, словно огонь, жгла его сердце. «И это совсем просто, — шептал ему какой-то злорадный, упрямый голос, — ведь нас двое в доме, взлома нет никакого, следов никаких, — дело ясное, что сундучок взяли при нас и с нашего ведома! И я — предатель! Я, который всю свою жизнь, всю свою душу вложил в это дело, разве я мог бы стать причастным к его гибели!..» И хотя в тот же день Мортко, громко и со смехом, признался в присутствии Матия и других

рабочих, что это он выкрал кассу, что она находится сейчас в гораздо большей безопасности у Германа и что «кто хочет на меня итти жаловаться, тот сам попадет в яму за недозволенные сборы», от этого признания Бенедде не стало легче.

Мысль его находила все новые и новые тернии, которыми снова и снова терзала свои собственные кровавые раны. Кто видел Бенедю во время рабочей забастовки — энергичного, неутомимого, радостного, всегда сосредоточенного и всегда готового помогать другим, вдохновлять и ободрять, и кто видел его теперь — жалкого, сгорбившегося, дрожащего — тот подумал бы, что это другой человек или что он перенес какую-то тяжелую болезнь. И Бенедя действительно переживал тяжелый недуг, от которого, он сам это видел, исцеленья для него не было.

Не меньше поддались горю и другие побратимы, особенно Матий и Стасюра. Только братья Басарабы не изменились и, казалось, не очень горевали. И посмотрите-ка, больше того: на их лицах светилось нечто вроде тайной радости, словно вот, наконец, исполнилось то, чего они давно ожидали.

— Что же, побратимы, — сказал Андрусь после минуты тяжелого молчания, — наш красивый сон окончился, разбудили нас!

Никто не отозвался на эти слова...

— Что печалиться, братья, — заговорил снова Андрусь, и голос его становился все более мягким, — печаль не поможет. Что с возу упало, то пропало, и оно, верьте мне, должно было так случиться! От наших предпринимателей таким путем ничего не добьешься, я это с самого

начала говорил. Не такой они народ, чтобы с ними можно было что-нибудь сделать по-хорошему. Так или иначе, то, что произошло несколько дней тому назад, — великое дело! А пакость эту они не теперь, так в четверг все равно сделали бы. Нечего нам теперь и думать о том, чтобы поступать с ними так, как мы поступали до сих пор!

— Так что же делать? — не то проговорил, не то простонал Бенедя. — Неужто опустить совсем руки и сдаться на их милость?

— Нет и еще раз нет! — живо подхватил Андрусь. — Нет, побратимы, наша война с богачами только начинается. То, что было до сих пор, — это забава, шутка, теперь нас ждет настоящий, великий, горячий бой!

В словах Андруся было столько силы, столько огня и энергии, что все невольно взглянули на него.

— Да, теперь мы должны показать, что и предприниматели рано смеются над нами, что Борислав — это все-таки мы, рабочий народ! Теперь мы увидели, что по-хорошему с ними воевать нельзя, попробуем же по-иному!

— Мы и до сих пор, Андрусь, не... не совсем по-хорошему воевали. Они лишь отплатили нам зуб за зуб.

В этих словах, полных мўки, звучал такой острый и глубокий укор, что Сень Басараб, который, потягивая трубку, сидел у порога, вскочил с места и шагнул к Бенедю.

— Не попрекай, не попрекай прошлым, Бенедя! — сказал он с силой. — Ведь сам ты знаешь, что без этих нечистых денег и твоя чистая война не могла бы начаться.

— Я никого ничем не попрекаю, — кротко

ответил Бенедя, — я знаю сам, что так должно быть, что такая уж наша несчастная доля, что только неправдой вынуждены мы из неправды выбираться, но, побратимы мои, верьте моему слову, — чем меньше неправды будет на наших руках, тем вернее будет наш путь, тем скорее победим мы своих врагов!

— Эге, если б наши вороги тоже так думали и тоже честно с нами поступали, тогда верно, и мы должны были бы равняться по ним, а не то и опередить их! — сказал Андрусь. — Но теперь когда правда связана, а у неправды нож в руках, я боюсь, что пока правда правдой же развяжет себя, неправда и вовсе зарежет ее. Но не об этом мы должны сегодня говорить, а о том, что нам теперь делать. Я думаю, что у нас только одна дорога осталась, но прежде, чем я скажу свое слово, кто знает, может быть, кто-либо из вас придумает что-нибудь иное, по-лучше... поделикатнее, потому что мое слово будет страшное, братья! Так вот, прошу вас, у кого есть что сказать, пускай говорит. Ты, Бенедя?

— Я... ничего не скажу. — Я не знаю, что нам теперь делать. Разве только начать сызнова то, что потеряно?

— Эге-ге, далекая дорога, да и на ней мосты взорваны. Нет, ты уж лучше что-нибудь другое придумай!

Бенедя молчал. Что он мог теперь придумать?

— А вы знаете какой-нибудь способ? — спросил Андрусь остальных. — Говорите!

Никто не откликнулся. Все сидели, угрюмо понутив головы, все чувствовали, что приближается что-то страшное, какое-то великое уни-

чтожение, и в то же время чувствовали, что они не в силах его предотвратить.

— Ну, коли никто не говорит, так я буду говорить. Одна нам теперь дорога осталась: подпалить это проклятое гнездо со всех четырех сторон. Вот мое слово.

Бенедя вздрогнул.

— Не бойтесь, невинные не пострадают вместе с виновными. Все они виновны!

Молчание воцарилось в избе. Никто не перечил Андрусю, но и поддакивать ему никто не решался.

— Ну, что же вы сидите, словно неживые? Неужто вы такие вояки, что войны боитесь? Вспомните же, с какими мыслями все вы вступали в побратимство. Ведь у нас еще хранятся палки с отметинами, и нет ни одного богача в Бориславе, на которого бы отметки не было. Вы недавно напоминали мне о расплате. Сегодня день расплаты, только к прежним отметкам прибавилась еще одна новая, самая большая, — это то, что они обманули и обокрали все рабочее общество, что они ясно показали таким образом, что хотят нас вечно держать в безысходной неволе. Неужели вам мало этого? Я думаю, что одна эта отметина стоит всех!

— Но что же это будет за расплата: подпалите несколько домов, несколько складов, вас похватают и посадят в тюрьму, а если нет, то предприниматели снова скажут: «случайность!»

— О нет, не так оно будет. Если приступать к такой войне, то уж всей громадой, — сказал спокойно Андрусь.

— Но разве же это возможно? Пускай один

найдется из всей громады, который выдаст, и все вы пропадете.

— И так не будет. Каждый из нас, кто согласится на это дело и обещает руки к нему приложить, подберет себе десять, двадцать человек, которым можно довериться, и, не говоря им ничего, велит им в назначенное время собраться в назначенном месте. Тогда даст сигнал. А если бы что открылось, я беру все на себя.

— Но ведь рабочие сейчас разъярены, обозлены на предпринимателей, может произойти какое-нибудь еще большее несчастье, — продолжал Бенедя, защищаясь всякими, хотя бы и самыми слабыми доводами против непоколебимой уверенности Андруса.

— Тем лучше, тем лучше! — даже вскрикнул Андрус. — Теперь скорее удастся моя война, после того как твоя разъярила людей. Ты оказал мне самую большую помощь, и за это я сердечно благодарю тебя.

— Ты страшный, Андрий! — простонал Бенедя, закрывая глаза руками.

— Я такой, каким сделала меня жизнь и они, заклятые мои враги! Слушай, Бенедя, слушайте и вы, побратимы, мой рассказ, будете знать, что навело меня на мысль основать такое побратимство для мести предпринимателям. Отец наш был самый богатый хозяин на всю Баню. Это было после отмены барщины; отец наш арендовал у пана корчму, чтобы не допустить захожего корчмара-чужака в село. Прибыли большой от той аренды не имел, только то наш, что соседние корчмари страшно на него взъелись. Отец торговал честно, водку водой не разбавлял, и отовсюду народ шел к нему. Другие корчмари готовы были растерзать его

за это. Сперва начали перед паном вертеться, чтобы под отца подкопаться, но пан знал отца и не верил корчмарям. Видя, что таким способом ничего не добьются, шинкари взялись за другие средства. Подговорили воров, а их тогда много было по селам, начали они вредить отцу. Раз пару коней из конюшни вывели, или вот опять же бочку водки выпустили, а еще в амбар забрались. Но и этим способом не могли они отца свалить. Покража отыскалась, а те, что бочку выпустили, сами выдали себя и должны были оплатить убыток. Тогда они, что делать, подожгли нас. Едва мы живые выскакивали, все сгорело. Отец наш был сильный, твердый человек, все эти несчастья не сломили его. Бросился он туда-сюда, к пану, к соседям, помогли ему, начал он снова становиться на ноги. Тогда корчмари подговорили нескольких пьяниц, бывших панских лакеев, убить отца. Они напали на отца ночью посреди дороги, но отец справился с ними и одного, оглушенного, приволок домой. Тот во всем признался, кто его подговорил и сколько заплатил. Отец — в суд, два шинкаря угодили в тюрьму. Тогда остальные взяли и отравили отца. Зазвали его якобы на пирушку по случаю примирения и дали что-то; как пришел домой, так сейчас же и свалился, как подкошенный, недели не прошло — умер. Пан, который очень любил отца, прислал комиссию, комиссия обнаружила яд, но некому было добиться правды, и дело замялось. Еще и матери шинкари пригрозили, чтоб пикнуть не смела, иначе, мол, плохо будет. Мать испугалась и оставила их в покое. Но нас шинкари не надолго оставили в покое. Они, видно, решили совсем изничтожить нас. Мать наша

умерла от холеры, остались мы с Сенем—сироты-подростки. Вместо нашего отца корчму содержал захожий шинкарь, — вот он-то теперь и привязался к нам. Сюда-туда, втерся он в опекуны к нам и взял нашу землю в свое пользование, а нас на воспитание. В нашем селении и тогда уже пришлых людей было достаточно, и это было не диво, что зайда стал опекуном крестьянских сирот. Ох, и узнали же мы эту опеку! Вначале было нам хорошо, словно у Христа за пазухой: опекун угождал нам, работать не принуждал, еще и водочкой угощал. Однако, чем дальше, тем хуже, и, наконец, он превратил нас в своих батраков-попихачей. Мы начали домогаться своей земли, но шинкарь тем временем сумел уже так снюхаться с панами и с начальством, что у нас вовсе отсудили эту землю. Однако шинкарь еще не чувствовал себя спокойным и старался окончательно от нас избавиться. Начал подстрекать отпускиников-солдат, чтобы те били нас; потом подкупил войта, чтобы тот настоял в приемной комиссии и нас забрали бы в новобранцы. Но мы все пережили и, отслужив в солдатах, вернулись назад в село. Шинкарь задрожал; он знал, что мы не простим ему свою обиду, и старался опередить нас. Пригласил нас к себе, будто бы в гости, и хотел отравить, как отца. Но на этот раз хитрость не удалась ему. Мы узнали об этом и силком накормили самого корчмаря тем кушаньем, которое он нам приготовил. Через неделю его не стало. Тогда мы покинули свое село и ушли сюда, а дорогой поклялись до самой своей смерти мстить этим кровопийцам. Мы решили поступать с ними так, как они с нами: поднимать против них как можно больше людей, вредить

им, где можно, и делать это так ловко, чтобы они и сами не знали, откуда на них обрушится беда. С того времени прошло уже десять лет. Как мы до сих пор выполняли свою клятву, об этом не буду рассказывать. Но самая большая наша месть приближается теперь, и кто хочет быть нашим братом, нашим истинным другом, кто хочет мстить за свои и за общие обиды, тот пойдет вместе с нами в этой борьбе!

Последние слова Андрусь произнес приподнятым, почти торжественным голосом. Его рассказ, сухой, отрывистый, словно нехотя рассказанный и вместе с тем такой тяжелый и соответствующий мрачному настроению всех побратимов, произвел на них огромное впечатление. Первый Прийдеволя вскочил и подал руку братьям Басарабам.

— Вот вам моя рука, — сказал он, — я с вами, хоть и в могилу! Что будет, о том не беспокоюсь, а что скажете, то сделаю. Лишь бы только отомстить, ни о чем больше я не думаю!

— И старого Деркача, авось, также не отвергнете, — слышался голос из угла, и лицо Андруся осветилось улыбкой.

— Никого не отвергнем, браток, никого, — сказал он.

Вслед за Деркачом один за другим заявили о своем согласии все побратимы, кроме старого Матия, Стасюры и Бенеди. Андрусь радовался, шутил.

— Ну, эти два староваты, от них нам все равно пользы большой не было бы. А ты, Бенедя? Все о своих «чистых руках» мечтаешь?

— О чем я мечтаю, это дело десятое, это только меня касается. Но одно вижу, что наши

дороги нынче расходятся. Побратимы, дозвольте мне сказать вам еще слово, прежде чем совсем разойдемся.

— Что там его слушать! — буркнул, сплевывая, Сень Басараб.

— Нет, говори! — сказал Андрусь, который теперь чувствовал себя попрежнему главой и руководителем этих людей, преданных ему душой и телом, и в этом чувстве обрел снова ту уверенность и силу в обращении с людьми, которая отличала его прежде и которая едва не покинула его во время недолгого предводительства Бенеди. — Говори, Бенедя, ты был хорошим побратимом и искренне хотел для всех добра, мы верим, что ты и теперь того же хочешь. А если дороги наши расходятся, то это не потому, что мы по своей воле отрекаемся от твоих советов, но потому, что судьба толкает нас туда, куда ты или не можешь, или не хочешь идти с нами.

— Спасибо тебе, Андрусь, за твою добрую веру! Но в то, что ты говоришь про судьбу, которая будто бы толкает вас на злое дело, — вот в это я никак не могу поверить. Какая тут судьба? Если богачи обманули и обокрали нас, если связали нам руки и закрыли нам временно дорогу к спасению, то разве из этого вытекает, что мы должны отказаться от своей чистой совести, стать поджигателями? Нет, побратимы мои, и еще раз говорю — нет. Перетерпим эту несчастную годину. Время залечит все раны, успокоит наш гнев, мы постепенно найдем в себе силы начать погубленное дело сначала, и когда-нибудь мы снова поставим его на ту ступень, на которой оно было недавно. Только уж тогда, наученные однажды, будем более осто-

рожными. А своим поджогом что вы сделаете, кому поможете?

— Им навредим, и этого нам достаточно!— крикнул Сень.

— Ох, недостаточно, брат Сению, недостаточно! Может быть, тебе, вам нескольким и достаточно, потому что вы в том поклялись. Но другим? Всем рабочим? Разве они будут сыты от того, что богачи разорятся? Нет, будут вынуждены снова работать попрежнему и довольствоваться еще меньшей платой, потому что богатый все-таки, хоть по принуждению, может заплатить больше, а бедный не может. А если, не дай бже, откроется ваш заговор, многие из вас пойдут тогда гнить в тюрьму, или, кто знает, что еще может случиться! Нет, побратимы, прошу вас еще раз, послушайте моего слова: оставьте свои страшные замыслы, будем и дальше трудиться сообща так, как начали, а месть оставим тому, кто взвешивает правду-кривду и каждому отмеряет по делам его.

— Те-те-те, ты уж что-то поповское запеваешь, — ответил насмешливо Сень. — Не время нам ждать этой промерки, о которой до сих пор что-то мы ничего не знаем. Моя думка: у кого крепкие кулаки, тот сам себе отмеряет правду. И нам так же надо поступать. Кто сам себе помогает, тому и бог поможет!

— Да, побратим Бенедя, — сказал уже мягче, ласковей Андрусь, — нельзя нам назад возвращаться. Размахнулись топором, так уж надо рубить, хотя бы и мог нам этот топор в зубы угодить. Если ты не хочешь с нами компанию держать, мы тебя не насилуем. Конечно, мы надеемся на тебя, что не выдашь нас.

— Га, если иначе нельзя, если так должно

быть, — сказал Бенедя, — то пускай будет так, останусь с вами до конца. Поджигать с вами не пойду, этого от меня не требуйте, но останусь здесь на месте. Может быть, смогу вам в чем-нибудь другом помочь или посоветовать, так грех был бы, кабы я в такую горячую пору убежал от вас ради собственной безопасности.

— И я также! И я также! — сказали Стасюра и Матий. — Все мы стояли до сих пор дружно, в более счастливые времена, надо нам держаться вместе и в те трудные минуты, которые для нас настанут.

— Так, побратимы! Спасибо вам за это, — сказал Андрусь, пожимая им поочередно руки, — теперь я спокоен и силен, теперь пусть трепещут наши враги, потому что время мести приближается. Какое семя дает нам судьба в руки, такое и сею. А какие оно даст всходы и кто соберет плоды — это дело не наше, мы, может, и не доживем до этого. А теперь остается нам подробно обсудить, когда и как должно это произойти.

Все побратимы, кроме Бенеди, Матия и Стасюры, столпились вокруг Андруся и вполголоса начали о чем-то оживленно совещаться. Матий сидел на лежанке, машинально держа в зубах давно погасшую трубку. Стасюра чертил палкой по земле, а Бенедя долго сидел на скамейке, свесив голову, затем встал, вытер рукавом две горючие слезинки, которые вот-вот готовы были упасть из его глаз, и вышел на улицу. Это он прощался со своими золотыми надеждами...¹

¹ На этом обрывается повесть. Вот что писал о ней И. Франко: «Это была попытка изобразить стихийное



Была глухая ночь, когда Бенедя вышел из хаты. Резкий ветер обдавал холодом его пылающее лицо. Кое-где мерцали огоньки: это светились окна шинков, где высасывали последнюю кровь из рабочих. Бенедя не замечал, как холодный ветер забирался ему под рубаху и леденил кровь. Сердце стучало в его груди, как молот, когда он думал о всех последствиях того, к чему готовился Андрусь.

Сколько рабочих отправится в тюрьмы, сколько горя принесет тяжелая безработица для многих тысяч голодных людей... Две силы боролись в его душе: одна — прежний, тихий Бенедя, покорный, работающий, мечтавший упорным трудом обеспечить спокойную старость своей матери, — Бенедя, наученный теперь недолгим, но мучительным опытом, и другая — Бенедя сильный и страстный, который при виде содеянной несправедливости, более вопиющей с его точки зрения, чем все прежние, кипел и порывался расплатиться за зло таким же и, может быть, еще большим злом. Жажда мести не давала думать о последствиях. Что будет, если сгорит Борислав? Кто пострадает больше: предприниматели или рабочие? Не мог ответить на это Бенедя, блуждая по улочкам Борислава.

Свирепый ветер становился все сильнее. Сколько времени прошло с тех пор, как он ушел

рабочее движение бориславских рипников, которое окончилось большим пожаром Борислава осенью 1873 года». Повесть не была окончена. Далее мы помещаем окончание, которое на основании рассказа И. Франко написал его сын Петро Франко.

от Матия, Бенедя не помнил. Пришел в себя, когда его ушей коснулись какие-то звуки. Он хорошо слышал: они вырывались из дверей большого дома, окна которого были ярко освещены.

— Ха-ха-ха!

Да, сомнений быть не могло: кто-то весело смеялся. На белых занавесках мелькали черные тени. Смех, словно ножом, резнул по сердцу Бенеди. Как давно уже он не слышал веселого смеха! А он сам? С тех пор, как помнит себя, он не мог смеяться. С восьми лет сирота, тяжелый труд, больная мать, побои мастера... А здесь кто-то смеялся: весело, звонко. Бенедя с трудом перелез через забор и заглянул в окно. Вокруг длинного стола сидели главари нефтяного дела. Запивали шампанским победу. По покрасневшимся лицам, по залитой вином скатерти и по свободным, может быть, слишком свободным, движениям можно было легко заключить, что веселье было в самом разгаре.

Вдруг... взгляд Бенеди упал на человека в потертом сюртуке и в забрызганных грязью сапогах. Оскаленные зубы, противный смех превращали его худое, костлявое лицо в какую-то дьявольскую маску. Глаза присутствующих были устремлены на этого человека, который, гримасничая, подкрадывался к печке. Вот он медленно открыл дверцу и запустил руки в глубину. Бенедя напряг зрение и прижался лицом к стеклу, чтобы не пропустить ни одного движения. Вот худые, длинные руки вытаскивают что-то из печи, худая фигура возвращается на цыпочках к столу и поднимает кверху... Глухой стон вырвался из груди Бенеди. Он увидел рабочую кассу, которую высоко поднимал Мортко. У Бенеди в

глазах потемнело, и дыханье в груди сперло. Все собравшиеся хлопали, словно сумасшедшие, в ладоши и заливались громким смехом:

— Ха-ха-ха!

Борислав смеялся.

Мортко опустил ящик, и его глаза встретились с глазами Бенедя, на лицо которого падал яркий свет. Бенедя видел, как смертельно побледнел Мортко, как обессиленные руки вырвали тяжелый ящик и он с треском упал на пол, как переглянулись предприниматели и по немому знаку Мортко бросились к окну, но не нашли там никого.

Бенедя застал еще побратимов в избе Матия.

— Братья! И я с вами! Пускай и наш Борислав смеется! — вот все, что мог вымолвить Бенедя, когда глаза Андруса остановились на нем.

XX

Леон имел основание радоваться: первый вагон перезина катился на север, к русской границе. Другие вагоны стояли наготове. Еще два-три дня — и договор будет выполнен, вложенный труд будет вознагражден сторицей. На ясном теперь небе он не видел ни одного облачка. Но нет! Его чело омрачилось, когда Фанни призналась, что безгранично любит Готлиба. Теперь, когда Леону казалось, что он схватил золотого вола за рога, ему хотелось поторговаться немного с Германом, хотя в душе он не имел ничего против этого брака. Усиленными мольбами Фанни заставила его еще раз пойти к Гольдкремеру. Он застал подавленного Германа и сумасшедшую Ривку, которая сама от-

крыла Герману замысел Готлиба. Герман уже знал от Ван-Гехта о предприятии, основанном Леоном. Они стали лицом к лицу. Герман показал Леону телеграмму: вагон цезезина задержан. Суд отдал приказ арестовать Шеффеля и опечатать завод цезезина. А Готлиб? Герман все-таки любил своего единственного сына, хоть и не такой звериной любовью, как Ривка. Все трое, придя к соглашению, садятся в карету и мчатся в Борислав, чтобы спасти Готлиба и Фанни, которая грозит, что наложит на себя руки, если с Готлибом случится несчастье.

XXI

Двадцать отрядов рабочих, собранных побратимами, направляются во все концы Борислава.

В двенадцать часов они должны взяться за работу. Бенедя должен поджечь завод цезезина, а его помощники — цистерны и склады. Городские часы бьют полночь. В Бенедее борются два чувства: одно повелевает уничтожать врага, другое велит добиваться лучшей доли иным путем. Возле завода он замечает, что потерял огниво. Бежит в избу и, когда хочет войти в нее, видит, что весь город усеян огнями. Могучие столбы пламени растут на глазах, словно сказочные богатыри. Сильный ветер разносит огонь и раздувает его еще сильнее. Огней становится все больше. Они растут и сливаются в одно сплошное море пламени. Огромные огненные языки качаются из стороны в сторону. Ревет ветер. Это смеется Борислав. Но что это? Начинает гореть завод Леона! Бенедя бежит туда и видит, как через разбитое окно вылезает Готлиб.

Одновременно появляются с одной стороны Герман, Леон, Фанни и Ривка, а с другой — рабочие, которые только что подожгли цистерны и склады. Пламя пожара освещает всю эту группу. В руках у Бенеди огниво и трут. Руки и лицо Готлиба черны от сажи, волосы и одежда опалены. Братья Басарабы тащат Мортка. Стасюра приносит ящик — «рабочую кассу», которой предприниматели наградили Мортка за его работу. Разъяренная толпа бросает Мортка в огонь, а Андрусь вырывает из рук Стасюры кассу и швыряет ее вслед за Мортком: не деньгами будет добыта лучшая доля! Бенедя с трудом спасает Леона и Германа. Сумасшествие Ривки производит сильное впечатление на рабочих: они отпускают их.

XXII

Две недели горит Борислав. Две недели пылают и человеческие страсти. Войско окружает Борислав. Все побратимы попадают в тюрьму. Бенедя сидит вместе с Шеффелем, у которого учится немецкому языку. Шеффель рассказывает ему о рабочих организациях в Германии. Бенедю становится ясно: еще ничто не пропало. Теперь он сможет приняться за дело.

Медленно проходит следствие, допрос трехсот узников отнимает полгода. Окончилось следствие, и Бенедю выпускают на свободу. Выпускают и две с половиной сотни непричастных к пожару рабочих. Побратимы же получают по пять лет тяжелого заключения.



Редактор С. В. Евгенов.
Технический редактор Н. И. Гарвей.
Художник Г. Рифтин.
Корректор В. В. Покровская

Заказ изд-ва № 39. Инд. X-60. Ф-83.
Тираж 25000. Формат бумаги $70 \times 92 \frac{1}{2}$,
 $11 \frac{1}{4}$ печ. л. 13,61 авт. л. Сдано в набор
7 мая 1940 г. Подписано к печати
5 октября 1940 г. А 31095. Зак. 2289.

17-я фабрика нац. книги Огиза РСФСР
г. Москва, Шлюзовая наб., 10.

ЧИТАТЕЛЬ!

*Сообщите ваш отзыв об этой
книге, указав ваш возраст, про-
фессию и адрес*

*Государственному издательству
„Художественная литература“*

Массовый сектор

*Москва, Центр, ул. 25 Октября,
д. 10/2*



31846

7 IV
5-825

ГОСЛИТЕРАТ - 1940

ИВАН
ФРАНКО

ИВАН ФРАНКО
*Борислав
смеется*